ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+

2017

11

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

"РОССИЯ ВО МГЛЕ"

100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Основан в 1955 году

[11]
2017

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Россия во мгле
100 лет Октябрьской революции

3 Александр Мелихов *Западные приски*

16 Полин Кросли *Революция большевиков.* Из книги “Письма из Петрограда”. Перевод с английского Александра Авербуха

51 Три репортажа с места событий. Составление, перевод со шведского и вступление Елены Даль

71 Камиль Дюдан *Очерки из книги “Красная Россия”.* Перевод с французского Ксении Жолудевой

84 Мануэль Чавес Ногалес *Маэстро Хуан Мартинес, который там побывал.* Фрагменты книги. Вступление Андреса Трапиельо. Перевод с испанского Ольги Кулагиной

147 Кароль Вендзягольский *Воспоминания.* Фрагменты. Перевод с польского, вступление и комментарии К. Старосельской

220 Эдвин Эрих Двингер *Между белым и красным.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого, вступление и комментарии Анны Кукес

272 Радола Гайда *Воспоминания.* Фрагменты. Перевод с чешского Елены Тепляшиной

Авторы номера 284

© “Иностранная литература”, 2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

С. М. Гандлевский

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. А. Осипов

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Матей Вишнек

Милан Кундера

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Ханс Магнус Энценсбергер

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Александр Мелихов

Западные приски

За сто лет, прошумевших, прогремевших и утекших в пустоту со дня Октябрьской революции, мир накопил немало объяснений ее грандиозности и свирепости. Культурные люди ищут объяснений в культурных традициях России (культурный детерминизм вообще выходит в авторитетные ветви социального расизма). Причины столь жестокого раскола общества историки ищут и в петровских реформах, разделивших общество на русскую Европу и русскую Азию, и в крепостном праве, разделившем общество на рабов и господ, и в отсутствии демократических традиций, порождающих привычку искать компромиссные решения, и во влиянии культурно чуждых инородцев, не желающих и не способных понять в сей миг кровавый, на что они поднимают руку...

Однако в дни печального юбилея имеет смысл перечитать роман Джона Стейнбека "Гроздья гнева" (перевод Н. Волжиной), специально отыскивая переклички Америки с ее антиподом – с Россией, и даже с Советской Россией. Хотя дело происходит не в крестьянской, а в индустриальной стране, не знавшей ни монархии, ни (для белых) рабства, не имеющей (среди тех же белых) национальных меньшинств, настолько униженных, чтобы это могло поднять их на смертельно опасную борьбу, ни – последнее в перечислении, но едва ли не первое по значению – измучившей и ожесточившей народ войны. Это всего-то навсего американская Великая депрессия.

Однако оклахомских фермеров гонят из домов не финансовые бури, а технический прогресс – трактор. Пробуждая в прогрессивном писателе чувства и мысли совершенно почвеннические.

Домишки в полях стояли опустевшие, а если опустели домишки, значит, опустели и поля. Не пустовали только сараи для тракторов, и эти сараи из рифленого железа поблескивали на солнце серебром; там пахло бензином и маслом, там сверкали диски плугов. Тракторы были с фарами, потому что для трактора не существует ни дня, ни ночи, диски режут землю в темноте, режут и днем, свер-

© Александр Мелихов, 2017

кая на солнце. Когда лошадь возвращается с поля в стойло, жизнь в стойле не угасает, там слышно дыхание, там тепло, под ногами ее шуршит солома, на зубах похрустывает сено, лошадь поводит ушами, смотрит. В стойло возвращается жизнь, там пахнет ее теплом. Но когда мотор трактора прекращает работу, трактор становится мертвым, как тот металл, из которого он сделан. Тепло покидает его, как покидает оно труп. Двери из рифленого железа закрываются, и тракторист уезжает домой в город, иной раз миль за двадцать отсюда, и он может не возвращаться недели, месяцы, потому что трактор мертв. Это просто и удобно. Настолько просто, что чудо, которое есть в труде, исчезает; настолько удобно, что и жизнь земли перестает казаться чудом, а если нет чуда — нет и близости к земле, нет родственного понимания земли.

Не нашлось в Америке своих Бухариных, чтобы выполоть эту есенинщину. Зато у автора пробиваются мечты чуть ли не о колхозах — удивительно сходство этих грез у антиподов.

А разве трактор — это плохо? Разве в той силе, которая проводит длинные борозды по земле, есть что-нибудь дурное? Если б этот трактор принадлежал нам, тогда было бы хорошо, — не мне, а нам. Если б наши тракторы проводили длинные борозды по нашей земле, тогда было бы хорошо. Не по моей земле, а по нашей.

Двигаться от моего к нашему — возможно, в сходстве этих грез в странах-антиподах и нет ничего удивительного: вполне вероятно, что в нашей истории гораздо меньше специфики, чем нам кажется, — просто одним повезло, а другим не повезло. Но какой же дурак станет приписывать свой успех удаче — нет, только своей мудрости, и никак иначе.

Мудрые на месте разоряющихся фермеров, конечно, не поверили бы рассыпаемым повсюду агитационным листовкам, зовущим в страну Муравию, в Ташкент, город хлебный, — в Калифорнию, где можно хорошо зарабатывать на сборе винограда и персиков, там этого добра столько, что хоть объешься, да и детишкам понравится, и работать можно в тени под деревьями...

И вот они — а их тысячи и тысячи — на купленных на последние центы заезженных машинах, теряя старых и больных, ползут к этому Эдему. Который отнюдь не рад таким гостям: агитлистовки зазывают в десять раз больше народу, чем нужно, чтобы люди из самодельных трущоб, *гувервилей* (издевательское обыгрывание имени президента Гувера), были готовы работать буквально ради физического выживания. Это, конечно, не концлагерь, но уже близко к тому. Тем более что

ночевать на улице — а где еще? — запрещается, а гувервили время от времени сжигает полиция с помощью активистов из народа.

И мысли это порождает уже сильно красноватые, словно почва брошенной Оклахомы.

Земля сосредоточивалась в руках небольшой кучки людей, количество обездоленных росло, а крупные собственники знали только одно — усмирять. Деньги тратились на оружие, на газовые бомбы для защиты крупных владений; разосланные всюду агенты подслушивали ропот недовольных, чтобы пресечь бунт в корне. Изменениями в экономике пренебрегали, планами по переустройству экономики пренебрегали; на повестке дня были только те способы, которыми расправляются с бунтовщиками, а причины, порождающие бунты, существовали по-прежнему.

Тракторы, лишающие людей работы, конвейеры, машины, заменяющие человеческий труд, выпускались все в большем и большем количестве, и семьи одна за другой выезжали на дороги, пытаясь урвать хоть крохи от несметных богатств и жадно глядя на земли, расстилающиеся по пути. Крупные собственники объединялись для самозащиты и на собраниях своих ассоциаций обсуждали способы, с помощью которых можно запугивать, убивать, отравлять газами. И больше всего их страшило вот что: триста тысяч... если у этих трехсот тысяч найдется вожак, главарь... тогда конец. Триста тысяч человек, голодных, несчастных. Если бы они поняли самих себя, земля перешла бы к ним, и никакие винтовки, никакие газы не остановили бы их. А крупные собственники — те, кого богатство сделало и больше и меньше рядового человека, — готовили себе гибель, хватаясь за средства, которые в конечном счете должны будут обратиться против них. Каждый их шаг, каждый акт насилия, каждый налет на бесчисленные гувервили, каждый шериф, расхаживающий по переселенческому лагерю, отдаляли немного день гибели и способствовали неизбежности этого дня.

А по дорогам движется еще полмиллиона, и еще миллион готов вот-вот сняться с места, а еще десять проявляют признаки беспокойства...

Что страшит не только крупных, но и вполне мелких собственников, всего лишь сытых да имеющих крышу над головой — ведь это, в первую очередь, им угрожает надвигающаяся голодная саранча!

И они идут в шерифские понятые, что-то вроде наших дружинников, объединяются общим желанием дать отпор — тут-то бы и задействовать одну из наших схем: азиаты против европейцев, господа против рабов, белая кость против чер-

ной, ну хоть бы влияние злокозненных инородцев — так даже инородцев нет. Нет и самого непримиримого конфликта — конфликта грез: это люди одной расы, одного сословия, одной культуры и одной религии, просто одни голодные, другие сытые, одни бездомные, а другие имеют крышу над головой, одни измученные, а другие отдохнувшие. И вот из такой-то примитивности рождается непримиримая вражда, подтягивающая к себе уже и подручную идеологию.

Прежде всего — расчеловечить врага, это уже не люди, а быдло, я хотел сказать — Оки. Жители Оклахомы, спасающиеся от голодной смерти, уже не американцы, а Оки. И не понадобилось ни марксизма, ни расизма.

— Ну и народ! Оголтелые какие-то.

— Кто — Оки? Они все такие.

— А машина! Я бы на этом примусе побоялся с места сдвинуться.

— Ты! Мы с тобой люди как люди, а у этих Оки никакого понятия нет. Они и на людей не похожи. Настоящий человек не станет так жить, как они живут. Настоящий человек не помирится с такой грязью, убожеством. Этих Оки от гориллы не сразу отличишь.

— А все-таки хорошо, что не мне надо ехать через пустыню на таком "Гудзоне". Стучит, как молотилка.

— Их ничем не испугаешь. Такие тупицы даже не представляют себе, как это опасно. И вообще они дальше своего носа ничего не видят. Есть о ком беспокоиться!

И вся эта остервенелость, повторяю, нарастает только из-за того, что одни голодны, а другие сыты. И те и другие уже готовы убивать, и убивают, когда хватает храбрости и в руки попадает оружие. Но первыми наносят удары сытые — на корню уничтожая потенциальных лидеров, и при всей жестокости и подлости этой тактики она приносит свои плоды. Голодным не удается объединиться и восстать, что ничего, кроме новых, еще более страшных, бедствий им наверняка не принесло бы: в который раз мир спасла не мудрость, — когда она приводила в движение массы? — а тупость, подлость и жестокость.

И удача: тупость, подлость и жестокость оказались сильнее голода и унижений, на которых вызревали гроздья гнева.

Непривычным для нас в этой схеме оказывается, пожалуй, лишь один персонаж — бродячий проповедник. Такой же простой парень, как и все (у американцев нет Церкви), только более экзальтированный, всерьез относящийся к своим бесхитростным размышлениям о Боге и смысле сущего, а потом так же всерьез усомнившийся в своем праве проповедовать. И не случайно именно он из всех центральных персо-

нажей и становится кем-то вроде профсоюзного лидера. Опять-таки никаких революционных, эволюционных идей он не исповедует, он только подбивает голодающих не сдаваться на совсем уж убийственные расценки. За что его и убивают простые калифорнийские парни, защищающие от голодной саранчи свой дом и сад. И нельзя сказать, что в этом нет ничего личного — они ненавидят "красную сволочь" праведной личной ненавистью.

К слову сказать, столь заметное присутствие религиозного экстаза в стейнбековской Америке наводит на мысль, что мы, возможно, недооцениваем влияние религии в стране, слывущей авангардом модернизации.

Но в целом изображенный Стейнбеком конфликт рационален: одни стремятся получить кров и еду, другие стараются уберечь себя или нажиться на чужой беде. Потому и террор носит избирательный характер, никаких безумств ни та, ни другая сторона не творят, но лишь вполне целесообразные подлости и жестокости: не видно ни проблеска утопического безумия. Возможно, отсутствие этой страшной магмы и уберегло "наших партнеров", как теперь принято выражаться, от извержения, подобного российскому.

И американец Джон Рид оценивает нашу революцию вполне по-коммунистически, но тоже рационально:

Рассматривая растущую популярность большевиков, необходимо понять, что развал русской экономической жизни и русской армии совершился не 7 ноября (25 октября) 1917 г., а много месяцев раньше, как неизбежное, логическое следствие процесса, начавшегося ещё в 1915 г. Продажные реакционеры, державшие в своих руках царский двор, сознательно вели дело к разгрому России, чтобы подготовить сепаратный мир с Германией. Теперь мы знаем, что и нехватка оружия на фронте, вызвавшая катастрофическое летнее отступление 1915 г., и недостаток продовольствия в армии и в крупных городах, и разруха в промышленности и на транспорте в 1916 г. — всё это было частью гигантской кампании саботажа, прерванной в решительный момент Мартовской революцией.

В первые несколько месяцев нового режима как внутреннее состояние страны, так и боеспособность её армии безусловно улучшились, несмотря на сумятицу, неизбежную при великой революции, неожиданно давшей свободу ста шестидесяти миллионам наиболее угнетённого народа в мире.

Но "медовый месяц" длился недолго. Имущие классы хотели всего-навсего политической революции, которая отняла бы власть у царя и передала её им. Они хотели, чтобы Россия стала конституционной республикой, подобно Франции и Соединенным Штатам,

или конституционной монархией, подобно Англии. Народные же массы желали подлинной рабочей и крестьянской демократии.

Именно такие выспренние речи Бунин в бешенстве и честил словоблудием: ни о какой демократии массы и не помышляли, все это трепотня левой интеллигенции, никакого саботажа никогда не было, а был обычный российский бардак, который "Мартовская революция" и усилила стократно... В "Окаянных днях" это "царство зверя и хама" изображено с такой яркой и детальной прорисовкой, что можно лишь удивляться, до какой степени честного журналиста способна ослеплять воодушевляющая греза.

Герберт Уэллс своей книге дал более строгое название — "Россия во мгле". Он старался не поддаться обаянию лозунгов, но демократические стереотипы были слишком сильны: и империя рухнула всего лишь оттого, что прогнила, и альтернативы большевикам быть не может, да и власть они взяли исключительно из чувства ответственности.

Насквозь прогнившая Российская империя — часть старого цивилизованного мира, существовавшая до 1914 года, — не вынесла того напряжения, которого требовал ее агрессивный империализм; она пала, и ее больше нет. Крестьянство, бывшее основанием прежней государственной пирамиды, осталось на своей земле и живет почти так же, как оно жило всегда. Все остальное развалилось или разваливается.

Среди этой необъятной разрухи руководство взяло на себя правительство, выдвинутое чрезвычайными обстоятельствами и опирающееся на дисциплинированную партию, насчитывающую примерно 150000 сторонников, — партию коммунистов [в действительности РКП (б) насчитывала в это время более 600000 членов]. Ценой многочисленных расстрелов оно подавило бандитизм, установило некоторый порядок и безопасность в измученных городах и ввело жесткую систему распределения продуктов.

Можно подумать, что эта партия не совершила переворота, но была каким-то образом "выдвинута" и притом расстреливала только бандитов, а не всех, на кого падала хоть тень подозрения в нелояльности, а заодно и бесчисленную мелюзгу, подвернувшуюся под руку.

Уэллс же рисует картину вполне рациональную: это очень тяжелые экономические трудности, но не иррациональный взрыв. И причина трудностей вовсе не в большевиках.

Но я хочу уже здесь сказать, что эта несчастная Россия не есть организм, подвергшийся нападению каких-то пагубных внешних

сил и разрушенный ими. Это был больной организм, он сам изжил себя и потому рухнул. Не коммунизм, а капитализм построил эти громадные, немыслимые города. Не коммунизм, а европейский империализм втянул эту огромную, расшатанную, обанкротившуюся империю в шестилетнюю изнурительную войну. И не коммунизм терзал эту страдающую и, быть может, погибающую Россию субсидированными извне непрерывными нападениями, вторжениями, мятежами, душил ее чудовищно жестокой блокадой. Мстительный французский кредитор, тупой английский журналист несут гораздо большую ответственность за эти смертные муки, чем любой коммунист.

Прогнившая империя, больной организм... Революционная пропаганда сумела-таки внушить “прогрессивному человечеству” нужные стереотипы: “эта страна” так и так была обречена, она не заслуживает жалости. Впрочем, прогрессивное человечество всегда верит тому, во что психологически выгодно верить. И Бунин в “Окаянных днях” размышляет в полном соответствии с поговоркой “Что имеем, не храним”: “Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...”.

Бунин жаждет спасения от красной чумы хоть от самого дьявола. Герберт же Уэллс об этих спасителях отзывается так:

Сомнительные авантюристы, терзающие Россию при поддержке западных держав — Деникин, Колчак, Врангель и прочие, — не руководствуются никакими принципиальными соображениями и не могут предложить какой-либо прочной, заслуживающей доверия основы для сплочения народа. По существу, это просто бандиты. Коммунисты же, что бы о них ни говорили, — это люди идеи, и можно не сомневаться, что они будут за свои идеи бороться. Сегодня коммунисты морально стоят выше всех своих противников.

Левая западная интеллигенция жила с большевиками, в сущности, одной и той же химерой и отличалась лишь меньшей радикальностью. Хотя и радикальность она была не готова осудить сколько-нибудь радикально.

Красный террор повинен во многих ужасных жестокостях; его проводили по большей части ограниченные люди, ослепленные классовой ненавистью и страхом перед контрреволюцией, но эти фанатики, по крайней мере, были честны. За отдельными исключениями, расстрелы ЧК вызывались определенными причинами и пресле-

довали определенные цели, и это кровопролитие не имело ничего общего с бессмысленной резней деникинского режима, не признававшего даже, как мне говорили, советского Красного Креста.

Так что напрасно Бунин взывал к небесам: "Ужели не вмешаются в эти наши 'внутренние дела', не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью?"

Впрочем, попытки "ворваться" делались, и летом 1918-го британские войска, высадившиеся на севере России, некоторое время пытались использовать старое, но грозное оружие — юдофобию, разбрасывая с самолета антисемитские листовки. Длилась эта практика не очень долго, но аналитическая записка преподобного Б. С. Ломбарда, капеллана британского флота в России, была использована в официальном докладе, немедленно опубликованном по обе стороны Атлантики. В докладе говорилось, что большевизм направляется международным еврейством, а национализация женщин уже в октябре 1918-го являлась свершившимся фактом.

В том же 1920 году, что и Уэллс свою "Россию во мгле" (прогрессистских предрассудков), главный столп британского консерватизма Уинстон Черчилль опубликовал большую статью, в которой указывал на другие движущие силы "великого Октября". Он разделил евреев на три категории: лояльных граждан своих стран, сионистов, мечтающих восстановить собственную родину, и международных евреев-террористов, коим и приписал русскую смуту. Оказалось, что евреи третьей категории готовили всемирный заговор еще с XVIII века. Черчилль уверял, что в России "еврейские интересы и центры иудаизма оказались вне границ универсальной враждебности большевиков" и приписал Троцкому проект "коммунистического государства под еврейским господством". Гитлер в "Моей борьбе" выразил полное согласие с этой версией.

Чтобы избежать более чем заслуженных обвинений в юдофобии, Черчилль во вступлении к его борьбе исполнил короткий гимн во славу евреев: они представляют собой самый замечательный народ из всех, известных до нашего времени, однако нигде больше двойственность человека не проявилась с большей силой и более ужасным образом, и в итоге этот удивительный народ создал систему морали и философии, настолько же глубоко проникнутую ненавистью, насколько христианство — любовью.

Этот гимн вполне можно включить в памятку юдофоба, ибо чрезмерная ненависть — следствие страха перед преувеличенным могуществом.

Но и в этой картине нет того главного, что изобразили лучшие русские писатели — Артем Веселый, Булгаков, Бунин, Пильняк, Платонов, Ремизов, Шолохов, — безумия. И грандиозности. О которой и написал Булгаков в знаменитом письме правительству: “Пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно”.

Грандиозность для романтика сама по себе есть нечто околдовывающее, но на Бунина вырвавшееся на волю грандиозное скотство (а ничего другого в революции он не видит) впечатление производит не большее, чем затопившая страну канализация:

Плакал слезами лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно, с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены все станции, где все платформы и пути от Москвы до самой Орши были буквально залиты рвотой и испражнениями...

Однако при всем изобразительном блеске “Окаянных дней” это все-таки произведение не художественное, то есть не пытающееся дать какой-то обобщенный образ.

А в художественных произведениях крупных писателей, не подчиняющих свое зрение идеологическим схемам, революция больше всего похожа на извержение вулкана. Европейцы попадаются в этой клокочущей магме лишь в качестве редких эпизодических фигур, вроде летчика Реджинальда Фаунт-Ле-Ро, расстрелявшего бабелевского “всемирного героя” Пашу Трунова, или зашибающего коньяк англичанина-танкиста, которому шолоховский Григорий Мелехов от чистого сердца дает совет: “Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули. Это я тебе — от чистого сердца. Понятно? В наши дела незачем вам мешаться. Понял? Езжай, пожалуйста, а то тебе тут накостыляют!”. У самого Булгакова немец Шратт фигура полукомическая: “Я раздеваю с себя ответственность жизнь вашей светлости”.

Но мы почти не знаем, какою “взвихренная Русь” предстает в европейских зеркалах. Хотя вполне очевидно, что знатным гостям было уж никак не сблизиться с низовыми идейными фанатиками, вроде тех, что изображены в бабелевской “Конармии”.

О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями ря-

занских Иисусов ты обратил в сотрудников ‘Красного кавалериста’, ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию.

<...>

— Конармия, — сказал мне тогда Галин, — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой...

И продрал-таки! Горсточка одержимых, действующих заодно, не щадя собственной шкуры, способна загнать сначала в строй, а затем и в стойло почти любое разливанное море, в котором каждый действует сам по себе.

Однако вряд ли им это удалось бы, если бы и этому морю за горами горя смутно не грезился солнечный край непочатый.

Не Маркс и не Ленин, а одноглазый пулеметчик Гаранжа оплел бессмертного Григория Мелехова.

— Погоди! — зашептал Григорий, опаляемый гневом. — Ты говоришь, что на потребу богатым нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он не понимает? Неужели нету таких, чтоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: “Братцы, вот за что вы гибнете в кровях”.

— Як це так, вышел? Ты шо, сказывся? А ну, побачив бы я, як ты вышел. Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камыши, а гавкни ризко — и пид пулю. Черная глухота у народи. Война его побудить. Из хмары писля грому дощ буде...

— Что же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил.

— А шо тоби сердце каже?

— Не пойму, — признался Григорий.

— Хто мэнэ с кручи пихае, того я пихну. Трэба, нэ лякаясь, повернуть винтовки. Трэба у того загнать пулю, кто посылае людей у пэкло. Ты знай, — Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки, — поднимется вэлыка хвыля, вона усэ снэсэ!

— По-твоему, что ж... все вверх ногами надо поставить?

— Га! Власть треба, як грязные портки, скынуть. Треба с панив овчину драть, треба им губы рвать, бо гарно воны народ помордувалы.

— А при новой власти войну куда денешь? Так же будут клочиться — не мы, так дети наши. Войне чем укорот дашь? Как ее уничтожить, раз извеку воюют?

— Вирно, война испокон веку иде, и до той годыны вона нэ пэрэвэдэться, пока будэ на свити дурноедьска власть. От! А як була б у кажном государстви власть робоча, тоди б не воювалы. То и трэба зробыть. А цэ будэ, в дубову домовыну их мать!.. Будэ! И у германцив, и у хранцузив — у всих заступэ власть робоча и хлеборобська. За шо ж мы тоди будемо брухаться? Граныци — геть! Чорну злобу — геть! Одна по всьому свиту будэ червона жизнь. Эх! — Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом, мечтательно улыбнулся. — Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выцидыв бы, шоб дожить до такого... Полымя мэни сердцевину лиже...

Это не вялая интернациональная доктрина для интеллектуалов, это народная сказка, захватившая простого человека, для которого социальное фантазирование не забава, а вопрос жизни и смерти. Вот эту-то сказку, эти грезы и невозможно разглядеть со стороны, потому что, во-первых, культурные люди вообще очень редко, а иностранцы тысячекратно реже сталкиваются с этим и самим по себе редким типом, а во-вторых, эта греза столь наивна, что рациональному человеку немыслимо отнестись к ней всерьез. А между тем без этой химеры революция была бы невозможна.

Но разглядеть этот мираж может только художник, очень глубоко погруженный в так называемую гущу народной жизни.

Иностранцам почти невозможно в нее проникнуть. Но кто знает, может быть, в западной мемуарной литературе нам когда-нибудь и удастся разыскать еще неведомых нам новых чевенгурцев. Может быть, даже из числа инородцев — химеры-то ведь всеми владели общие...

Перекликались во всяком случае.

В общем, о сколько нам открытий чудных сулят эти приски, которые мы только-только начинаем разрабатывать. Может, там вообще нас ждет целый Клондайк? А то ведь мы десятилетиями гляделись только в “прогрессивных” европейцев и американцев.

То есть почти что в самих себя.

Хотя в наших грезах с “рациональным” Западом мы всегда были ближе, чем может показаться.

Сейчас уже не решаюсь с уверенностью сказать, в каком году случился тот кровавый Первомай в Москве, когда коммунистические орлы закидывали омоновцев отделочной плит-

кой из подземного перехода — новым оружием пролетариата. Кажется, в девяносто третьем. Да, точно третьем — это была репетиция уже по-настоящему кровавого Октября. Хотя и Первого мая один омоновец был раздавлен грузовиком из оцепления, а убийцу так и не нашли.

Тогда было по-настоящему тревожно — а черт их знает, сколько еще может набраться отморозков, готовых не просто ругаться, митинговать, требовать, но — убивать. Однако один известный либеральный реформатор снисходительно уверял меня, что капитализм заставляет людей быть рациональными и не заниматься тем, что не приносит прямой выгоды, а следовательно, бешеные обречены. Меня же, считающего, что люди руководствуются вовсе не выгодами, но воодушевляющими химерами, это отнюдь не успокаивало.

К счастью, на этот раз оказался прав он — уж не знаю, на какой срок. Сегодня магма коммунистической химеры на какое-то время наконец-то остыла — уже не слыхать ни про мировую революцию, ни про мир без Россий, без Латвий — сплошная мелкобуржуазность: зарплаты, изъятие природной ренты...

Посмотришь на нынешние первомайские демонстрации и сразу видишь, что по-прежнему пытаются брести своим особым путем лишь самые наивные да неприкаянные. А вот в "буржуазной" Финляндии мне не так давно посчастливилось встретить истинный Первомай. Все как у нас в лучшие времена, когда на демонстрацию за отгулы направляли от предприятий — гремит и бухает духовой оркестр, сияют гроздья воздушных шариков, развеваются припасенные флаги, у нас уже вызывающие лишь легкое напряжение, а не страх, когда-то заставивший Бунина написать в "Окаянных днях" слова "проклятого красного цвета". Хорошо одетые, приятные, сытые и здоровые финские господа, которых было бы даже и амикошонством назвать товарищами, в их дисциплинированных рядах полно веселой молодежи.

Они несут плакат с мудрым Марксом, сжимающим в руках плакат "Или рынок, или люди". Они протестуют против гегемонии Америки. Они призывают демократизировать глобализацию и глобализировать демократизацию. Они настаивают на загнивании капитализма, доведшего мир до кризиса. Их возмущает агрессивный блок НАТО и вторжение в Ирак и Афганистан — все, как у нас когда-то. Только "Интернационал" поют с неподдельным пафосом.

Лозунгов типа "Народ и партия едины", правда, не видал, врать не стану. Ленина со Сталиным тем более. Однако явное отсутствие принуждения лишь демонстрирует еще более явственно, что всякая порядочная греза бессмертна. И клоко-

тать под асфальтом и дерном продолжает всегда. И в какой-то момент снова может рвануть новый Везувий.

Пожалуй, навеки угасла только та скромненькая химерка, во имя которой мы затевали свою капиталистическую революцию.

Мы отказались от всего восхитительного в нашем прошлом, поскольку им оправдывалось ужасное. Вместо того чтобы восхитительным восхищаться, а ужасному ужасаться, мы все перемешали в общую несъедобную бурду. И, с содроганием отвернувшись от этой бурды, провозгласили, что мы "нормальная", то есть заурядная европейская страна. Конечно, отставшая, то есть похуже прочих, но мы поднапряжемся и сделаемся совершенно заурядными. Наша революция рубежа девяностых и впрямь пошла особым путем — она совершалась не во имя каких-то прекрасных грез, но ради стремления к ординарности.

И много ли уважения, не говоря уже о любви, мы обрели у доминирующей цивилизации? Прежде нас хотя и побаивались, но зато и видели какую-то тайну, какой-то нераскрытый, а кое в чем и раскрытый потенциал — не зря же кумиры левой интеллигенции стремились отметиться в сталинском кабинете, к Гитлеру что-то никто из них не заехал, как их ни любят отождествлять их духовные потомки. Но раз уж вы сами объявили, что вы такие же, как все, только похуже... Зачем нам ухудшенная копия, когда у нас есть оригинал — мы сами?

Сложившаяся цивилизация не будет смотреть на новичка сверху вниз, только если он предъявит ей что-то НЕВИДАННОЕ. Каждому новому претенденту на место в ее рядах она дает понять: принеси то, не знаю что, но только что-то такое, чего нет у нас самих.

Образ Советского Союза был сложен из черно-белых кусков, как надгробие Хрущева, сотворенное Эрнстом Неизвестным, но каким-то обаянием этот образ обладал, пугающим и влекущим. Теперь, когда мы покрасили себя в ровный серый цвет, от нашей магии не осталось ничего. Да посмотреть хотя бы на наши вывески — смесь лакейского с американским: "вижен сервис", "эдука-центр"...

Сегодня России больше нефти необходима красивая сказка — не агрессивная, но созидательная. Нашей перестройке следовало стать прежде всего не перестройкой экономики, но перестройкой сказки.

Однако этот шанс мы, похоже, надолго профукали.

Полин Кросли

Революция большевиков

Из книги “Письма из Петрограда”

Перевод с английского Александра Авербуха

Французская набережная, 8,
Петроград

7 ноября 1917 года

Мои дорогие,

в городе неспокойно, то и дело слышны выстрелы из винтовок, пистолетов, пулеметов, полевых орудий и крупнокалиберных судовых пушек.

Уолтер и мисс Гуерадхи собирают по телефону сведения из разных частей города, я записываю впечатления, пока они свежи у меня в памяти. Полночь, но спать не хочется.

Вчера Уолтер был в Адмиралтействе с обычным визитом, и один его друг посоветовал ему скорее возвращаться домой:

— Они, эти люди, собираются попробовать еще раз.

По дороге домой он несколько раз слышал стрельбу и видел, как разводили мосты, чтобы не дать анархистам пересечь Неву. Он зашел за мной в лазарет и посоветовал другим дамам, работавшим там, расходиться по домам как можно скорее, а если не смогут добраться, то идти к нам.

Придя домой, мы предупредили об опасности всех американцев, кому смогли дозвониться. На улицах кое-где постреливали, к полуночи все затихло, хотя время от времени еще были слышны отдельные выстрелы. Миссис Волкеапаа не смогла добраться к себе и потому пришла ужинать к нам. Мы позвонили ее мужу, он сумел к нам зайти и потом забрал ее домой.

Этим утром анархисты повторили то, что пытались сделать в прошлом июле, только на этот раз более успешно. Весь город в их руках, хотя стрельба на улицах продолжалась сегодня весь день. Мисс Гуерадхи, переводчица, отважно явилась утром на работу, но около полудня стрельба усилилась, и она, позвонив домой матери, приготовилась ночевать у нас.

Стрельба, кажется, не утихает. Мы уже собирались ложиться, когда загремели тяжелые орудия. По телефону нам сказали, что это русский крейсер “Аврора” обстреливает с Невы

© Александр Авербух. Перевод, 2017

Зимний дворец. Из наших окон видна Петропавловская крепость, ее освещают вспышки выстрелов из полевых орудий, которые, по-видимому, также стреляют по Зимнему дворцу.

По счастью, Уолтер завел себе друзей в разных частях города, в подобных случаях он их обзванивает, собирая столь необходимые нам сведения. Сегодня телефонная сеть работает, и он не отходит от телефона. По словам его знакомых, бои идут по всему городу, но наиболее ожесточенные возле Зимнего дворца, где, как полагают, укрывается большинство министров Временного правительства. Нам уже несколько дней обещали восстание, и в прошлом июле я писала вам, что оно произойдет. Правительство, я полагаю, знало об этом не хуже меня и, казалось бы, могло подготовиться, но город снова стал легкой добычей анархистов, которые на этот раз с помощью немцев лучше организованы.

У нас в доме есть запас продовольствия, и, если нельзя будет выходить на улицу, мы не будем страдать от его нехватки. Интересно, что никто здесь не сидит по домам оттого только, что идут уличные бои. Мы даже ходим на балет и в оперу, обходя по дороге те районы города, где слышна стрельба. Я была здесь на большом званом ужине, и никто не отказался явиться из-за уличных боев.

Сегодня гадаем, будут ли претворены в жизнь угрозы, звучавшие в их речах, которые произносились в последние несколько месяцев. Анархисты обещали всевозможные неприятности тем, кто им не нравится, и, по-моему, у них есть желание и возможность выполнить обещанное. Я не слышала о планах улучшения условий жизни, если не считать того, что живущие в больших красивых домах должны отдать часть комнат менее везучим. Если до этого дойдет, надеюсь, у меня будет возможность выбирать себе жильцов.

Видели бы вы, как мы прячем драгоценные продукты, полученные из Штатов: консервированные фрукты, овощи, сгущенное молоко, какао и прочее. Если у нас будет обыск, то, чтобы найти все это, времени потребуется немало. Даже наша прислуга не знает, где все это припрятано.

Сегодня один русский офицер-моряк, с которым Уолтер познакомился на острове Сааремаа, явился с обычной просьбой отправить его в Соединенные Штаты служить на флоте. Ходило немало слухов, что творилось на Сааремаа, когда остров захватывали немцы, и этот офицер подтвердил многие из них. Упомяну об одном печальном случае, из которого вы поймете, что за ужасные существа здесь у власти.

Некоторое время назад нас пригласил к себе в гости на Сааремаа общий знакомый, командир расположенной там части,

с ним были жена и двое детей, мальчик и девочка. Он планировал вывезти их, если бы остров не удалось удержать. Командир оставался со своими подчиненными те несколько минут, пока немцам оказывалось сопротивление, и последовал за ними, когда его люди побежали. Он зашел домой, чтобы забрать семью на корабль, но то, что он увидел, заставило его застрелиться: его же собственные солдаты перебили всю его семью, изнасиловав жену и дочь. Могут ли люди быть хуже?

И тем не менее некоторые американцы, будучи в здравом уме, считают, что этим людям надо доверять, терпеть, поддерживать и признавать их!

Прямо рядом с нашим домом ограбили почтовое отделение, молодую женщину, работавшую в нем, зверски убили. Количество подобных случаев все время растет, я привожу вам лишь несколько примеров.

Здесь на наших глазах происходит Бог знает что. Даже дьявольская изобретательность главарей не в силах породить злодеяния худшие, чем те, что уже случились и продолжают случаться. Разумеется, успехи последних двух дней только распалят их, и еще больше народу пострадает. "Поисковые партии", занимающиеся обысками, которые на самом деле лучше бы назвать "грабительскими партиями", теперь будут действовать более свободно и энергично.

Мой муж вскоре по прибытии сюда, к величайшему моему удовлетворению, объявил о необходимости присутствия здесь иностранных войск и ведения пропаганды. Ему не удавалось убедить в своей правоте никого из облеченных властью, но он не оставлял усилий, и теперь многие говорят: "Нам нужны иностранные войска и активная пропаганда", как будто это совершенно новая мысль. Ситуация не становится лучше оттого, что муж может теперь сказать: "Я же вам говорил", поэтому он этого и не говорит; но говорит другое: "Поторопитесь, не то будет поздно".

Войска сюда можно было бы ввести, равно как и проводить успешную пропаганду, вернее контрпропаганду, поскольку тут уже основательно велась пропаганда германская, но, кажется, никто не видит необходимости ни в том ни в другом.

Вы писали о случаях неповиновения прислуги в Штатах. Подозреваю, у вас жизнь в этом отношении гораздо спокойней, чем здесь: вероятно, никто из ваших слуг не считает себя вправе убить вас, если вдруг возникнет такое желание.

Убит еще один из лучших русских генералов, Духонин. Так они и уходят — всегда лучшие, — хотя Алексеев успел сдать полномочия Духонину и убит не был. Новый главнокомандующий — всего лишь второй лейтенант, но он для этой

должности годится, как и для любой другой, ибо не осталось армий, которыми можно командовать.

Несколько дней назад вышло распоряжение о последнем узаконенном грабеже: всякий, живущий в квартире, плата за которую составляет сто пятьдесят рублей и более, обязан обеспечить главарей бандитской шайки, правящей Россией, одеждой (по две теплых вещи). Поскольку квартир, которые бы стоили меньше, я не видела, это распоряжение касается очень многих.

Наконец-то у нас появилась возможность отправлять почту с курьером, но это удобство кратковременное, ибо британскому посольству уже пришлось от него отказаться. Сейчас большевики очень недовольны британцами, поскольку двое русских, совершивших преступления, посажены в Англии в тюрьму. Это свидетельствует о том, что нынешние власти не испытывают уважения ни к отдельным людям, ни к правительствам, и мы можем попасть в немилость в любое время. Очень приятно видеть наших курьеров — хороших, крупных, настоящих мужчин.

Сейчас у нас отключают электричество с полуночи до пяти утра, и этот период может вскоре существенно удлиниться. Мы готовы к любым отключениям, вот только звонок у нашей входной двери — электрический. Уолтер легко мог бы повесить обычный колокольчик, но колокольчика теперь не сыщешь.

В Петрограде сейчас много немцев. У них свои представительские конторы, они "консультируют" большевиков, которые, кстати, заняли под свой штаб известнейшее в стране женское учебное заведение — Смольный институт. То, что немцы здесь, ни для кого не секрет: недавно я встретила одного немца, он и не думал скрываться.

Сейчас стрельба стихла, меня клонит в сон, поэтому заканчиваю. В ближайшее время отсюда уедут многие, и это письмо будет отправлено с первой же оказией.

Нет нужды за нас беспокоиться, мы в такой же безопасности здесь, как и все остальные. Иностранцы будут оставаться в Петрограде еще долгое время.

До следующего письма.

Преданные вам...

Французская набережная, 8,
Петроград

12 ноября 1917 года

Мои дорогие,

письмо, написанное ночью, когда стреляли из тяжелых орудий, ушло на следующий день, и я сознательно не указываю, кто повез его, поскольку никто не знает, кому оно попа-

дет на глаза и дойдет ли до вас. Буду продолжать писать и пользоваться любым случаем, чтобы отправить написанное из России. Таких случаев в дальнейшем будет все меньше.

Вышеупомянутые тяжелые орудия использовались в "Битве за Зимний дворец"! Его обороняло несколько женщин-солдат и военных-кадетов, вот и всё. Уолтер говорит, что никогда не видал революции, в которой свергаемое правительство защищали бы только вооруженные женщины и дети. Из них несколько человек было убито, дворец сдан, все министры арестованы, кроме Керенского, который ускользнул вскоре после полуночи на автомобиле, конфискованном у одного американца. По словам Керенского, он отправился за верными войсками и вскоре вернется отбивать Петроград. Если мы снова его увидим, это будет удивительно, ибо Керенский — политический труп. То, что сейчас происходит, — не "демонстрация", какую мы видели в июле, и, по-моему, эти люди взяли власть надолго. Тогда, в июле, на улицах было много парадов и демонстрация силы. На этот раз вся сила здесь, но она была применена неожиданно во многих частях города сразу — и нигде никаких парадов.

Со времени моего последнего письма к вам бои не прекращались, но не было генерального сражения, в котором бы приняло участие много народу. Просто противные стороны сражаются за объекты, овладение которыми желательно для каждой из них. Такие, например, как телефонная станция и здания, в которых расположены общественные учреждения.

Мы много времени проводим на улицах, собирая сведения, и до сих пор ни разу не попадали под огонь. Пытаемся избегать мест, где стреляют. Уолтер в сопровождении переводчика предпринял несколько долгих прогулок, осматривал "укрепления" и опрашивал "защитников", так что теперь он довольно точно представляет себе, что тут творится. Видя группу вооруженных людей, обычно трудно определить, на чьей стороне она воюет. Некоторые этого не знают, как не знают, зачем стреляют. У них есть винтовки и боеприпасы, — вот и палят!

Мы обошли Зимний дворец и видели последствия штурма, но, несмотря на выстрелы, которые слышали, и вспышки выстрелов из пушек, которые видели, несмотря на небольшие расстояния до мишеней, нашли всего лишь два места, где в это огромное здание попало нечто большее, чем пуля, выпущенная из винтовки.

Один наш приятель находился перед Зимним, когда большевики открыли огонь из полевой пушки с расстояния примерно в тысячу ярдов. Он подождал и убедился, что первый снаряд в цель не попал. Несколько русских, шатаясь, толклись у пушки на замерзшей земле и выли от восторга. Они выпустили еще не-

сколько снарядов на глазах нашего приятеля, но промахнулись и на этот раз. Разозленные солдаты прекратили огонь.

На стенах и окнах Зимнего видны сотни следов от пуль. Дворец выглядит так, будто болен корью.

Нам сказали, что захваченные при штурме в плен женщины-солдаты были распределены по нескольким городским казармам. Не требуется воображения, чтобы представить себе их участь.

Город патрулируется отрядами в сопровождении бронемашин, вооруженных пулеметами, равно как и с грузовиками, которые прежде использовались для увеселительных прогулок. Встреча с таким отрядом — событие не из приятных. До сих пор некоторым утешением служило отсутствие пьяных. Теперь это утешение в прошлом, и должна честно признаться, что боюсь всякого пьяного русского с винтовкой.

Весь день, который я провела дома, у нас было полно мужчин. Рано утром пришли две дамы, живущие по соседству, но ушли они еще засветло. Опять начались обыски, планомерно обходят дом за домом, ищут оружие, причем так тщательно, как никогда прежде. Нашему другу мистеру Корсу пришлось сдать пистолет, он возмутился и потребовал квитанцию. Тогда ему оружие вернули!

Судя по сообщениям из Москвы, там тоже идут бои, только более кровавые, чем у нас. Как я рада, что не поехала в "мирную" Москву!

Было жестокое сражение при Царском Селе, но о Керенском ничего не слышно. Говорят, "армия Временного правительства" вскоре отобьет Петроград. Я поверю, лишь увидев это своими глазами, ибо, по-моему, большевики пришли надолго.

Довольно частая перестрелка продолжалась вчера в Петрограде весь день, мы слышали несколько выстрелов из полевых орудий. Кто-то сказал, что рано утром юнкера (военные кадеты, в сущности, мальчишки) захватили у большевиков телефонную станцию, место, из-за которого постоянно происходят боевые столкновения. Кадеты не получили подкрепления, как предполагалось по плану, у них кончились боеприпасы и бензин для бронемашин, и после полудня большевики отбили станцию, перебив много юнкеров, трупы которых в бешенстве увечили. Эти юнкера подобны нашим кадетам из Вест-Пойнта, но гораздо моложе. Обычно это дети из лучших семей России. Так вот, многие из них убиты.

У нас часто не работает телефон, но сегодня можно звонить в русские и иностранные учреждения (не в частные квартиры).

Глава Американской железнодорожной комиссии, мистер Стивенс, живет в своей машине, стоящей на сортировочной

станции под Москвой. Он пишет, что у них много стреляют и что он ничего не может делать. (Это хороший человек, но он с таким же успехом мог бы вернуться на родину и работать на наши железные дороги!)

Опять в Петрограде нет правительства, никого, с кем иностранцы могли бы вести дела. Город во власти вооруженных солдат, матросов и рабочих, среди них много пьяных. Понять, кто является командиром вооруженного отряда, невозможно. По-видимому, нет никакой организации, никто ни за что не отвечает, хотя, разумеется, власть исходит из Смольного, учреждения очень многолюдного, ощетинившегося винтовками, пулеметами и т. п.

Уолтер туда не ходит, но там находятся его "лазутчики", так что мы знаем, что там делается.

Вот что бывает, когда по улицам ходят вооруженные отряды: сегодня утром один из них шел по Французской набережной. Навстречу — русский офицер. Никто не сказал ни слова, но один из отряда поднял винтовку, выстрелил, и офицер упал замертво. Отряд в полном молчании прошел мимо, никто даже не взглянул на труп. Мой приятель, бывший тому свидетелем и рассказавший мне про этот случай, не уверен, что стрелявший желал убить офицера, но не сомневается, что повода для стрельбы тот не давал. Только подумать! Петроград в руках бессердечной черни!

Недавний запрет собираться и митинговать на перекрестках теперь, разумеется, уже неактуален. Часто приходится слышать произносимые экспромтом речи. Все они на одну и ту же тему, все имеют целью натравить бандитов на тех, кто живет в хороших домах и кому есть, что есть. Ораторы утверждают, что теперь вся собственность общая, что дома можно обыскивать, забирать найденное и для этого применять любую силу, в какой только возникнет необходимость. А как же наши запасы дорогих продуктов, присланных из Нью-Йорка? Это тоже общая собственность? Ну уж нет!

Гуляя вдоль реки, мы насчитали девять разного типа морских судов, на которых сюда перебросили войска из Хельсингфорса, Кронштадта и других городов. Разведение мостов, предпринятое Временным правительством, почти не помешало анархистам — небольшие их группы перешли на другую сторону реки еще до начала "фейерверка". Кроме того, морские суда использовались как паромы. Ох! На этот раз у бандитов хорошие советчики!

Два дня назад по посольствам были направлены "комиссары" с сообщением о том, что революция потерпела неудачу и что Временное правительство снова полностью овладело по-

ложением. При этом в городе продолжалась стрельба, и, разумеется, эти сообщения — неправда. Теперь мы пытаемся понять, зачем потребовалась эта мистификация.

В августе я утверждала, что дни Керенского и его власти сочтены. Со мной никто не соглашался, меня упрекали за такие пессимистические прогнозы. Они еще не вполне подтвердились, но я по-прежнему убеждена, что он — всего лишь неприятное воспоминание, которое станет еще более неприятным, по мере того как откроются касающиеся его факты.

Многие улицы до сих пор перегорожены баррикадами, и на прогулках нам приходится обходить их, равно как и места, где стреляют. Это делает прогулки более увлекательными и, кроме того, увеличивает физическую нагрузку.

По городу ходит, как обычно, множество невероятных слухов. Будто бы с нескольких направлений к Петрограду движутся крупные силы казаков, будто бы очень скоро "улицы будут залиты кровью анархистов". Прошу прощения, но я в это не верю. Я немало слышала о настроениях казаков, и поражение прошлого июля вкупе с отношением к их великому Корнилову подорвало их доверие Временному правительству. Очень удивлюсь, если казаки согласятся жертвовать жизнью ради Керенского.

Как и прежде, часто повторяется имя Ленина, но также у всех на устах и имя Троцкого (Бронштейна). Его "избрали" министром иностранных дел, его сильная сторона, как мне кажется, — способность произносить кровожадные речи. У нас есть старый друг, проработавший в этом министерстве несколько лет, так он рассказал мне, что как-то поутру Троцкий явился в министерство (государственный департамент) и объявил, что теперь будет министром иностранных дел. Поскольку он не походил на министра, все только посмеялись. Тогда, чтобы сохранить собственное достоинство, он почувствовал себя обязанным произнести речь, каковую и произнес. По окончании речи все, кроме курьеров, живших при министерстве, надели пальто и разошлись по домам! Еще одна забастовка!

Сегодня шестой день революционного восстания, и оно пока складывается удачно, причем нет никаких признаков, что восставшим кто-то противостоит. Продолжающаяся до сих пор стрельба на улицах — не признак противостояния. Она требуется для устрашения, для поддержания террора.

По-прежнему понемногу убивают, но, по-видимому, если не ради грабежа, то, в основном, случайно. Как и прежде, невозможно дать верную оценку количеству убитых, но я уверена, что их не так уж много. Многие ранены вследствие неумения обращаться с винтовками. Рабочих доставляют в больницы со

сломанной челюстью — они не знали, что винтовка при выстреле "отдает".

Мне обещали, что это письмо увезут завтра. Теперь уже поздно, я говорю вам "Спокойной ночи" и прощаюсь.

С любовью...

Французская набережная, 8,
Петроград

20 ноября 1917 года

Дорогие мои,

одна подруга обещала "выехать" завтра, так что опишу положение дел на сегодняшний день.

Каждый день похож на предыдущий. Стрельба на улицах продолжается, но теперь стреляют уже не по всему городу. Погода мерзкая, часто бывают метели, политика же хуже, чем погода, но в ней нет ничего такого же чистого, как снег.

Две наши подруги, незамужние дамы, отправились в Петропавловскую крепость на встречу с бывшим министром Терещенко. Встретиться с ним им не позволили, но обошлись вежливо.

Посольство наше сейчас помогает американцам покинуть Петроград и Россию, наша колония становится все малочисленней. Приехало сюда несколько человек из Молодежной женской христианской организации, им есть чем здесь заняться.

Часто приходится слышать фразу "Нельзя бросить Россию на произвол судьбы". Очень красивая фраза, и я от души с ней согласна, но у меня есть еще более красивая: "Нельзя бросить Соединенные Штаты".

Уолтер говорил с бывшим членом штаба Керенского, который бежал из Петрограда вместе со своим начальником, но теперь на короткое время тайно вернулся. Тот утверждает, что "Керенский сейчас либо пленник, либо эмигрант". Вы только представьте себе на минуту, что́ Керенский дал России! Потом вспомните, если сможете, что он дал союзникам России. И после этого не упустите того, чем ему обязана Германия. Вот вам пример ложного суждения!

Не знаю никого, кто за время моего здесь пребывания сделал бы больше для погибели России. Мне не удалось узнать, что он сделал для союзников — разве что чинил им препятствия на каждом шагу. Нельзя отрицать, что Германия извлекла колоссальную выгоду от того, что произошло в России. Чтобы убедиться в преимуществах, полученных Германией, примите во внимание количество дивизий, переброшенных ею с российских фронтов в Италию и Францию. Хотите составить список приобретенных ею выгод — учтите захвачен-

ное ею продовольствие и другие материальные ресурсы. Я совершенно уверена, что мы больше не увидим здесь Керенского. Его работа закончена.

Прошлый четверг оказался для меня удачным, несмотря на ужасную пургу. Гостей собралось больше сорока, были представлены девять разных национальностей. До чего я благодарна вам за наши запасы провизии! Как же быстро исчезали со стола горячие бисквиты "Мэриленд" с мармеладом!

К Уолтеру заходил один знаменитый русский, просил спасти шестерых бывших министров, находящихся сейчас в Петропавловской крепости. Их охраняют моряки из Кронштадта, которые остроумно шутят по поводу того, сколько осталось жить этим людям. Одного упоминания о моряках из Кронштадта вполне достаточно, чтобы друзья и близкие этих узников не без оснований испытывали страх. Вероятно, бывшие министры в опасности, но, по-моему, в Петропавловской крепости они не в большей опасности, чем в любой другой российской тюрьме.

Побывали мы на обеде и на званом ужине, принимали гостей и у себя. Из этого можете заключить, что, несмотря на смену правительств, мы не перестаем встречаться с людьми. Чтобы знать, что происходит вокруг, надо общаться. Слухов и информации сколько угодно. Если верить половине из того, что слышишь, можно сойти с ума.

Один из наших русских друзей рассказал о печальной судьбе своего пятнадцатилетнего племянника, которого убили вместе с шестьюдесятью его товарищами, как и он, военными кадетами. До его родственников дошли слухи, что тело мальчика бросили в Мойку, но найти его они не смогли. Убитых часто бросают в эту реку или в какой-нибудь канал — это еще одно нынешнее новшество.

Познакомились мы с чрезвычайно привлекательной баронессой Икскюле. Ей семьдесят лет, но выглядит она не больше, чем на пятьдесят. Деятельна телом и душой. У нее очень интересный дом, замечательная коллекция икон.

Смольный проголосовал за назначение Ленина диктатором! (На все остальные посты он был избран еще раньше.) Голосуют они там с такой же готовностью, с какой голодная лошадь щиплет траву. Как бы мне хотелось сохранить или запомнить все их решения. Надо читать их, иначе не поверишь, что такое могли принять. Для этого надо обладать очень богатым воображением.

Кто-то оказался недоволен словом "месть", употребленным мною в связи с деятельностью большевиков, и меня спросили: "Месть за что?". Мой ответ был и остается: "Месть за цивилизацию, искусство, образование, мораль и вообще за жизнь!" (Если я упустила что-либо, на ваш взгляд, важное, добавьте са-

ми. Не вижу ничего привлекательного в замыслах большевиков, по крайней мере, из того, что претворяется в жизнь.)

Новости со всех фронтов, приносимые офицерами, которым удалось оттуда вырваться, говорят об усиливающемся с каждым днем разложении армии. Толпы разбегающихся по домам опустошают местность, по которой перемещаются. Один офицер с Рижского фронта рассказал мне, что теперь на каждые четыреста ярдов фронта остается лишь по одному солдату — вот одна из причин, по которой немцы могут перебрасывать столько дивизий на другие фронты.

Сегодня исполнительный комитет американского лазарета проголосовал за закрытие больницы с первого января. Изначально предполагалось, что в ней будут лечиться "раненые российские солдаты", но их здесь больше не будет — разве что пострадавшие в перестрелке между собой. Ходить туда на работу женщинам теперь небезопасно. Так приходит конец еще одному нашему начинанию.

Ходят упорные слухи, что все женщины-иностранки покинут Россию, но я не уверена, что в дороге они будут в большей безопасности, чем в Петрограде. Здесь я, по крайне мере, не замерзаю, и у меня есть запас пищи на несколько недель.

Народ тут, конечно, своеобразный. Событий вроде бы много, но ничего существенного не происходит! Со мной может случиться что угодно или ничего, и поскольку я голосую за "ничего", то пока не уезжаю.

Кстати, о "голосовании". Забыла рассказать вам об избирательном праве, которое здесь неожиданно предоставили женщинам. Насколько мне удалось выяснить, они такого права и не требовали, но как-то поутру проснулись и узнали, что вправе голосовать. Разумеется, с тех пор ни одна из них ни разу ни за что не проголосовала — все определяется "декретами", но было так трогательно и забавно, когда моя горничная — она превосходит средний уровень по умственным способностям и образованности (умеет читать и писать) — пыталась разузнать у меня, что такое "голосовать"!

Говорят, генерал Корнилов пребывает в добром здравии, но сильно разочарован тем, что Америка не может помочь его стране. Я считаю, в России, когда кто-нибудь займется здесь ликвидацией смуты, еще о нем услышат.

Работающие тут американские журналисты должны предоставлять телеграммы, предназначенные для отправки из России, для цензурной проверки. Можете легко себе представить, что́ большевистские цензоры считают возможным для печати в Соединенных Штатах. Вы получаете мои письма (если это и в самом деле так) спустя месяц-другой после то-

го, как я их пишу, к этому времени упомянутые в них события становятся древней историей.

Судя по сообщениям из Москвы, положение там гораздо хуже, чем у нас: больше стреляют, больше грабят и жгут, больше убивают. Поскольку условия у нас не такие уж плохие, я рада, что нахожусь не в Москве.

Сейчас мы не отправляем курьеров, так как большевики настаивают на признании Советской России нашим правительством, которое, по счастью, на это не идет. Признать этих злодеев значило бы признать власть черни, согласиться на то, что страна, охваченная анархией, является частью Семьи народов!

Друзья предлагают нам вывозить нашу почту — просить об этом мы их не можем, ибо они, безусловно, рискуют своей безопасностью.

В настоящий момент телеграммы сюда не приходят, и мы не знаем, уходят ли отправленные, хотя их принимают, и деньги за них берут. Уолтер получал депеши, пролежавшие здесь по десять дней.

Хотелось бы писать на менее мрачные темы. Иногда мы забываем об окружающем и шутим, но, когда начинаешь писать, и без того мрачная атмосфера, кажется, еще больше сгущается. В конце концов, я не унываю, иначе бы тут не оставалась.

Я не решаюсь заниматься политикой. Я вам описываю факты — как я их вижу. Мнения о способах спасения России могут расходиться, но, вероятно, никто из знающих людей не станет отрицать, что спасти ее можно только силой. Сила в России была, но ее следовало применять иначе, с бóльшим толком. Фактически нынешняя заваруха (не могу придумать более подходящего слова) и порождена силой, но это неорганизованная (сравнительно) темная сила масс.

Тщательно все обдумав, я прихожу к выводу, что причин краха России много. Назову лишь некоторые.

1. Личные амбиции выдающихся людей во Временном правительстве.

2. Непрактичный идеализм остальных его членов.

3. Неспособность союзников понять, что тут происходит, и, как следствие, недостаточность усилий по предотвращению катастрофы.

4. Национальные особенности образованных русских, которые предвидели, что грозит стране, но оказались неспособны предотвратить катастрофу.

5. Национальные особенности необразованных русских, которые желали надвигающихся событий и всячески им способствовали. (Так ребенок бежит за игрушкой, которая катится навстречу мчащемуся автомобилю.)

6. Успешные действия немецких агентов по ослаблению военной мощи России.

7. Возможности, использованные умными фанатиками, умеющими играть на чувствах необразованных масс.

Обратите, пожалуйста, внимание, что я начинаю с Февральской революции. О ее событиях и деятелях можно написать целую книгу, но в апреле 1917 года Россия была далека от краха. В это время в Петрограде была возможность без особых усилий перестроить самое удивительное государство из когда-либо существовавших в истории. Такая возможность больше не повторится.

Как видите, по моему мнению, Россия сейчас погублена. Я не хочу сказать, что это навечно. Мир, Европа в частности, не позволит тому, что здесь творится, продолжаться неопределенно долго, но ситуация будет ухудшаться, прежде чем нормализуется.

О том, что здесь происходит, несомненно, будут написаны тысячи страниц людьми гораздо более одаренными, чем я. Возможно, я на самом деле не знаю всего того, что утверждаю, но у меня есть убеждения, которые вплотную приближаются к знанию.

Теперь я должна отдать это письмо в руки, которые вывезут его из России. Вероятно, одни только трудности с отправкой почты убедят вас, что "все неладно в России".

С любовью, ваши...

Французская набережная, 8,
Петроград

29 ноября 1917 года

Дорогие мои,

у нас был прекрасный морозный День благодарения, который пришелся на мой выходной. Посол устраивал прием, но я в посольство не пошла.

Есть несколько интересных тем, по которым хотелось бы сейчас высказаться.

Смольный проголосовал за "реквизицию" частной собственности, где бы она ни находилась, в частности, вкладов в банках, что делает это решение животрепещущим для тех, кто имеет дорогую мебель и банковские счета.

На прошлой неделе мы смотрели из окон на Неву, почти всю во льдах, отчего пароход, стоявший наготове на случай срочного отплытия американцев, встал на зимний рейд – так что этот способ возвращения в Штаты для нас теперь исключен. Впрочем, даже если немцы в Петроград не придут, неизбежные голодные бунты в конце концов заставят нас отсюда убраться.

Здесь сейчас много немцев и австрийцев, бывших военнопленных, они слоняются по Петрограду в военной форме, и

никто их не трогает. Германская "помощь" в Смольном, по слухам, становится все эффективней — во всяком случае, слухи об оппозиционных силах, которые вот-вот избавят Россию и Петроград от тесных объятий анархистов, утихли.

Пока лед на Неве был тонок, перед нашим домом стоял на якоре русский крейсер, и я не знала, что думать: то ли это знак внимания к французскому послу, который живет по соседству, то ли к нам. От моряков теперь ничего хорошего ждать не приходится.

Наш друг-полковник сейчас скрывается, в его великолепную загородную резиденцию нагрянул целый отряд. Двух слуг убили, много вещей, включая ценные вина, забрали.

В политико-военных кругах разразилась буря: военные атташе союзников, за исключением американского, подписали письмо протеста в связи с роспуском русских армий. Мне этот ультиматум кажется бесполезным, поскольку никаких русских армий уже давно не существует.

Отель "Астория" прошлой ночью без видимой причины снова обыскивали. Создается впечатление, что это несчастное заведение обыскивают ради развлечения тех, кто обыск проводит. Правительственный статус "Астории" позволяет творить в гостинице что угодно, хотя, конечно, другие гостиницы тоже обыскивают.

За несколько дней до этой последней революции Временное правительство направляло юнкеров для охраны посольств союзных государств. Как только наметился успех революционного восстания, посольства стали защищать юнкеров! Во французском посольстве юнкера охраняли парадный вход, тогда как большевики присматривали за черным ходом.

Только подумайте! Страна с населением 180 миллионов человек не имеет правительства! В Петрограде, бывшей столице, и в гораздо меньшей степени в других населенных пунктах власть пытается осуществлять какие-то функции, но недостаток образования в сочетании с желаниями, которые иначе чем безумными не назовешь, парализуют управление, и всем правит дикая стихия.

Я говорила с американцами, которые находились в Москве, когда там вспыхнула революция. Они три дня жили в подвале отеля "Метрополь", питаясь картофельным супом. В это время отель у них над головами крушили огнем из пушек. Снова распространился старинный обычай стрелять из окон, началась просто гражданская война. В настоящее время русские, не колеблясь, убивают русских, и считают, что негоже убивать немцев!

Стало проявляться неуважение к иностранцам, в частности, к дипломатам. Советника бельгийского посольства и его жену заставили выйти из автомобиля и идти домой пешком, сам же ав-

томобиль анархисты "конфисковали". На машине был бельгийский флаг, советник показывал свой паспорт — но все без толку.

— Нет больше никаких дипломатов! Все интернационалисты! Никаких частных автомобилей, все теперь общественная собственность! — такие ответы советник получил на свои возражения, после чего пошел пешком.

Пятое декабря

Ничего важного не произошло.

Некоторые учреждения продолжают работать, мы побывали в театре, в опере и на балете, все это мне очень понравилось.

Нева встала, и у нас перед домом образовалось большое свободное пространство, покрытое снегом. Некоторые пейзажи, особенно на закате, так хороши, что не поддаются описанию. Петропавловская крепость (она же тюрьма) находится рядом с нами на противоположном берегу и хорошо видна из наших окон.

От друга из Чикаго мы получили рождественский подарок — кленовый сахар, и можете себе представить, как мы объедаемся им в этой суровой стране.

На завтра обещана всеобщая стачка. В ней примут участие рабочие железных дорог, заводов и фабрик. На самом деле, никаких реальных целей у таких забастовок нет, кроме той, которая желательна Берлину. Зарплаты рабочих и так непомерно высоки, их увеличение только разорит еще больше промышленных предприятий.

Покупательная способность рубля так мала, что сравнение с прежними ценами превосходит мои арифметические способности. Я просто знаю, что лучше пойду пешком, чем за пятнадцатиминутную поездку заплачу сорок рублей (примерно $4) извозчику.

Видела балет с восхитительной Карсавиной, и теперь мне кажется, что никогда не увижу лучшей балерины. Может быть, из-за ее удивительного искусства музыка показалась бесподобной. Во всяком случае, я не пропустила самое лучшее из того, что может дать миру Россия.

Как жаль, что я не видела Россию во дни ее изобилия и спокойствия!

Насколько мне известно, условия жизни рабочего класса здесь были самые благоприятные. Конечно, здесь не было политических свобод, и для подавления и наказания революционеров иногда принимались жестокие меры. Но с учетом того, каких результатов добились эти революционеры, я считаю принимавшиеся меры совершенно недостаточными.

У нас нет политической свободы в начальной школе и в лечебницах для душевнобольных, а умственные способности

большевиков вполне сопоставимы с находящимися в вышеупомянутых заведениях.

В общем, новость заключается в том, что Петроград все еще стоит на прежнем месте. Части Москвы уже нет, как нет и многих красивых имений. Зато есть большевики — они повсюду.

Чтобы иметь полное представление об условиях жизни в России, надо в ней жить и пытаться "вести хозяйство". Иначе условия здешней жизни останутся непонятными. Те же, кто знал Россию, но отсутствовал несколько месяцев, с большим трудом смогут разобраться, что тут происходит.

Французская набережная, 8,
Петроград

15 декабря 1917 года

Дорогие мои,

у нас наступила настоящая русская зима: холодно, промозгло, темно, мрачно, ветер, снег. Политика подобна погоде — можете представить себе, что за веселая жизнь. Я уж не говорю о возрастающем числе убийств и грабежей, о выстрелах, которые мы иногда слышим, даже не выходя из дому.

Солдаты и рабочие разграбили винные погреба Зимнего дворца, и теперь воздух в двух-трех кварталах вокруг него насыщен запахом превосходных вин. Снег окрашен красным вином и усыпан осколками бутылок. Грабившие унесли много вина, и, по словам наших друзей, им удавалось приобретать у солдат чудесное старое вино буквально за гроши. Но у меня самой не хватает смелости покупать вино у пьяных солдат и матросов.

Подобным образом разграбили и разгромили много продовольственных и винных магазинов. Обычно подъезжают на грузовике с торчащими из кузова винтовками и пулеметами. Народ либо разбегается, либо прячется по домам, и пошло веселье! Часть приехавших занята пальбой в воздух, чтобы народ на улицах не собирался. Немало выпивается на месте, очень немного уносят с собой — власть в Смольном не разрешает что-либо забирать с таких вечеринок, — прочее приводится в негодность. Битые бутылки и винные пятна остаются на снегу, пока следующий снегопад все не занесет.

После одной из таких вечеринок проходили за Зимним дворцом и видели все еще стоявшую там пожарную машину, водяными струями из которой грабителей изгоняли из погребов. Сообщается, что несколько погромщиков там утонули. Я видела решетки на окнах подвала с выломанными прутьями и толпившихся рядом красногвардейцев. Один из многих примеров того, как запирают дверь конюшни, когда

лошадь уже украли. Сначала происходит нечто ужасное, а потом Смольный изо всех сил стремится показать, до чего высоки его помыслы. Некоторых удается этим одурачить.

В Смольном разразился скандал: некий лейтенант Шнаур был назначен большевиками начальником штаба. Его сделки с немцами стали слишком откровенными, и Смольный в припадке праведного гнева Шнаура арестовал. Но он избежит наказания! Заметьте, в Смольном действуют с умом — большевики, несомненно, поддерживают тесные связи с немцами и, тем не менее, поднимают страшный шум, когда находится человек, работавший на немцев.

Все больше русских офицеров обращаются к Уолтеру с заявлениями о желании служить в американских вооруженных силах, находящихся во Франции или в Соединенных Штатах. Многие, познакомившись со мной в домах общих знакомых, просят меня о посредничестве и ни в коем случае не хотят смириться с отказом.

Одна сердобольная русская дама, которая, по-моему, активно участвует в контрреволюционном движении, предупредила Уолтера, что большевики могут обвинить его во вмешательстве во внутренние дела России.

Сам же Уолтер решительно отказывается заниматься подобными делами, так что такие обвинения совершенно беспочвенны. У нас бывает много русских офицеров, и, вероятно, поэтому некоторые из них считают, что Уолтер кого-то вербует. Очень может быть, что собрания у меня по четвергам после полудня, на которые теперь собирается много народу, только усиливают эти подозрения. Надеюсь, наши встречи действительно раздражают большевиков! Зато обстановка у нас теплая и дружеская, и на собраниях не происходит ничего преступного, как если бы их устраивали вы.

Сегодня по многолюдному Невскому проспекту шли двое офицеров в военной форме. На них напали солдаты, избили, ограбили, сорвали знаки отличия. Никто не вмешался, хотя толпа собралась огромная.

Сегодня же Уолтер возвращался из посольства домой, и вдруг солдат, рядом с которым он проходил, выстрелил из винтовки. Наверно, солдат хотел посмотреть, вздрогнет ли муж, но тот не вздрогнул, а стал следить краем глаза за солдатом: не выстрелит ли тот еще раз, на этот раз прицельно.

У нас сейчас много работы перед закрытием лазарета. В нем скопились большие запасы ценных ныне медикаментов и одежды, все это мы распределим, как нужно. Армия спасения незаметно делает здесь много добрых дел, и часть наших запасов мы передадим ей.

По-прежнему здесь много говорят о приближении германской армии, но, по-моему, наступление отложат до тех пор, пока дороги не затвердеют от морозов.

Здесь находится сейчас целая армия немцев, но это не боевое формирование. Мы живем возле бывшего австрийского посольства и видим входящих и выходящих из него немцев и австрийцев в военной форме.

Германия получает значительную помощь от России, и это либо делает большевистскую Россию союзником Германии, либо предательницей союзников — неважно, как назвать. По-моему, все эти рассказы о том, как русские ненавидят немцев и немецкое самодержавие — лишь порождаемый немцами шум для создания нужного впечатления.

Нам сообщили, что отныне деньги за снятое жилье следует платить большевикам. Мы должны за квартиру джентльмену, проживающему в Соединенных Штатах, заплатим при первой же возможности, но нельзя перевести ему деньги через банк — с таким же успехом можно было бы выбросить их в Неву, — банки постепенно перестают выполнять свои функции.

С большим трудом пытаемся обогреваться. Печи с изразцами на вид очень хороши, и иногда нам удается натопить их, но всю Россию не натопишь. Несколько квартир вокруг нашей теперь пустуют, в них стоит холод. Одно время помещение над нами занимал кадетский клуб, но его закрыли как контрреволюционный, и двери опечатали. Русская семья, живущая под нами, не вернется до весны. Мы можем поддерживать дома тепло, сжигая большое количество дров и не гася лампы, но, когда топливо закончится, пополнить его запасы будет уже нечем.

Вступил в силу декрет, в соответствии с которым офицеры теперь должны избираться солдатами. Один русский офицер рассказал мне, что его друг, полковник, служит теперь поваром в собственном полку.

Получили бумагу, предписывающую сдать две теплые вещи (об этом я писала ранее) или два одеяла. Уолтер отказался, и теперь мы гадаем, что предпримут в связи с этим власти. По рассказам друзей, вещи, сданные в соответствии с упомянутым декретом, видели на толкучке, и я вполне этому верю. Сама я видела на улицах большие сани, груженные такими “пожертвованиями”.

В последней своей речи Троцкий упомянул об “устройстве, порожденном французской революцией, которое укорачивало человеческий рост на длину головы”. Одновременно в газете появилось описание русского изобретения, электрической машины, которая позволяет моментально обезглавливать много людей сразу. Так что, как видите, дела у нас идут!

В своей речи Троцкий только отметил, что большевики пока не рубят оптом головы хорошо одетым людям, но намекнул, что имеют это в виду и не забудут о такой возможности.

Я, однако, надеюсь, что до этого не дойдет, и не тревожусь, хоть это и кажется неразумным. Следовало бы поскорее бежать отсюда, но мне хочется оставаться здесь неопределенно долго. Хочу посмотреть, чем дело кончится, хотя, говоря словами моих друзей, на это жизни не хватит, даже если я вернусь в Штаты, а уж если останусь здесь, то и подавно.

Во всяком случае, я жива и шлю вам горячий привет!

Французская набережная, 8,
Петроград

24 декабря 1917 года

Дорогие мои,

на дворе Сочельник, но как же трудно в это поверить!

У двоих наших русских друзей прошли “обыски”: в Рябове, красивом имении, где мы успели побывать, и в городской квартире. Муж моей подруги уехал из города, и эти скоты восемь часов обыскивали ее квартиру и погреб.

В прошлый понедельник мы, проснувшись, узнали, что все швейцары и дворники в городе бастуют, таково распоряжение Смольного. Наш старый швейцар очень опечален — он не хочет бастовать, но, если будет работать, рискует жизнью.

Обычно дворники поутру приносят дрова, которыми потом топят весь день. Повариха заявила, что без дров ничего готовить не будет. Уолтер вызвался принести дров, но повариха сказала, что дворники этого не позволят. Уолтер велел ей выглянуть в окно — она увидит, что с ними будет, если дворники попробуют помешать ему принести его дрова на его кухню! Дворники вышли во двор, не вмешивались, но наблюдали за работой мужа, поглядывая на увесистую дубину, которую он положил на снег поблизости от себя. Уолтер натаскал дров на три дня, по истечении которых забастовка у дворников как раз и закончилась. У швейцаров она к тому времени еще продолжалась.

Еще до наступления вторника мы добыли ключи у владельца дома и поставили у парадной двери горничную, дав указание пускать всякого, кто пожелает нас навестить.

Такие забастовки имеют целью отравить жизнь “буржуазии”, что и прекрасно удалось на этот раз. По-моему, заработки бастующих увеличились процентов на семьсот.

Слышала я замечательного Шаляпина, который отныне отказывается петь в Мариинском театре, но появляется только в Народном доме в опере “Борис Годунов”. Теперь, счи-

таю, я видела и слышала все лучшие постановки российской сцены, но хотела бы смотреть их еще и еще.

Куда бы мы ни пошли, повсюду слышна стрельба, но нам везет, под пули до сих пор ни разу не попадали. Интересно, долго ли будет продолжаться такое везение?!

Последнее время усиливаются антиамериканские настроения, которые достигли апогея после ареста и заключения в Петропавловскую крепость нашего друга, полковника Колпачникова, который некогда служил секретарем российского посольства в Вашингтоне. Во время войны он выступал в Соединенных Штатах с лекциями в интересах российского Красного Креста и привез в Россию значительные запасы медицинских принадлежностей и много автомобилей, купленных в Штатах на гонорары от его лекции. Колпачникова направили помогать американской миссии Красного Креста в Румынии, но большевики обвинили его и американского посла в организации заговора против них в интересах казаков.

Полковник теперь в тюрьме, а газеты полны нелепых обвинений против нашего посла. Приведу перевод одной статьи, в которой, разумеется, все неправда.

Заговор империалистов с участием генерала Каледина

Несколько офицеров союзных армий, а также работники союзных миссий и посольств позволили себе активно вмешаться во внутренние дела России. Разумеется, они не на стороне народа, а на стороне калединской кадетской партии, контрреволюционной и империалистической.

Мы несколько раз предупреждали этих занятых господ, но, по-видимому, настало время последнего предупреждения. Самые важные представители Соединенных Штатов вовлечены в калединский заговор и используют все средства для его поддержки под прикрытием миссии Красного Креста Юго-Западного фронта. Американские офицеры в Яссах, Андерсон и Перкинс, а также их сотрудники, русские офицеры Колпачников и Вербланский, предприняли попытку обмануть бдительность советской власти, направив несколько автомобилей и много других грузов к Дону для использования Калединым.

Заговор раскрыт, Колпачников и другие участники арестованы, важные бумаги заговорщиков захвачены. В телеграмме от господина Андерсона, главы миссии американского Красного Креста в Яссах, полковнику Колпачникову указано получить от господина Фрэнсиса, посла Соединенных Штатов, 100 тысяч рублей за доставку поезда в Ростов-на-Дону!

В бумагах, подписанных господином Фрэнсисом, имеется свидетельство, что поезд пойдет “из Петрограда в Яссы”! Теперь зага-

дочный поезд не пойдет никуда, он задержан в Петрограде советской властью.

Заговор американских (и не только американских) империалистов с участием Каледина раскрыт. Нити его ведут, как мы и ожидали, к лицам, занимающим очень высокие посты. Следующее слово должен сказать господин Фрэнсис от имени тех, кто послал его в Россию.

Это лишь одна из статей, появившихся недавно в газетах. По поручению нашего посла был напечатан ответ, суть которого сводится к тому, что обвинения эти ложны.

Интересно, что Смольный публикует не все бумаги, взятые в квартире полковника Колпачникова. Если бы напечатали все, даже ребенку стало бы ясно, что обвинения безосновательны.

Времена действительно непростые, и трудно собраться с мыслями, чтобы написать связный отчет обо всем происходящем. Едва становятся известны подробности одного потрясающего события, как происходит другое, еще более потрясающее. Мы живем сегодняшним днем, спрашивая себя, что готовит нам Россия и Петроград. “Думаете, немцы придут сюда?”, “Когда, по-вашему, они будут в Петрограде?”, “Что будете делать, когда придут немцы?” — такие вопросы нам задают сейчас постоянно. Все наши мысли и разговоры — об ужасных бедах России. Смогу ли я когда-нибудь сосредоточиться на других темах?

Кажется, русские, так же как и находящиеся здесь иностранцы, сбиты с толку неразберихой нынешних политических сил, странными декретами и требованиями разных партий.

Союз Ленина с Троцким — это просто анекдот и в то же время печальная действительность. Среди русских бытует много точек зрения по поводу того, как изменить положение к лучшему, но тем дело и ограничивается. Когда одна часть народа воюет с другой, по собственному произволу создает одни законы и отвергает все остальные, в этом есть что-то зловещее, вам не кажется?

Солдаты или, по крайней мере, люди в солдатской форме чуть ни ежедневно вламываются в винные лавки и выпивают все, что захочется, представляете? Одни потом возвращаются невредимыми, других убивают, тогда как третьи засыпают в снегу. Мы привыкаем к таким происшествиям. Вероятно, в такое время не совсем безопасно находиться на улице — шальная пуля не разбирает революционеров и буржуев, но мы не сидим дома и даже иногда возвращаемся к себе довольно поздно.

Один чрезвычайно умный молодой офицер из русских, бывший у нас на ужине, объяснил, почему не пришел, как наме-

ревался, ко мне в четверг. По дороге к нам, когда он был уже рядом, среди белого дня несколько человек попытались снять с него меховую шубу. Офицер ударил одного из этих скотов так, что тот зашатался. Оказанное сопротивление (явление ныне чрезвычайно редкое, так как при малейшем сопротивлении обычно убивают – нападают трое на одного, причем грабители вооружены штыками) явилось такой неожиданностью для остальных, что офицера отпустили. Но он опасался, что, если зайдет к нам в квартиру, грабители могут последовать за ним, поэтому пошел в противоположном направлении.

Один из последних декретов в полном соответствии с обещанным объявил конфискацию частных вкладов в банках. Последнее время мы свои деньги постепенно снимаем, только, пожалуйста, никому не говорите!

Русские говорят: "Царь оказался плохой, и мы от него избавились. Узнали, что Временное правительство плохое, от него тоже избавились. Видим, что и большевики плохие! Кто же хороший и что делать?" Ну разве не печальная путаница?

Это письмо получилось довольно длинным. Напишу снова через несколько дней. Постараюсь, чтобы у меня всегда было наготове письмо на случай оказии.

Доброй ночи! С любовью...

Французская набережная, 8,
Петроград

28 декабря 1917 года

Дорогие мои,

последнее письмо отправилось к вам через Сибирь, так что пишу следующее.

У нас просили помощи для вызволения полковника Колпачникова из Петропавловской крепости. Мы можем ему помочь, указывая на ложность обвинений, выдвинутых против американского посольства. Я отправила ему еду, вряд ли он сможет получить ее от кого-нибудь другого.

Начальника Национального городского банка, американца, арестовали и провели по улицам. Его единственная вина заключалась в том, что он начальник банка. Продержали под арестом всего несколько часов, но банк до сих пор закрыт. Освободившись, он зашел ко мне после полудня. Несмотря на большую ответственность, возложенную на него, этот человек не совершил ничего противозаконного.

Нам сообщили, что скоро отключат воду, так что мы наполнили ванну и прочие свободные емкости. Если воду действительно отключат, трубы замерзнут, вот тогда попадем мы в по-

ложение! Надеюсь, это лишь очередная угроза, хотя в том, что касается угроз, у этих "красных" слово с делом не расходится.

Стало известно о двух американских курьерах, задержанных в Торнео на севере Финляднии с шестнадцатью сумками писем. Это рождественская почта, а мы ее так ждали! Это только лишний раз доказывает, что большевики любят показать свою власть и млеют от восторга, если удается кому-нибудь насолить.

Начались предварительные мирные переговоры между большевиками и немцами.

На передний план снова выдвинулись новости, связанные с Учредительным собранием, но считается, что его члены, враждебные большевикам, были арестованы по приезде в Петроград, так что подтверждается верность моего вывода, сделанного несколько недель тому назад, — Учредительное собрание не соберется.

На улицах увеличивается количество немцев в военной форме, невозможно выйти из дому, чтобы их не повстречать. Приготовлены квартиры для немецкой делегации, приезд которой ожидается. Хотела бы я чувствовать себя в такой же безопасности, в какой, судя по всему, будут здесь немцы!

Чтобы показать, насколько в Петрограде не уважают иностранцев, в дополнение к истории с задержанием наших курьеров с почтой приведу вам следующие примеры. Квартиру первого секретаря итальянского посольства разграбили, а мебель переломали. Пропали десять сумок с почтой британского посольства. Испанскому курьеру не разрешили въехать в Россию через Торнео (Финляндия), поскольку у него не оказалось визы российского "комиссара" в Стокгольме. Прошел еще один митинг протеста против американцев и их обращения с анархистами в Соединенных Штатах.

Американское посольство посетила комиссия из четырех анархистов, они угрожали убийством американцев в Петрограде.

Как-то утром мы долго не могли дозвониться по телефону до одного человека. Наконец я велела горничной, которая мне помогала, говорить по-немецки. Она хоть и боялась, но на немецкий все же перешла, и нас тотчас соединили с нужным номером. Телефонистка поблагодарила горничную за то, что та говорила по-немецки!

Нам предложили несколько квартир на выбор для бесплатного проживания — хозяева надеются, что обитаемое жилище не разграбят. Хозяева, русские, пребывают в большом унынии и не понимают, что присутствие иностранцев квартиру не убережет. До отъезда из Петрограда мы останемся в нынешней квартире, ибо я не верю, что наши американские друзья, пересдавшие ее нам, при существующем положении дел вернутся в

Россию. Было бы очень жаль оставить на милость бандитов все эти прекрасные вещи, не говоря уж о наших запасах дорогостоящих продуктов.

Недавно тут прошел фарс — выборы в новое Учредительное собрание. Избирательные урны доставили в Петропавловскую крепость, и заключенным, включая бывших министров Временного правительства, позволили голосовать. Разумеется, голоса подсчитывали большевики, так что вполне естественно, что они же, как и ожидалось, набрали большинство, но я по-прежнему считаю, что Учредительное собрание не соберется. Такое собрание могло бы сформировать действующее правительство, но Ленин с Троцким, как и немцы, этого не желают.

Если заседание Учредительного собрания все же состоится и попытается выработать большевистско-анархистскую конституцию, то ничего из этого не выйдет, поскольку сейчас существует три обособленных группы граждан с разнящимися интересами, а именно: (так называемые) солдаты, рабочие и крестьяне. Каждый крестьянин желает иметь больше земли, чем имеет сейчас, и не желает отдавать часть ее другому, имеющему меньше. Он также не желает отдать свою землю Смольному, такая возможность нисколько его не привлекает.

Рабочие как члены Красной гвардии получают относительно большие зарплаты, с которыми не желают расставаться, равно как и не желают возвращаться на свои заводы и фабрики.

Солдаты видят, что красногвардейцы получают большее жалование, чем они, и недовольны этим.

Так что путь к идеальной социалистической революционной республике все еще тернист, что бы под ней ни подразумевалось. Предстоит преодолеть еще много трудностей и многому научиться, прежде чем Петроград или любая часть России обретет мир, не говоря уж о действующем правительстве.

Не знаю, читали ли вы о российской делегации, впервые приехавшей в немецкий штаб, чтобы договариваться о мире. Лейтенанта с плохим послужным списком, армейского врача и солдата “избрали” для отправки за линию фронта! Мирные переговоры в целом были так отвратительны, что много о них писать не хочется. Немцам кажется, что они могут одурачить любого разумного человека. Не удивительно, что большевики с помраченным сознанием верят в свою способность дурачить интеллигенцию.

Серьезную озабоченность вызывает ситуация с подачей электричества: его могут неожиданно отключить в любое время, и неизвестно, когда дадут снова. Это ужасно неудобно. Свечи у нас еще не кончились (мы покупали их везде, где только могли), печи и керосиновые лампы — большое утешение.

Все на этот раз. Напишу снова, как только отправлю это письмо.

Нет нужды тревожиться за нас. Мы вполне благополучны и можем о себе позаботиться.

С наилучшими пожеланиями всем вам...

Французская набережная, 8,
Петроград

3 января 1918 года

Мои дорогие,

писать в общем-то не о чем, но я не оставлю своего намерения всегда иметь наготове письмо для отправки. Возможностей отправлять почту будет теперь все меньше, но, вероятно, то же можно сказать и об интересных темах, так что вы ничего не теряете.

Мы, наконец, получили рождественскую почту, и благодаря этому у нас, хоть и с запозданием, получилось еще одно Рождество. Пришло много писем, подарков и множество хороших новостей от тех, кого мы больше всего любим.

Здесь возобновились уличные демонстрации и парады, их лозунги призваны вселить ужас в сердца всех, кому дороги закон и порядок. Насколько я понимаю, эти дьяволы желают свергнуть все, причем не превозносится ничто, кроме их собственной власти. Все их лозунги начинаются со слова "Долой".

Каждый день по всей стране происходят убийства наиболее уважаемых людей, потом о них сообщается в печати. Здешняя пресса отличается поразительной желтизной и напоминает еженедельник "Воскресная школа".

Пережили мы петроградский туман, самый настоящий.

Нас пригласили на ужин к английскому священнику, и мы отправились к нему на извозчике, имея в запасе достаточно времени, чтобы добраться загодя. Два раза едва не попали под пули, и я решила идти пешком, но пришлось прижиматься к стенам зданий. На ужин опоздали, домой тоже пришлось идти пешком, но зато прогулялись.

Наш посол устраивал первого января прием в посольстве, тут мы снова повидали представителей американской колонии, численность которой все сокращается, а также наших русских друзей. Их число также убывает, ибо все, кому есть где укрыться в безопасном месте, Петроград покидают. Часто оказывается, что избранное ими место действительно безопасно в день приезда, но оно становится небезопасным на следующий.

Меня пригласили по телефону посетить баронессу К., которая сейчас болеет. Она получила письмо для Уолтера от полков-

ника Колпачникова. Я поехала к ней и до сих пор под впечатлением от бедственного положения, в котором находится эта семья. Барон — офицер, его жалованье составляет пять рублей в месяц, с учетом покупательной способности нашими деньгами это примерно пять центов. Его прелестная жена нашла себе временную работу в конторе с жалованьем 175 рублей в месяц, которых недостаточно, чтобы заплатить за снимаемую квартиру. У них двое маленьких детей, что делает положение еще более печальным. Разумеется, это лишь одна семья, но в подобном положении сейчас находятся тысячи таких же.

Письмо от полковника Колпачникова — маленькая полоска бумаги, которую удалось вынести из тюрьмы. Вот оно:

Дорогой капитан Кросли, большое спасибо за книги, отличный хлеб и варенье. Кормят нас здесь очень плохо и мало, ваша доброта и забота помогают мне в тюрьме сохранить жизнь. Условия содержания с каждым днем становятся тяжелее, вся моя надежда выбраться отсюда поскорей — в ваших руках. Пожалуйста, поблагодарите от меня миссис Кросли за хлеб. Верьте: искреннейше преданный вам, А. Колпачников.

Это одно из весьма похожих друг на друга писем от него, которые удалось пронести из тюрьмы. Я отправила ему несколько посылок с едой. Часть их он, конечно, не получил, но те, что дошли, облегчили ему жизнь.

Сегодня у нас была настоящая метель, но многие пришли к нам, вопреки непогоде. Я очень рада, что как следует к этому подготовилась. Наши пылающие камины, горящие свечи, лампы с экранами делают комнаты очень нарядными, всем у нас очень нравится: гости остаются допоздна. Одна русская дама сказала:

— Слушайте, у вас прямо как в сказке.

Ничего нового я вам рассказать не могу. Все — то же самое, Россия с каждым днем все глубже погружается в трясину анархии, голода и горя. Я хочу сказать, что все ухудшается, лучше не становится. Продовольствия нет, русские и все прочие голодают, наше счастье, что у нас есть запас продуктов, которого, как мы надеемся, хватит на трудные времена.

Уолтер упорно работает, чтобы не позволить гуннам захватить Россию. Если бы только можно было предпринять решающие шаги! Немцы важно ходят по Петрограду, как будто он ими захвачен. Немецкие делегации уже здесь, их сопровождает многочисленный вспомогательный персонал, а также коммерсанты.

Это отвратительно, надежды никакой.

Писать письма становится все труднее, ничего нового не происходит, повторяется то, что уже было. Мы здоровы и,

вопреки неприятной обстановке, пребываем в хорошем расположении духа.

Всегда ваши...

Французская набережная, 8,
Петроград

10 января 1918 года

Прошло русское Рождество, мы ходили в две церкви слушать потрясающее пение смешанного хора. Никогда в жизни не слышала такой гармонии. Тут предпринимаются особые меры, чтобы хор звучал впечатляюще. Мы были с капитаном Егорьевым и его женой в церкви Адмиралтейства. У одного из священников, или дьякона, такой глубокий бас! В церквях тут не бывает музыкального сопровождения на органе или других инструментах. Этот священник, крупный, красивый мужчина, служба произвела очень сильное впечатление. К сожалению, церковь здесь, как и все остальное, находится в состоянии упадка и, боюсь, не скоро вернется к прежнему состоянию.

Почти весь личный состав британских подводных лодок, действовавших на Балтике, отправили по домам — стало понятно, что эти лодки ничего не могут сделать против русских и немцев. Разумеется, сейчас им мешает лед, а сохранять здесь воинский контингент до весны, значит погубить его, ибо становится очевидным, что в обозримом будущем союзники не пришлют сюда войска, которые помогли бы удержать российские армии от бегства.

Ходили мы покупать рождественские подарки для российских детей и нашли магазин, где продавцы так обрадовались, что мы говорим по-немецки. Это упростило нам покупку игрушек, но было несколько не по себе объясняться с продавцами на этом языке.

Последнее из ужасных событий — особенно отвратительное убийство большой группы офицеров в Севастополе. Это первый случай массовой расправы за последнее время, и он показывает, что положение дел ухудшается.

Электричество у нас бывает сейчас примерно по пять часов в день, но на это никогда нельзя рассчитывать — могут отключить в любую минуту. Светлая часть дня продолжается с девяти утра до трех пополудни, но и тогда довольно темно. Мы бы пропали без керосина (для ламп и печки) и свечей, которые приходится экономить, но как ни экономь, а дверной звонок от этого не зазвонит. Ставим у парадной двери горничную, она должна слушать, не постучат ли, но у двери холодно, на кухне гораздо теплее.

Смольный выпустил аллегорический плакат, копию которого с переводом я вам посылаю. Сознательно перевожу близко к тексту — очень характерный язык.

Пожалуйста, обратите внимание, что плакат подтверждает то, о чем я писала ранее: главная цель нынешней власти — разрушение и ниспровержение.

Россия — удивительная страна, полная света и теней, но сейчас тени превалируют. Мир потеряет столько прекрасного из того, что было в России, ради того, чтобы получить — что? Нечто, что гораздо хуже, чем ничего. Это ужасно!

Мы по-прежнему живем сегодняшним днем, никакие планы на будущее невозможны. Несомненно, уезжать со временем придется, но кто выдавит нас отсюда — русские или немцы, — никто не знает.

Пожалуйста, не беспокойтесь о нас. Из полученных нами писем видно, что среди вас есть такие, кто не верит в нас так, как мы верим в себя. Скорее всего, у нас все будет хорошо.

Помните, голод нам не грозит.

С приветом всем, любящие вас...

Французская набережная, 8,
Петроград

20 января 1918 года

В последние десять дней случилось немало существенного, но в том же роде, что и прежде, — все идет не к лучшему, а к худшему.

У нас очень холодно, много снега, но мало электрического света. Продолжаем по вечерам ходить в гости, но так делают очень немногие из наших друзей. Общение — единственный способ узнать, что происходит, а Уолтер считает это очень важным.

Лазарет закрылся, так как пользы от него нет.

Румынский советник и весь его персонал арестованы из-за противоречий между командованием румынской армии и большевиками, которые пытались вести в ней пропаганду. Арестованных продержали три дня в Петропавловской крепости и выпустили после протеста дипломатического корпуса. Сообщается, что отпущенным на свободу выдадут паспорта и выдворят из России.

Однажды нам удалось натопить нашу спальню дровяной и двумя керосиновыми печками сразу до восемнадцати градусов по Цельсию. Это, разумеется, слишком расточительно, каждый день так делать нельзя.

Толп на улицах, грабежей, стрельбы и убийств стало значительно больше, теперь в ход пошли бомбы. Почему так, никто, по-видимому, не знает, если только это не предварительно запланированная и набирающая силу подрывная деятельность. Дело отчасти в голоде и холоде, это несомненно. Скорее всего, животная природа человека позволяет легко преодолевать традиционные запреты. Организованной оппозиции большевикам не существует. В стрельбе и других проявлениях террора повинны мелкие банды, и погибают, в основном, ни в чем не повинные люди.

Неподалеку отсюда на улице был ранен хорошо одетый человек. Медсестра из Красного Креста попыталась ему помочь, но за это ее закололи штыком. Молодой солдат хотел оказать помощь медсестре, но на него напали и ранили. Можете себе представить, какое должно быть у бандитов мироощущение!

Сегодня вечером поступила угроза забросать бомбами и поджечь американское посольство. Если бы анархисты действительно хотели совершить это, нас бы заранее не предупреждали.

Вчера вечером в Мариинской больнице было совершено гнуснейшее убийство. Министров Временного правительства Шингарева и Кокошкина[1] арестовали седьмого ноября в Зимнем дворце и заключили в Петропавловскую крепость. Они тяжело заболели, и их перевели в больницу. Вчера вечером они были убиты прямо на больничных койках людьми в военной форме. Никого в связи с этим убийством не арестовали.

Недавно моя подруга, баронесса Мейдел, взяла извозчика, поехала за покупками и оставила его ждать перед лавкой, в которую вошла. Когда она вышла, извозчик стал ругаться, что ее долго не было. Тотчас собралась толпа и стала кричать “В Неву ее!”. Вам надоели подобные истории? Тогда о чем еще писать?

Снова казнили офицеров в Севастополе, и один офицер, приехавший оттуда, рассказал мне, что недавно расстреляли семьдесят человек. За что? Кто знает?!

Нелюбовь и неуважение к иностранцам здесь только усиливаются. Недавно забрались в итальянское посольство и вынесли кое-какие вещи.

Прямо сейчас разворачивается кампания по изгнанию иностранцев, но стоит отметить, что объектами оскорблений являются представители стран-союзниц, а не тех, что соблюдают нейтралитет, что указывает на немецкое происхождение этой кампании. Такой вывод подкрепляется все возрастающим числом немецких и австрийских солдат и офицеров, попадающих-

1. Ошибка автора: Шингарёв и Кокошкин были депутатами Учредительного собрания. (*Прим. перев.*)

ся на глаза на улицах. Многие из них — бывшие военнопленные, ныне совсем свободные, других опознали русские офицеры, знавшие их еще до начала войны.

Наше положение здесь незавидно, но положение образованных русских — гораздо хуже: их собственность отнимают, их жизнь находится в опасности, их близкие страдают от холода и голода, и ничего нельзя с этим поделать. Будь то американцы, да еще в таком числе, они бы что-нибудь предприняли, но русских нельзя винить за систему, в которой они были воспитаны и образованы, равно как и за черты характера, которые эта система воспитала в них. Никто из пребывающих в здравом уме не станет утверждать, что эта система была вполне хороша, но и никто из здравомыслящих людей, поживших здесь и видевших то, что видела я, не поверит, что эта система сейчас стала лучше. Раньше это была "прививка", но то, что заняло ее место ныне, — гораздо хуже.

Я немало повидала в России и говорила с многими образованными русскими, знающими свою страну. Для них нехарактерно считать себя не виноватыми, напротив, они принимают на себя вину за происходящее и за многое другое.

Я побывала на русской новогодней вечеринке.

Сейчас уже поздно, пора заканчивать письмо. Как бы мне хотелось всех вас увидеть! Когда-нибудь увидимся, и это будет счастливая встреча.

Всегда преданные вам...

Французская набережная, 8,
Петроград

31 января 1918 года

Дорогие мои,

это письмо только подтверждает то, о чем я уже писала ранее. Не могу заставить этих людей изменить их привычки, равно как не могу и изменить ход истории. Ничего принципиально нового не случилось, повторяется все то же, в результате жизнь делается более мрачной и тяжелой.

Погода у нас последнее время отвратительная, то оттепель то мороз, как результат — улицы в чудовищном состоянии. Их, разумеется, не расчищали этой зимой, потому что расчищать — значит работать. Теперь большевики приказали всем, кроме солдат и рабочих, заниматься расчисткой улиц, и можно видеть офицеров в форме, дам в котиковых шубах и детей, работающих кирками и лопатами, они убирают снег и лед. Платы за это они, естественно, не получают. Пока одни работают, другие, солдаты и рабочие, собираются

на тротуарах и с отсутствующими выражениями на лицах глазеют на работающих.

Грабители на улицах раздевают прохожих. Одну пару холодной ночью оставили практически нагишом, их отогрели в квартире наших друзей, так что я уверена, что это правда. Люди теперь переходят мосты только большими группами. Небольшие компании подходят к мосту и ждут, пока соберется побольше народу, и только тогда продолжают путь все вместе. Ботинки сейчас не купишь, или стоят они так дорого, что почти никому не по карману, так вот обувь иногда "реквизируют" грабители, снимая ее с ног тех, кто идет по снегу.

Рассказывают забавные истории об ограбленных, которым повезло. Следующая история, по-моему, правдива. С одного джентльмена в очень холодную ночь сняли хорошую меховую шубу, и он сказал солдату-грабителю, что не отказался бы от его старой форменной куртки, чтобы не замерзнуть. Солдат отдал ему куртку, джентльмен стал носить ее у себя дома и однажды обнаружил в ее кармане восемь тысяч рублей.

Другой джентльмен, еще более находчивый, сумел сохранить свое пальто, сказав грабителям: "Зачем меня грабите?! Я всего пять минут назад снял это пальто с буржуя!". Как видите, мы тут время от времени смеемся.

У нас побывало несколько офицеров (в гражданском платье) из Севастополя с обычными просьбами. По их рассказам, там казнили офицеров за то, что те отказались воевать с казаками, иными словами — против генерала Каледина, пытающегося не пустить большевиков на Дон. Кроме того, анархисты обнаружили списки офицеров, которые служили в военных трибуналах, судивших мятежников в 1905 и 1912 годах, и этих офицеров расстреляли. Некоторые из них были пожилыми людьми, давно ушедшими в отставку, но их все равно казнили.

В нашем доме сейчас живет психиатр, один из известнейших врачей в России, он возглавляет одну из крупных психиатрических больниц в Петрограде. По его словам, он вскоре должен будет выпустить всех своих пациентов, поскольку не может обеспечить им питание. Я высказала мысль, что Смольный очень хорошо подошел бы для их размещения.

Румынский советник и его персонал уехали, их сопровождали до Торнео "выдающиеся большевики". Трения между румынской армией и большевиками продолжаются.

Мы получили много почтовых отправлений, но нашим курьерам по-прежнему выехать не разрешают. Они очень рады хорошим новостям о том, что наша страна делает для войны, и особенно счастливы, что все наши любимые благополучны. Воистину, пришедшая почта — дар Божий.

Надеюсь, Уолтер получит назначение на другую должность. Тут сейчас абсолютно ничего нельзя сделать, а здоровый мужчина с хорошим послужным списком и образованием прозябает в России, когда его страна находится в состоянии войны! Уолтер к этому относится философски, сознавая, что в Вашингтоне не могут представить себе, каково положение здесь, но я вижу, что ему хочется заняться чем-нибудь стоящим. Не могу передать, до чего я рада, что оказалась здесь. Уолтер будет избегать ненужных стычек с окружающими нас "красными", но если им в конце концов удастся нас одолеть, то они не смогут потом говорить, что это было так уж просто.

Тут используется три типа термометров: Фаренгейт, Цельсий и Реамюр. Чтобы перевести показания одной шкалы в другую требуются такая умственная гимнастика, что у меня от нее поднимается температура.

Мои домашние обязанности теперь — тяжкий крест. Повар у нас — большевик, и почти невозможно добиться, чтобы что-то было сделано по-моему. Когда по возвращении в Штаты вы повезете меня кататься на автомобиле и у нас кончится бензин, я расскажу вам о некоторых моих здешних бедах. Если не буду ничего скрывать, вы забудете о своих.

В газетах появился интересный приказ: каждый служащий на российском флоте отныне называется моряком, и все носят одну и ту же форму. Некоторых могут избрать в командиры. Они в таком случае будут называться "Начальник моряков", "Помощник начальника моряков". Другие, будучи избраны в установленном порядке, должны называться "Гражданский начальник бюро", "Гражданский морской атташе" и так далее. Опять-таки это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Из-за недостатка продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости здесь очень распространены болезни.

Новые юридические установления не знают себе равных. Отныне не должно быть адвокатов, некоторых судей будут "избирать" (а на самом деле назначать в Смольном), и, кроме того, они будут действовать как присяжные. Обвиняемого приводят в суд, а публике предлагается его защищать. Свидетельствовать может всякий. Фарс! Господин Троцкий (или кто-то еще) делает некое утверждение, за которым сразу следует: "Таким образом, доказано, что (утверждение повторяется)" — считается вредным для здоровья противоречить любому утверждению тех, кто занимает кабинеты в Смольном.

Опять я заканчиваю письмо с надеждой, что вскоре сумею его отправить, хоть и не имею определенных сведений на этот счет. Спокойной ночи! С Новым годом!

С любовью...

Французская набережная, 8,
Петроград

10 февраля 1918 года

Снова воспользуюсь своей формулой и скажу: нет ничего нового под российским солнцем! Я повидала многих наших русских друзей, все они в отчаянии, и кто может их за это винить?! В Смольном готовятся ужасные декреты, и, полагаю, многие из них со временем вступят в силу. Где бы ни находились сейчас безумцы, которые правят Россией, в Берлине или Петрограде, они, кажется, намерены привести страну к полному краху.

Бывшие министры, а также полковник Колпачников по-прежнему находятся в Петропавловской крепости, и, как следует из последней записки, полученной нами от полковника, здоровье у всех ухудшается.

Уже несколько недель в банках не удается получить ничего, кроме "керенок" (денежных купюр, отпечатанных еще при правлении Керенского), Петроград наводнен ими. Их объявят не имеющими никакой ценности, и, если до этого дойдет, в прошлом богатые обеднеют еще больше.

Вечерние развлечения вышли из моды. Люди предпочитают сидеть по домам. Мы все же выходим из дома и днем, и вечером, но я всегда рада вернуться. Нельзя же вообще никуда не выходить!

Недовольство теперь вызывают не только державы-союзницы. Под предлогом поисков спрятанного продовольствия прошел обыск в датском представительстве, но толпа, не взяв продуктов, покинула его после того, как советник Скавениус заявил по телефону протест Смольному.

Новая идея возникла на Балтийском флоте, где комитеты заявили об автономности кораблей. Я не очень понимаю, что это должно означать, и, кажется, никто не может меня просветить, но, скорее всего, на большевистском языке это означает, что корабли теперь будут заниматься пиратством.

И это еще не конец. Если бы можно было сказать "Мы все равно выиграем войну" и этим утверждением закончить ее, все было бы не так плохо. Но человечество не может позволить себе покинуть Россию такой, какой она будет после победы немцев в большой войне. Потребуются годы, чтобы восполнить ущерб, нанесенный здесь всему миру недостатком решительных действий.

Русские откровенно говорили мне: "Знаете, мы никогда не испытывали ненависти к Германии, и, поскольку союзники нас не спасли, мы, вполне естественно, будем счастливы, если Германия избавит нас от этих ужасных скотов, правящих теперь нашей страной!"

По словам “лазутчика”, помогающего Уолтеру, один большевистский чиновник сказал ему, что в прошлом месяце в Петрограде убивали в среднем по триста человек в день. Думаю, это преувеличение, но такова точка зрения крупного чиновника, получающего регулярные отчеты.

Один из армейских офицеров, прикомандированных к нашему посольству, вскоре уезжает во Францию, я надеюсь отправить это письмо с ним. Наша колония становится все малочисленней, так это и должно быть, поскольку место здесь для американцев неподходящее. Все равно мы ничего сделать не можем.

Посылаем вам всем горячий привет и уверяем, что будем очень рады когда-нибудь вас увидеть.

С любовью...

Французская набережная, 8,
Петроград

20 февраля 1918 года

Мои дорогие,

последнее время было не до писем. Предгрозовая обстановка последних месяцев оказалась сущим пустяком по сравнению с тем, что происходит в эти десять дней. Россию успешно сдают в руки немцев, это несомненно, и тут нет ничего нового, но все, что до сих пор происходило постепенно, вдруг проявилось сразу. Вероятно, так и было запланировано. В воздухе ощущается напряжение.

Анархисты опять угрожали американскому послу и его сотрудникам, но, мне кажется, никто их угроз не боится.

Серьезные опасения вызывает сейчас стремительное продвижение германских войск в направлении Петрограда. Возможно, единственная цель этого наступления — выгнать представителей союзных держав.

Сейчас уже слишком поздно пытаться расстроить планы, ведущие к краху, кто бы их ни строил. Крах — свершившийся факт.

Большевики изменили российский календарь, теперь он соответствует нашему. Это будет облегчением для иностранцев, живущих в России, и для коммерсантов, ведущих здесь дела.

Число русских офицеров, желающих служить на нашем военно-морском флоте, увеличивается по мере уменьшения России. Один из них, командовавший эсминцем, когда немцы захватили Рижский залив, рассказал нам, что, отступая после “боя”, он догнал шедшее очень медленно российское военное судно. Эсминец подошел к его борту. На судне никого не было

видно, и на окрики никто не отвечал. Тогда несколько офицеров с эсминца поднялись на борт судна. Оказалось, судно покинуто командой, хотя один из его двигателей и динамо-машины работали. Боевые флаги развевались на ветру, все выглядело как обычно, если не считать того, что на борту не было ни души. На этом судне имелось лишь одно место, куда попал немецкий снаряд, не нанесший никакого вреда.

Судно, торпедировав, затопили, чтобы оно не досталось немцам. Вот так "доблестные красные моряки" (!!!) выиграли (??) битву за Рижский залив!

Четыре дня назад мы с Уолтером получили приказ выйти на улицу убирать снег. В приказе говорилось:

Мистер Уолтер и Полина Кросли направляются 18 февраля на принудительные работы по уборке снега. Первый из вышеназванных – с 9:00 до 12:00, вторая – с 12:00 до 15:00. Подпись: Делегат домового комитета Т. Вяземская.

Уолтер отказался читать приказ и объявил, что ни один из нас на эти работы не выйдет. Нам пригрозили, что этого так не оставят, но пока ничего не было. Я только что узнала, что Уолтер уже некоторое время держит у парадной двери заряженный карабин. Он говорит, что, если нас попытаются заставить убирать снег, он окажет сопротивление.

Я снова устраивала ужин, вероятно, в последний раз: у всех участников эта затея отнимает слишком много сил.

Вчера мы заходили в испанское представительство. Жена поверенного в делах рассказала мне, что у них на обед была только картошка с чаем. По ее словам, в доме нет ничего на ужин!

Наше посольство пытается подготовить поезд, чтобы вывезти нас всех в Штаты через Сибирь. По-видимому, скоро отъезд. Это письмо я, может быть, доставлю из России сама. Во всяком случае, отправлю его с первой же надежной оказией и надеюсь, вы его получите.

Всегда любящие вас...

Три репортажа с места событий

Составление, перевод со шведского и вступление Елены Даль

1917 год принес серьезные социальные потрясения не только России, но и многим странам Европы, в том числе и нейтральной Швеции. Импорт зерновых из США практически прекратился из-за объявленной Германией в феврале 1917-го неограниченной подводной войны в Северном море. Суда, идущие не под германским флагом, в том числе гражданские, топились без предупреждения. Урожаи ржи и картофеля 1916 года были низкие. Официальные комиссии по борьбе с дороговизной явно не справлялись со снабжением населения продовольствием. В начале 1917 года жителям Швеции на карточки выдавали по 200 граммов хлеба. В апреле на рынке пропал и картофель. В городах люди выходили на марши протеста против голода и дороговизны. Социал-демократы и синдикалисты выступали за всеобщее и равное избирательное право. Февральская революция в России подлила масла в огонь. По стране прокатилась волна забастовок. В мае 1917 года была создана левая социал-демократическая партия Швеции (с 1921 года — Коммунистическая партия Швеции). Профсоюзы выступали с требованиями увеличения заработной платы и введения 8-часового рабочего дня. В марте 1917 года правое правительство Яльмара Хаммаршельда, которого народ окрестил Хюнгершельдом, то есть Голодовским, ушло в отставку. Новое правое правительство во главе с Карлом Шварцем с ситуацией справлялось не лучше. В стране нарастало революционное брожение. На заводах и фабриках, в рабочих предместьях и казармах терпению подходил конец. По российскому примеру к протестующим рабочим стали присоединяться солдаты, у которых командование предусмотрительно отбирало оружие.

5 июня 1917 года на улицы Стокгольма вышли свыше 30 тысяч бастующих и двинулись к риксдагу. Мост Норрбру, по которому они должны были пройти, был перекрыт войсками, на крышах выставлены пулеметы. Против безоружных рабочих выступила конная полиция с саблями наголо. Народ ее встретил камнями. Многие протестующие получили сабельные ранения или попали под копыта. Рабочие лидеры призывали к спокойствию, и поток повернул на площадь Ярнторгет к Народному дому. В тот же день и на следующий там состоялись митинги с требованиями реформы избирательного права. Требовали и установления республики, но в этом вопросе единства не было. И, конечно же, в это кризисное время все жи-

© Елена Даль. Составление, перевод, вступление, 2017

тели страны, независимо от социального положения, дохода и принадлежности к какой-либо партии, с огромным интересом следили за тем, что происходило по другую сторону границы, у российского соседа.

В Россию, в основном в революционный Петроград и Москву, в 1917 году ездили не только лидеры левых партий, но и корреспонденты газет самых разных направлений, писатели и просто любопытствующие, некоторые из них знали русский. Писались и жадно читались газетные репортажи. Очевидцы торопились рассказать о своих впечатлениях, их отчеты еще торопливее набирались и мгновенно раскупались. Знакомясь сегодня с этими свидетельствами современников, мы нередко дивимся прозорливости их авторов или же, наоборот, их наивности и слепоте.

Предлагаемые отрывки из книг дипломата Нильса Линда, либеральной журналистки Туры Гарм-Фекс и авантюриста-мотогонщика Пера Эмиля Брусевича освещают российскую действительность с разных сторон. Хроника Линда, демократа до мозга костей, представляет собой свидетельство судного дня, заранее объявленной "Еремеевой ночи". Нильс Линд был в Петрограде в напряженные дни октябрьского переворота. Автор задается вопросом, куда же девалась многообещающая революционная демократия, искренне скорбит о ее бесславной кончине. После книги "Большевизм в советском государстве: наблюдения и размышления свидетеля" (1918) и еще одной книги о России (1949) Линд писал только официальные отчеты в МИД о развитии производства и об урожаях в СССР. Дочь священника Тура Гарм-Фекс приходит на "бал сатаны" в обществе кавалера из министерства Коллонтай и танцует с вором, который дарит ей кольцо с большой жемчужиной. Русофил Пер Эмиль Брусевич обрел в России духовную родину. Больше всего его интересуют многочисленные старые друзья, их судьбы, образ мыслей и особенно русские женщины. Каждый из этих очевидцев принес на родину свой собственный рассказ о времени великих надежд и великих разочарований.

Для Швеции же события кризисного 1917 года ознаменовали начало огромной работы по реформированию политической и социальной жизни в стране. В 1918 году было введено всеобщее прямое избирательное право. Что же касается королевской династии Бернадотов, то она здравствует и по сей день. Правда, в июньские дни 1917 года король Густав V утратил какую-либо власть и — по свидетельству современников — сидел на упакованных чемоданах, за что и получил прозвище Король Мактлес, то есть Густав V Безвластный.

Нильс Линд
В *ожидании Еремеевой ночи*

ВЕЧЕР, в порядке исключения, выдается ясный. Небо приподнимается на высоту, неделями невиданную, а под сводом, посередине, повисает луна. Она отбрасывает свой бледно-серебристый меланхолический свет на город, грязь и волнистую рябь Невы. Предчувствие мороза в резком порыве ветра, цоканье каблуков о плиты тротуаров, глоток воздуха, из милости посланный небесной канцелярией, чтобы можно было продышаться.

Но только не в трамвае. Эти невыразимо грязные трамваи обладают особым запахом и атмосферой, не подвластными никаким переменам погоды — по крайней мере, в лучшую сторону. Ничего не попишешь, ко всему можно привыкнуть.

В вагон входит солдат. Входит бочком, словно кто-то его развернул, и плюхается на ближайшее свободное сидение. Он еще очень молод, с фуражкой на затылке, и жует огромное яблоко. Глаза излучают радость и дружелюбие, фигура и осанка свидетельствуют о состоянии легкого и пристойного опьянения. Пьяным его не назовешь. Он всего лишь навеселе, в таком состоянии можно ощутить, как дух жизни приподнимает свои увядшие крылья. Денатуратом от него никоим образом не разит — запах куда более терпимый.

Жизнь, однако, коварна — и может выпустить шипы даже в самые безоблачные мгновения. Городская управа в лице своего доверенного наймита-кондуктора не упускает шанса прищемить нос этому благонравному индивиду. Сборщик налогов на неотъемлемое право гражданина свободно передвигаться оказывается, видимо, полностью безразличен ко всем чувствам и сменам настроений, он требует у юного представителя вооруженных сил пять копеек — в связи с только что вступившим в силу распоряжением. Солдат взирает на наемника из налогового ведомства поверх яблока с сострадательным презрением и изрекает беззлобно:

— Да пошел ты к черту!

Кондуктор, однако, не сдается. Он настаивает на своем, без апломба, но с несгибаемым упрямством. Такое действует на нервы.

— Да что ты, черт тебя возьми, ко мне привязался! — выходит из себя солдат.

Сосед напротив, одетый в шубу, дергает кондуктора за рукав и протягивает ему пять копеек.

— Вот, берите! — говорит он и нервно вздрагивает.

Кондуктор берет купюру — в России сейчас монеты отменены, в ходу только ассигнации — и неуверенно вертит ее в руках.

— Да ни к чему это. Этих тунеядцев надо приучить платить.

Тут вояка свирепеет. Лоб багровеет, глаза угрожающе вращаются.

— Какого рожна ты лезешь! — орет он на шубу. — Думаешь, я за себя заплатить не могу? Не воображай, что какой-то там проклятый буржуй должен ради меня бросаться своими наворованными деньгами!

“Буржуй” — это незаменимая глосса в новом, достойном восхищения, лексиконе, которым революция обогатила русский язык. Конечно, в литературном обиходе существовали слова “буржуазия” и “буржуа”. Однако только благодаря революции возникла потребность их всячески популяризировать и внедрить в народное сознание соответствующие им понятия. В фонетической транскрипции слово “буржуа” обретает в русском языке окончание женского рода и становится несклоняемым. Но ради удобства в обращении его пришлось перекроить на собственный фасон, и получилось “буржуй”.

Вояка, тем не менее, энергичным рывком вытаскивает пятикопеечную бумажку, сует ее в руку кондуктору и снова принимается за яблоко. Радость триумфа, возможно в сочетании с яблоком, понемногу смягчает его настроение. Смачно доедая фрукт, он подмигивает кондуктору:

— Да наплевать нам на этот пятак! Дело в принципе. Мы протестуем, все солдаты протестуют...

— Ну и протестуйте себе, — равнодушно замечает кондуктор. — На здоровье. Только это не поможет... Скоро, может статься, вам придется платить и по 10 копеек.

— Не поможет, говоришь? — произносит солдат, распаляясь. — Очень даже поможет. Только подожди до двадцатого!

— До двадцатого, как бы не так, — неторопливо шмыгает кондуктор и вытирает пальцем под носом. — Трепотня одна. А если не трепотня, так бред какой-то.

— Бред какой-то? Трепотня? Никак нет. Сам увидишь. Буржуям будет крышка. Мы им выпустим кишки. Вот так.

— Ну а дальше что? Что из этого всего выйдет?

— Что из этого выйдет? Другой будет порядок, вот что. Наступит мир.

— Мир, как бы не так! И бездельники-солдаты небось переведутся! А ты будешь платить за проезд в один конец 20 ко-

пеек, как и все остальные! — презрительно изрекает кондуктор.

Две седовласые дамы, сидевшие рядом со мной, увлеченные обменом мнениями о ценах на контрабандный сахар, навострили уши и уставились двумя парами испуганных глаз на кровожадного ратника, который все продолжал ораторствовать о необходимости "выпустить кишки буржуям". Когда же он, наконец, надоев кондуктору, последовал его призыву "Ладно, заткнись!", они тут же принялись яростно шептаться, то и дело бросая испуганные и возмущенные взгляды на остальных, с виду совершенно равнодушных пассажиров.

Двадцатое! Весь город бредит двадцатым. О двадцатом говорит всякий. Газеты печатают целые столбцы под сенсационными заголовками. Циркулируют самые невероятные слухи.

Двадцатое октября (второе ноября по новому стилю) — это заранее объявленный в сопровождении агрессивной рекламы день большевистской акции, когда правительство низложат, сторонников компромисса, как стаю испуганных ворон, шуганут из Временного совета российской республики (предпарламента), а на руинах, благодаря диктатуре пролетариата или, скорее всего, Ленина возникнет общественный рай. После этого на земле воцарится мир и глазам предстанет невиданное доселе зрелище. Одним словом, двадцатое — дата давно желанной и долгожданной "Еремеевой ночи".

А "Еремеева ночь" — это Варфоломеева ночь, перекроенная на новый лад с помощью, я бы сказал, народного юмора[1].

Бог свидетель, юмор здесь крайне неуместен. Первыми словечко подхватили делегаты Центрального исполнительного комитета из среды большевиков и максималистов[2]-матросов Балтийского флота в Финляндии, чьи исторические познания явно уступали их революционным устремлениям.

Великое событие пришлось не на двадцатое число, поскольку Всероссийский съезд советов, где большевики оказались в

1. В Москве в ходу был термин — "Вахромеева ночь". (*Прим. автора.*)
2. Максималисты появились в России с конца 1905 г. и произвели несколько крупных экспроприаций и террористических актов. К 1911 г. партия прекратила свое существование. Возродилась после Февральской революции. Максималисты участвовали в Октябрьском вооруженном восстании, а также в работе II–VII съездов Советов, ВЦИКа. В 1919 г. союз максималистов раскололся, а в 1920 г. часть максималистов вступила в РКП (б), другая — объединилась с бывшими левыми эсерами. (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. ред.*)

большинстве, отложили на несколько дней. Однако отсрочка не смягчила неотвратимой силы удара.

Как ни странно, эти серые дни запомнились надолго, в памяти воскрешалось хмурое настроение, которое окутывало нас, подобно влажному туману, и подавляло наши чувства своим угрюмым гнетом.

Мы уже больше ни на что не надеялись. Мы чувствовали себя бессильными. Подобно кролику, зачарованно уставившемуся на гигантскую свернувшуюся змею, мы дожидались катастрофы, надвигавшейся на нас под покровом тьмы. Нас парализовало, мы потеряли надежду. На так называемом Демократическом совещании в Петрограде мы стали свидетелями краха революционной демократии.

Что ж, так оно и было — лидеры этой демократии не желали признать ее краха, но вынуждены были признать этот горький, неоспоримый факт. Они по-прежнему заседали во ВЦИКе, дебатировали, голосовали и принимали резолюции. И правительство, как казалось, уделяло им больше внимания, чем когда-либо. Опыт корниловских дней частенько приводил министров в Смольный институт — посовещаться с ВЦИКом, который намеревался отправить своего представителя в обществе министра иностранных дел в Париж, на конференцию союзников.

Но крах, однако, оставался фактом. В Смольном, как под водолазным колоколом, заседали представители революционной демократии, избранные в Центральный исполнительный комитет. Посреди океана, и все же в изоляции. В тишине и покое, в благоприятных условиях для работы, обмена мнениями и составления резолюций. А где-то над головами бушевал ураган.

Массы покинули их.

Официозная газета “Известия” нравоучительно отмечала: “Рабочие и солдатские советы бросились налево”. В них заседали большевики. Массы потеряли веру в Центральный исполнительный комитет, а комитет потерял веру как в массы, так и в себя.

Комитет настроился на самоликвидацию, поскольку он способствовал созданию “предпарламента”. Комитет, как мог, сопротивлялся созыву нового съезда советов и в конце концов с весьма кислой миной дал свое согласие. Он заранее анонсировал, что новый съезд ни к чему не приведет, он будет лишь помехой. Более полного отказа от революционной демократии не мог бы пожелать даже самый ярый контрреволюционер.

Так бывает, когда вера потеряна.

Именно это и стало лейтмотивом: потеря веры. Всеобщая усталость стала знаком и символом времени. Бессильно опустились только что страстно вздымавшиеся руки, заглохли бесконечные потоки слов, речи, резолюции. На нас надвигалась удушающая скука, упрямо и безжалостно, как холодный и нудный дождик моросит в пасмурный осенний день — кап-кап-кап — тук-тук-тук. Мы устремляемся домой, мечтая затопить печку и посидеть в уютном теплом уголке, и, да-да, раскурить трубку, выпить тодди[1], а остальное — пропади оно пропадом!

Чхеидзе уехал домой на Кавказ — отдохнуть перед Учредительным собранием, Церетели тоже. Отдохнуть им, конечно, нужно.

Симптоматично, что не один и не двое утомились и решили немного отдохнуть. То же самое можно сказать о других. Свидетельств тому множество.

На муниципальных выборах в Петрограде в мае 1917 года проголосовали 791 000 человек. В повторных выборах в августе того же года участвовало 443 000, то есть на 348 000 меньше — по сравнению с весной. Даже если учитывать предместья, только что включенные в избирательный округ, получится 527 000, то есть все равно выходит на 264 000 меньше. В Москве в общих выборах в городскую управу нынешним летом участвовало около 60 % обладающих правом голоса. А в повторных муниципальных выборах (в районные управления) участвовало всего 30 % избирателей — публика явно потеряла к ним интерес.

Интерес к муниципальным выборам в провинциальных городах возобновился в начале избирательного периода, летом, — в них участвовало от 50 до 70 %. С тех пор кривая устремилась вниз и достигала 15, 10 и даже 6 %.

Волостные выборы начались позднее и поэтому с самого начала пришлись на волну спада. В первых выборах в самых густонаселенных и относительно цивилизованных регионах ажиотажа не наблюдалось; максимум так, кажется, и не превысил 30 %.

Впоследствии цифры и вовсе устремились вниз и даже достигали нуля, то есть в некоторых местах выборы вообще не могли состояться — из-за полного к ним безразличия со стороны населения или даже явной антипатии.

Эти усталость, безразличие, антипатия и скука, кстати, ощутимо проявились и в самом центре. Когда Петроградский со-

1. Тодди — горячий алкогольный коктейль на основе крепкого напитка с добавлением специй и взбитого яйца.

вет рабочих и солдатских депутатов выбирал новый президиум, в результате чего Троцкого посадили на тот же пост, который он занимал в краткосрочном Совете рабочих депутатов 1905 года, на выборы из более чем полутора тысяч членов совета удалось согнать не более 400. С тех пор заседания совета посещались вяло, и даже случалось, что объявленные заседания рабочей секции два раза подряд не могли состояться из-за отсутствия кворума. А когда заседания все же проводились, то случались такие результаты голосования, как примерно сто голосов против трех или семи, или вроде того. То есть цифры сами по себе настолько красноречивые, что никаких комментариев не требуется.

Социалистическая печать жаловалась на то, что падают тиражи, и даже орган большевиков, после закрытия административным путем ближайших преемников "Правды", — газета "Рабочий путь" не избежала катастрофического падения тиража (в пользу контрреволюционной печати). "Новая Русь", отвратительная мелкая ратующая за погромы газетенка (издаваемая Алексеем Сувориным, представителем династии издателей "Нового времени"), которая тоже попала под административное преследование (инициированное, кстати, самим Советом рабочих и солдатских депутатов) и в связи с этим неоднократно меняла названия (в самом начале она называлась "Маленькая газета"), имела колоссальный тираж, достигший полумиллиона экземпляров. Ее читало и рабочее население, и в особенности крестьяне в деревне.

Было ясно, тем не менее, что дело тут не в политической реакции, а в реакции на политику как таковую, в разочаровании и в скуке. В рабочих кварталах и в солдатской среде главным занятием стали уже не политические митинги и дискуссии, а танцы и карточные игры. Куча денег была запущена в массовый оборот. Они легко доставались и легко спускались. Нередко четверо или пятеро солдат за вечер просаживали в карты пятьсот-шестьсот рублей. Да и "зеленый змий" стал все более и более открыто и безудержно демонстрировать свою власть. Продажа спиртных напитков из-под полы процветала как никогда в ресторанах всех категорий и классов, в чайных и прочих подобных заведениях. А когда настоящий благородный продукт просто исчез из обихода, то на худой конец облагораживали суррогаты, которые можно было достать: денатурат, политуру, настойку для волос и прочие подобные жидкости. Пьянство набирало обороты.

Углы и заборы перешли на свой небезынтересный язык. Не только каждый день, но и каждый час появлялись новые афи-

ши и плакаты. Раньше народ призывали поучаствовать в митингах и дебатах или послушать доклады, всегда на политические или социальные темы. Теперь же подули другие ветры. Сейчас читались лекции о "сатане и сатанизме", о спиритизме, о йоге и прочей религиозной мистике. Из нор выползали поэты-футуристы и устраивали свои унылые поэтические вечера.

Наступила пора великого равнодушия, в наших рядах царила безмерная скука. Вера была потеряна.

Страну охватили пожары, гремели салюты гроз. А с фронтов волна за волной хлынули дезертиры, опустошая все на своем пути. И они потеряли веру, веру в революционную демократию и в ее политику. Они верили в мускулы и силу кулака, в пинки сапогом и в зубодробительные удары. Они жаждали навести порядок, пустив в ход собственные мозолистые руки.

Значит, большевики делали ставку именно на политику кулака? А вообще, кто они были, эти большевистские бонзы, стоявшие за Лениным и Троцким, Зиновьевым и Каменевым, Александрой Коллонтай и Рязановым[1]?

А солдаты, время от времени заявлявшие в Совете депутатов Петрограда, что их подразделения не желают больше воевать, что они решили покинуть фронт и требовать мира, пусть даже и позорного? А солдаты, которые в провинции грабили склады со спиртным и терроризировали гражданское население? А бандиты, которые на железной дороге убивали кондукторов, машинистов и начальников станций и дезорганизовывали движение? Массы, устраивавшие в провинциальных городах еврейские погромы и грабившие магазины с тем, чтобы спекулировать краденым? Одичавшие толпы, поджигавшие в деревнях хутора и овины, забивавшие породистый скот и уводившие коней, разбиравшие между собой помещичью мебель, уничтожавшие библиотеки и культурные ценности, выгонявшие на поля скот, чтобы он затоптал озимые, увозившие из поместий зерно, закапывавшие его в землю, чтобы не досталось армии и городам, убивавшие не только помещиков, но и зажиточных и мелких крестьян и шедших в бой друг против друга, село на село?

Да, именно они.

Это они посадили на трон большевиков.

Когда мы в эти серые осенние дни находились на границе между двумя эпохами, парализованные и выжидающие, в раз-

1. Давид Борисович Рязанов (1870–1938) – российский социал-демократ, большевик, историк, основатель и первый руководитель Института Маркса и Энгельса (1921–1931). Член АН СССР. В 1938 г. был расстрелян. (*Прим. перев.*)

думье оглядываясь на пройденный путь и вопросительно взирая на ожидавшую нас судьбу, мы говорили друг другу:

– Нет, такого не будет! Это – не великая социалистическая революция, которую предсказывал Ленин, это не она стучится в ворота, чтобы завтра перешагнуть через порог в своем ужасающем, сверкающем величии. Это – поднявшийся на дыбы дикий зверь, жаждущий крови. Его первой жертвой станут сами большевики.

Мы оказались правы. Дикий зверь поднялся на дыбы. И поглотил большевиков. От них осталось одно имя. Сейчас его носит дикий зверь, а не социал-демократы, которые когда-то ратовали за построение социалистического общества.

Еремей – это русский вариант Иеремии. Бог знает, какая там, на русской почве, возникла ассоциация, связавшая имя ветхозаветного пророка, автора "Плача Иеремии" с событиями Варфоломеевой ночи. Но ясно, что в этой ассоциации есть определенный смысл.

Еремеева ночь наступила – и она продлилась дольше, чем кто-либо мог предположить. И новый день еще не забрезжил.

Тура Гарм-Фекс

Незабываемый бал

Петроград, февраль 1918

ВРЕМЯ от времени в петроградских газетах печатались небольшие заметки, повествующие о том, что на Невском снова видели автомобиль с пассажирами в масках.

В Петрограде много хороших автомобилей, в прошлом частных. А ныне они оснащены красными революционными фарами и все без исключений находятся в распоряжении большевиков. Тот, который по ночам разъезжал с пассажирами в масках на борту, тоже был снабжен мерцающей красной фарой, но говорили, что вместо гудка шофер в маске оповещал о своем прибытии выстрелом. Затем из автомобиля выпрыгивали пассажиры и грабили прохожих до нитки. Этот факт уже никто не считал новостью, но маски долгое время оставались загадкой.

Зачем, спрашивается, утруждать себя – кого и чего ради? Какая польза от того, что у ограбленных жителей Петрограда в памяти точно запечатлевались черты злодеев, когда все равно никто и пальцем не пошевельнет, чтобы их схватить?

Загадка понемногу разрешилась. Все это оказалось забавной шуткой. Несколько веселых "таварищей", каждую ночь

посещавших маскарады, затевали грабительские налеты с целью поразвлечься.

Наверное, именно поэтому маскарад в Петрограде и стал основным развлечением нашего времени. Театры, например, в том старомодном состоянии, в котором они пребывали (об этом я еще расскажу позднее), не способны были задавать тон в стране свободы. Министр культуры Луначарский вопрошал: подойдет ли витиеватая опера на сюжет из Гёте сыну пролетария? И доступно ли солдатской вдове наслаждение замечательными драмами Шекспира?

Скорее всего, нет. Однако танцы и музыка подходят всем, поэтому решили так: пусть балетная труппа бывшей Императорской оперы в Мариинском театре иногда дает представления для солдат в целях развлечения. Понимая, что служители театра, если использовать их по назначению, могут развлекать и потешать нынешних властителей Петрограда, актеров назначили любимчиками большевиков и осыпали их всевозможными милостями.

Кроме всего прочего, иногда им удавалось избежать грабежей. Газета Максима Горького "Новая жизнь" сообщала, что "накануне вечером на Марсовом поле было совершено нападение на одну из примадонн Александринского театра, которая как раз отправлялась на представление". Хулиганы отобрали у нее деньги и шубу. Она сказала, что отдаст им все, только просила оставить ей половину денег — на извозчика, чтобы не опоздать в театр.

— Так что же вы сразу не сказали, тогда бы такое ни за что не случилось! — заявили джентльмены, одетые как солдаты.

И вернули ей всю добычу без малейшего вычета.

Тем не менее бал-маскарад нынче основное развлечение. Во всех трамваях и со стен каждого второго дома огромные красные афиши оповещают о маскарадах. В Петрограде публика ночи напролет танцует везде — на Бирже и во дворцах великих князей.

— Как это понимать? — спросила я как-то офицера, служившего в министерстве Александры Коллонтай. — Люди танцуют, потому что им в радость голодать и быть убитыми? Или же все на самом деле обстоит иначе, хуже стало только богачам — а бедным и вправду живется лучше?

Моя злая наивность была, собственно говоря, наигранной — просто захотелось увидеть, какую мину скорчит большевик. Поэтому меня и сразил наповал его честный ответ.

— А вы разве не знаете, что танцы — лучшее лекарство от голода? Балы в фаворе именно из-за голода, и если вы пойдете на

такой бал, то увидите, что среди танцующих есть не только те, кого вы называете народом, но и буржуазия. От радости там, однако, мало кто пляшет.

Эта откровенность так меня поразила, что я попросила его как-нибудь взять меня с собой на такой бал.

— С удовольствием! Сегодня вечером будет бал-маскарад в просторных залах Офицерского собрания армии и флота на Литейном. Пойдемте? Только никаких драгоценностей! — предупредил он, когда я ответила согласием.

Драгоценностей я не надела — но взяла с собой одного мужественного шведа. Такового пришлось поискать. Это не злословие, а факт, если мужественным называть человека, который осмелился бы выйти на улицу после девяти вечера. Петроград находится на осадном положении, и, собственно, после шести вечера выходить запрещено, впрочем, этот закон, как и большинство других, не соблюдается. До девяти часов на улицах еще довольно многолюдно, но потом публики становится все меньше и меньше. Меня предупредили, что выходить на улицу после этого часа — не мужество, а дерзость и безрассудство, и никто в здравом уме на такое не решится.

Таким образом, я отправилась на маскарад на Литейный в сопровождении двух безрассудных мужчин. Бал оказался незабываемым. Никак не ожидала увидеть такое под звуки танцевальной музыки.

На лестнице мы встретили двоих вооруженных красногвардейцев, а между ними — молодая девушка. Она провинилась тем, что вроде бы выпила стакан чаю и отказалась платить. В подвальном этаже расположился временный суд. Ему вменялось рассматривать все преступления, которые, возможно, будут совершены на протяжении вечера. Туда девушку и препроводили.

Для начала мы прогулялись по залам. Этот особняк в старорежимные времена считался в высшей степени консервативным, он предназначался для мероприятий офицеров армии и флота. Мимо огромных императорских и офицерских портретов, по изысканным паркетным полам в то время скользили наиэлегантнейшие особы. Нынче портреты из милосердия были завешаны от глаз разношерстной публики простынями, в каждой из которых проделали дырочки, куда можно было все же заглянуть. Императору Александру Второму нанесли штыковую рану в грудь. Еще одному императору отсекли ноги. Еще одно, не закрытое, дорогостоящее полотно, изображающее морскую баталию, исполосовали ножами крест-накрест.

Нашей целью и мечтой был буфет. Может быть, на большевистском балу удастся поесть хлеба? Да, за три рубля продавались кусочки хлеба обычного сорта, с соломой, величиной с сухарик, с крошечным огрызком колбасы, без масла. Стакан чаю стоил два рубля. Шоколадка, по вкусу напоминавшая песок, тянула аж на пятнадцать рублей.

Как только мы изъявили намерение заплатить за это пиршество, юная буфетчица повела себя своеобразно. Она нагнулась и принялась без всякого стеснения рыться у себя в чулках. А все это, как она объяснила, просто-напросто потому, что крупные купюры — всеми презираемые керенки — приходилось запихивать в чулки, поскольку буфет постоянно подвергался грабежам.

Между тем в бальном зале танцы были в самом разгаре — под музыку двух духовых оркестров на эстраде.

Не буду даже пытаться описывать публику. Ералаш, да и только — вряд ли еще где-то можно такое встретить. Бывший офицер танцевал с кузиной или с подругой, красногвардеец — с уличной девкой, солдат — с прислугой. Одеты все были буднично, никого на этом маскараде не было в масках. Калеки и увечные сидели по стенкам.

Танцевали не то, что можно было бы назвать бальными танцами, однако эти ритмичные танцы казались, по крайней мере на взгляд иностранца, весьма пристойными. Мужчина в офицерской форме пригласил меня на мазурку. Потом я из чистого любопытства разрешила ему угостить меня чаем. Он говорил по-немецки и держался весьма галантно. На запястье у него красовался широченный золотой браслет.

— Как это неосторожно с вашей стороны, — заметила я.

Тогда он загадочно улыбнулся и начал копаться у себя в кармане. В бальном зале заиграли “Королеву чардаша”, и под эту томную музыку мой кавалер начал выкладывать передо мной, чуть не сказала, все сокровища света: кольца, два кулона, бриллиантовую бабочку, которой мне не забыть, и многое другое. Я очень напряглась, когда он взял меня за руку и надел на палец кольцо с большой жемчужиной — примерно о таком я мечтала всю жизнь.

Мой швед все это время стоял неподалеку, довольный, как он утверждал, тем, что мне удалось пережить такое приключение. Он подошел и пригласил меня танцевать. Пока я танцевала, мою руку украшало красивое кольцо, но потом я незаметно подбросила его в карман одному господину — он единственный на балу был одет в смокинг. Он, должно быть, очень удивился, когда его обнаружил, но мне не хотелось возвращать жемчужину вору.

Конечно, кавалер, с которым я танцевала, был вор. Через какое-то время он исчез, а потом появился вновь, с мужчиной, который был одет, как шофер. Они прямо посреди зала хвастались своими драгоценностями, выложив их на стол. Мы, гости, приглашенные на бал, в восхищении столпились около этих безделушек. Какой-то солдат купил золотые часы за двадцать рублей наличными, а бриллиантовую булавку для галстука продали с торгов.

На этом балу устроили также бальный базар. Сначала на американской лотерее распродавали хлеб. Мальчик-калека выкрикивал, а весьма солидный молодой офицер рекламировал хлеб. Он все время употреблял слово "господа", а не "товарищи". Наверное, это и вызвало возмущение. Когда цена за буханку достигла 25 рублей (а весила она примерно 850 граммов), сквозь толпу протиснулся малорослый самоуверенный красногвардеец с кожаным портфелем под мышкой:

— Вы тут на глазах у голодающих хлеб за большие деньги разыгрываете! Хлеб конфискован.

Офицера задержали и отвели в суд. Мой русский кавалер объяснил, что это — молодой князь, который часто устраивал глупые выходки.

Его, однако, не расстреляли, потому что вскоре он уже танцевал с очаровательной барышней в платье из зеленого бархата. Я не знала, кому уделить свое внимание — то ли этой изысканной паре, то ли четырем мальчикам в белом, стоявшим на сцене на головах. Оркестр играл русский вальс.

И тут случилась самая большая драма за весь этот вечер. Солдат и офицер вскарабкались на один и тот же стул, сцепились и вытащили револьверы. Выстрела, однако, не последовало, и в следующий момент все улеглось. Тут в зал вошли двое красногвардейцев с винтовками и штыками. Их вызвали из подвала навести порядок.

В конце концов вспыхнула новая ссора, в результате которой один из красногвардейцев направил на офицера винтовку. Тот смертельно побледнел, но не сдвинулся с места. В тот самый момент, когда должен был раздаться выстрел, кто-то отклонил винтовку от цели, и пуля вместо офицера угодила в солдата по соседству. Тот рухнул — раненый или убитый, мы так и не узнали. Его унесли, а вместе с ним и двух дам, упавших в обморок. Офицера, которому предназначался этот выстрел, повели в суд.

Это леденящее душу событие, оставившее кровавые пятна на полу, совершилось в какие-то три-четыре минуты. Непрерывно играла музыка, а на расстоянии двух метров от места, где прогремел выстрел, мальчики все время показывали акро-

батические номера. Если не считать того, что две дамы упали в обморок, никаких видимых чувств происходящее не пробудило. Все гости бала, в том числе и присутствующие многочисленные дети, и до того весь вечер выглядели мрачно и отчужденно, и это настроение ничуть не изменилось. Танцевали, как и прежде — с серьезными лицами.

Я вместе со своими кавалерами вскоре ушла, потому что была сыта по горло приключениями. Танцы, музыка, конфетти да и сам бал вообще были неудачными суррогатами против голода, если добавлять к ним такие отвратительные специи.

Шведский кавалер проводил меня до дома. Дорога заняла десять минут на извозчике, но даже это путешествие не обошлось без приключений. У моих ворот три солдата приказали моему кавалеру вынуть бумажник. Естественно, он последовал их распоряжению, готовый расстаться и с шубой, но господа удовольствовались деньгами.

— Чем, по-вашему мнению, плоха моя шуба? — спросил меня ограбленный с черным юмором. — Это даже невежливо!

— Верно. А почему они не взяли мой кожаный воротник? Его я, правда, одолжила, но все-таки он вполне приличный, — добавила я.

Сожалеть об этом не пришлось. В следующий раз забрали и воротник.

Пер Эмиль Брусевич

Будни

— ИНТЕРЕСНО, как мы выглядим, с точки зрения европейцев? — вопрошает мой приятель Стиханов[1], как только я, наконец, закругляюсь с сердечными приветствиями и усаживаюсь за обеденный стол.

Русские все еще гостеприимны.

Я уверяю хозяев, что уже пообедал, но это не в счет, мой приятель на это отвечает:

— Ничего, у нас в Москве можно и два раза пообедать. Садитесь и кушайте!

И я обязан попробовать, как супруге моего приятеля Стиханова удалось приготовить обычный обед — мясной суп и крупяной пудинг.

1. Имя вымышленное. (*Прим. автора.*)

— Как на нас смотрят европейцы? Что они о нас думают?

Эти слова все время звенят у меня в ушах. Русские сами явно сознают, что сегодня они в современной истории играют, мягко говоря, весьма оригинальную роль.

Я отвечаю приятелю:

— В Европе думают, что буржуазия теперь уничтожена, дворцы богачей разграблены, а по улицам Москвы и Петрограда рыскают дикие звери под названием большевики. Они тоже голодны, потому что награбленная еда съедена, и озираются по сторонам, не найдется ли где-нибудь еще одна жертва, которую можно проглотить.

— Это нам известно и понятно, что так примерно иностранные газеты и пишут. Времена тут у нас были ужасные, а тем, кто сбежал, есть чем поделиться. Они, уж конечно, постарались. Но как смотрят на нас, на тех, кто остался в Москве, кто не бежал и, вместо того чтобы умереть с голоду, поступил на службу к большевикам? Что, собственно, они о нас думают? У меня много хороших друзей в Стокгольме, в Лондоне, в Ницце. Я надеюсь когда-нибудь их увидеть, но хотелось бы знать, какое у них о нас представление.

Я напрягаю зрение и слух.

— Разве возможно, чтобы вы, господин Стиханов, поступили на службу к большевикам? Никто из ваших знакомых в это не поверит, даже если я расскажу им об этом сто раз.

— Ну а что нам еще делать, жить-то надо. Не только я, но и жена, и сын, и дочь работают сегодня на Советы. Наш особняк отобрали, и наш гараж, и машины. Прислугу, собственно, иметь нельзя, это запрещено последним декретом, и, даже если бы разрешили, мы все равно не смогли бы ее прокормить. Мы рады, что нам оставили две или три комнаты, в которых раньше жила наша прислуга. А в остальных помещениях особняка обустроили училище для будущих киноактеров. Но жить все-таки можно. Я в своем деле специалист и оказываю правительству ценные услуги в качестве члена правления одного из так называемых трестов, которые сформировали в целях централизации промышленности. Я — весьма важный винтик в коммунистической машине. И мне платят соответственно. Мне дают паек, рассчитанный на меня, жену и детей. Мы чувствуем себя так же хорошо, как и раньше. Я не похудел, настроение, как и прежде, хорошее. Пока голова на плечах, с любой ситуацией можно справиться. Мой московский магазин национализировали. В Киеве, Харькове, Ростове и других городах национализация еще не полностью завершена, но это — всего лишь вопрос времени. Я больше не рассчитываю получить назад прежние миллионы, но все меняется, и большевистская система в ско-

ром будущем тоже изменится. Уже поговаривают о том, что необходимо разрешить частное предпринимательство, и тогда я все начну заново. У меня есть голова и знания. Денег мне не нужно, одного моего имени достаточно, чтобы получить кредит, и, если понадобится, в любой стране мира. Поэтому я смотрю на будущее в высшей степени спокойно.

— А я... — говорит госпожа Стиханова, — я тоже тружусь, потому что трудиться должны все. У меня больше нет ни горничной, ни даже просто служанки, на кухне я управляюсь сама. Эти юные будущие киноактеры едят бесплатно, пока учатся. Моя задача в этом обществе — готовить для них, и я делаю это хорошо. Они все так говорят, а вы что скажете?

Мы как раз перешли к пудингу. Действительно, в нем было что-то особенное, он был не совсем такой, какой я раньше ел в Москве каждый день. Он был поджарен каким-то особенным образом и по нынешним временам казался истинным лакомством.

Я рассыпаюсь в комплиментах молодой супруге. Между прочим, в сравнении с той, какой я ее видел в последний раз, она на несколько лет помолодела. Удивительно, я бы даже сказал — поразительно, как многие дамы, которых я встретил в Москве, да и почти все мои старые знакомые, помолодели!

— Да, — продолжает молодая супруга, — теперь, когда мы должны трудиться, нам приходится напрягать всю свою энергию и закалять волю. Нетренированные мышцы и вялые черты лица надо напрячь и упражнять. К тому же я верю современным докторам, которые говорят о вреде переедания.

Стиханов вмешивается в беседу:

— В каком-то смысле мы должны поблагодарить большевиков. За эти годы мы многому научились. Они забрали мое имущество, но оставили мне жену. Она мне дороже, чем прежде, и я так же бодр духом, как и раньше.

Пятнадцатилетний юноша — уже кадет красного военного училища. Он очень способный. Сегодня ему вручили подарок — собрание стихотворений Гёте в роскошном переплете.

— Книга, возможно, конфискована у другой буржуазной семьи, но это роли не играет, — говорит отец, — мальчик ее заслужил и ею гордится.

Мы переходим к кофе, и молодая супруга угощает, к моему удивлению, прекрасным английским печеньем, которое испекла сама. Это уже настоящий деликатес, но она настаивает, чтобы я попробовал.

Семье, таким образом, живется сравнительно неплохо. Все работают, и мальчику, поскольку он служит в Красной армии, иногда выдают немного пшеничной муки — и это, конечно, невероятная роскошь.

Стиханов угощает сигарами. Я не курю. Табачные фабрики работают, в России производят и продают много сигарет, но сигары — настоящая редкость. Раскуривая сигару, Стиханов философствует:

— Не лучше ли последовать нашему примеру? Многие из наших друзей продают драгоценности — одну за другой, они пытаются как-то продержаться, спекулируют. Иногда им везет, иногда нет, но, во всяком случае, таким образом они надеются протянуть какое-то время. На службу к Советам они не хотят идти, но это возможно лишь до какого-то предела. Рано или поздно им придется сдаться, если они не хотят бежать за границу или умереть с голоду. Сам я мог бы бежать. Я мог бы спасти большую часть своего состояния на юге России. Я мог бы спокойно жить и наслаждаться беспечальной старостью с женой и детьми. Но я предпочел остаться. Ведь Москва — это же центр мира. По крайней мере, это самое привлекательное место на земном шаре, и здесь я дома. Здесь я все знаю, у меня есть знакомые в разных слоях общества, и поэтому я могу изо дня в день следить за развитием событий.

Разговор плавно переходит к политике. Хоть сам я и не разделяю его взглядов, мне все же представляется немаловажным в какой-то мере их изложить, поскольку они типичны для широких слоев бывшей русской интеллигенции.

В первый год большевизма чета Стихановых занимала откровенно контрреволюционную позицию. Они верили, что Англия и остальные державы Антанты смогут вторгнуться в Россию, и их победоносные войска свергнут большевистский режим. Тогда еще это было возможно, хотя и маловероятно.

— Но если Антанта не сумела их прижать, то к чему эта двойная игра? И к чему голодная блокада?

Когда я сказал, что державы Антанты всего лишь хотели, насколько возможно, прямо поддержать тех, кого считали способными возродить Россию, Стиханов ответил:

— Ничего подобного, они просто хотели удержать Россию в беспомощном состоянии, чтобы самим как можно выгоднее использовать ситуацию: все танки и пушки, которые раньше воевали против Германии, а сейчас стали лишними, пришлось продать. Лучшие, естественно, оставили для собственных будущих нужд, а худшие, бросовые, с которыми их собственные солдаты воевать не хотели, за большие деньги продали бедным белым русским генералам. Но как только балласт выгрузили в Архангельске, Ревеле, Эстонии, на Украине и в Сибири, как только последние счета за поставки оплатили и последний груз зерна отправили из Одессы, помощь Антанты прекратилась.

Вот тут-то и выяснилось, кого они набирали в русскую белую армию. Покидая город, эти люди грабили его, уничтожали транспорт и промышленность страны. И все это без всякой для себя пользы, поскольку они отлично знали, что никогда больше сюда не вернутся. А скольких сыновей наши потеряли во время деникинской авантюры... Я и сам удостоился великой чести быть взятым в заложники, когда приближались Деникин и Юденич. Меня посадили в тюрьму здесь, в Москве. Моей жене пришлось так переволноваться! Она каждый день навещала меня и приносила вкусное английское печенье своего изготовления, но с каждым наступлением Деникина она становилась все грустнее, и я понимал почему.

В комнате, которую большевики любезно предоставили нам в тюрьме для общения, я ежедневно встречался со сливками общества России, со многими, кого я давно не видел. Одним словом, появилась возможность самого приятного общения, какого у меня давно было. Только одна крошечная дисгармоническая деталь вносила разлад в наше существование. Иногда по ночам незадолго до рассвета раздавался стук в дверь. Входили двое охранников и кого-то вызывали. Этот кто-то вскоре понимал, что́ его ожидало. Если его просили взять с собой вещи, он выходил на свободу. Если без вещей, то на допрос. Но если ему приказывали взять с собой только шапку, то жить ему оставалось всего несколько минут. Мы пожимали ему руку, и он уходил, чтобы никогда уже больше не вернуться. За себя я был совершенно спокоен — я знал, что не существует никаких компрометирующих меня бумаг или каких-либо иных доказательств деятельности, направленной против власти. Мой следователь был образованным юристом и поборником справедливости, он не сомневался, что я не принадлежал ни к какой партии, враждебной советскому режиму. И вскоре меня освободили.

Я был потрясен и, более того, восхищен стоическим спокойствием этого человека, который, несмотря на потерю огромного состояния, мог так хладнокровно оценивать сложившуюся ситуацию.

Под конец я задал ему вопрос, который у меня все это время вертелся на языке:

— Как же это возможно, чтобы вы, потеряв все, чем раньше владели, сменив свое преуспевающее положение на жизнь простого служащего, все еще сохранили прежний оптимизм и вообще все еще интересуетесь будущим?

На это он ответил примерно следующее:

— Как вы понимаете, будущее меня нисколько не волнует. Для меня социалистическое развитие равносильно закону

природы, а мое положение со временем будет соответствовать прежнему. К тому же наше ощущение счастья или несчастья почти не зависит от внешних условий. Ощущение счастья дано человеку для того, чтобы он пришпоривал себя в движении вперед (согласно теории эволюции Дарвина), а не для чего-либо иного. Точно так же ощущение страдания дано исключительно для устремления ввысь. При этом низшее или высшее положение на социальной шкале рангов играет лишь второстепенную роль. Привычка к условиям — это все. В этом мы убедились сами за последние годы. Как только чувства человека снова обретают равновесие, к нему возвращается прежнее ощущение счастья или несчастья, радости или горя. Он наслаждается жизнью так же, как и раньше, только если ему удастся сохранить равновесие. В тот самый момент, когда его положение ухудшается, он страдает и радуется, когда оно улучшается. Сумма радостей и горестей в жизни отдельного человека будет, скорее всего, для каждого примерно одна и та же.

Камиль Дюдан

Очерки из книги “Красная Россия”

Перевод с французского Ксении Жолудевой

Вожди

ЧИСТЫЙ водный поток, направленный в марте русской демократией в авгиевы конюшни, скоро иссяк, и навоз отравил прозрачные воды. Спутники прежнего режима, изгнанные вчера в одночасье, сегодня вернули утраченные позиции и, представ под маской большевизма, еще раз обманули народ, над которым глумились не раз. Более не приходится сомневаться, что анархия, свирепствующая в парализованном теле российского общества, подверглась большевистской заразе.

Кто такие большевики? Судя по имени, крайние левые в социалистической партии. Они называют себя интернационалистами. В действительности же они чистейшие анархисты. В современной России три вида большевиков, или максималистов: фанатичные сторонники Интернационала, русские монархисты и немецкие агенты. Странный союз столь разных людей; но если их цели разнятся, то интерес к анархии у них общий.

Фанатики максималистских идей набираются из русских полуинтеллигентов, хорошо известных за границей, к чьей учености примешивается грязный сплав политических страстей. В их странах их преследовали, и они, в свою очередь, также мечтают о том, чтобы преследовать. Их умы горят жаждой мести, и все полученные ими знания — не что иное, как пища, брошенная в этот костер. Угрозе они противопоставляют угрозу, насилию — еще большее насилие. Они ввязываются во все драки, жаждут социального переворота, чтобы самим иметь возможность арестовывать, судить, преследовать, уби-

© Ксения Жолудева. Перевод, 2017

вать, жечь. Другими словами, они мечтают однажды стать царями. Это возврат деспотизма. Деспоты породили анархистов, а анархисты мечтают стать деспотами. Злые цари выковали красного царя Ленина. Ленин — большевистский царь, царь более жестокий, чем все предыдущие, поскольку он одновременно их жертва и их ученик. Не у них ли он научился править без парламента, без закона, брать российское общество жесткой, кровавой, безжалостной хваткой? Пока другие ласково разговаривали с народом, сказал один русский, Ленин без лишних слов дал народу крепкую оплеуху, и по сему жесту тот сразу узнал в нем своего хозяина, "барина". Увы!

В этом смысле большевизм — русское движение, даже больше, чем русское, — царистское. В нем проявляется не здоровый, а больной русский дух. Русская душа — страстная. Жажда мести может ее растревожить. Во имя отмщения она устремится за системной анархией. Истинная "Федра" в политике, она не побоится представить миру свой обман. Врагам России удалось развить в ней дух насилия.

Разве мало мы видели этих заговорщиков, евреев-скитальцев, блуждающих по всем странам, по всем теориям? Швейцария приютила их в большом количестве! Они считали нас мелкими буржуа, мы же не доверяли их нарочито неряшливой одежде и словам. Несколько взорвавшихся бомб насторожили нас. Однако недостаточно сильно. Не где-нибудь, но под сенью наших надежных благородных Альп Ленин и Троцкий со товарищи разработали свой план борьбы. Они использовали нашу мирную страну для подготовки гражданской войны. И даже провели здесь скромные опыты. Однажды их видели в Женеве, когда они бросали из окон горшки с цветами на наших солдат, марширующих по улице. Эти люди не осознали, что покинули Россию, что их бомбы, как и их теории, в Швейцарии не имели и тени оправдания. Эти интернационалисты никогда не упраздняли границ. Они их никогда не видели и не подозревали об оных. За пределами России они оставались до мозга костей русскими поднадзорными, повсюду им чудилась полиция, жандармы-призраки. Политическое преследование, надо сказать, сделало их бóльшими царистами, чем были сами цари. Настрадавшись в родной стране, они ее полностью отрицают. Это самое бесчеловечное отрицание, какое может быть, и они стремятся распространить его среди других народов. Из-за них царизм угрожает всему миру — миру, потому что народы солидарны. Они как соседи всё перенимают друг у друга, и дурное легче, чем благое.

У Ленина и Троцкого были и остаются друзья в Швейцарии. Не друзья, которые им сочувствуют, а ученики, которые

их боготворят. Это крайне простодушные мечтатели, чья душа летит ввысь, как воздушный шар без балласта опыта в корзине. Что может быть увлекательнее, чем угадывать в угрюмом эмигранте героя, в несчастном ссыльном — мученика? Разве не нимбы над их головами? Разве само изгнание не наделяет их красотой, правотой, интеллектом?

Однако мне представляется, что ссыльный — прежде всего человек, причем более других способный на ошибки, ибо его личности и мышлению нанесена тяжелая обида. Ему больше, чем кому-либо, есть что прощать, ему требуется больше сил, чтобы оставаться разумным и справедливым, чтобы подняться над местью и богохульством. Ленин представляется интернационалистом, тогда как его страстные разрушительные теории есть не что иное, как словесная ширма для личной мести, сведения счетов с царским режимом. Троцкий-Бронштейн стал "интернационалистом", возможно, потому, что имеет сходную причину для мести, будучи евреем, преследуемым в России. Оба они либо заблуждаются до такой степени, что считают себя уполномоченными представителями русского гения, либо отвергают его, что более вероятно; оба ставят себя вне закона и над предрассудками; оба, следовательно, предпочитают прямые немецкие железные дороги и не гнушаются немецкими деньгами, ведь на порченый царский рубль уже не купить сторонников "хороших теорий". Каким бы ни было их истинное лицо, какой бы ни была у них душа — прямой и ограниченной или пустой и низкой, — их двойные фамилии отныне связаны с многими ужасами и страданиями, и нужно быть по-юношески или по-геройски наивным, чтобы защищать теперь и в будущем их жалкие фигуры.

Если большевизм происходит из царизма, то царизм, в свою очередь, мог бы возродиться из большевизма. Таково мнение русских монархистов, — только подумать! — друзей Ленина. Несомненно, ложных друзей, вероломных союзников, но в конечном счете работающих вместе с ним над "обновлением" России. Однако они понимают под "обновлением" совсем не то, что большевики. Революция свершилась, и им ничего не остается как дискредитировать ее, обесценить в глазах общества, чтобы осуществить возврат к монархии, спровоцировать реакцию. Лучше так, чем демократия. Их цель — потопить революцию в анархии, вызвать наибольший беспорядок и страдания, дабы внушить народу отвращение к "свободе". В их интересах высказывания о том, что "революция — это безумие и страдание, царизм, как ни посмотри, был лучше". Подходящий человек для дела найден, и это — Ленин. Требуется лишь возбуждать и поддерживать в нем его

анархический пыл, его слепую ярость, чтобы достичь результатов выше всех ожиданий. Доказательство тому сегодня есть: большевистская анархия угрожает стране реставрацией царизма. Толпы несчастных крестьян приходят в Тобольск молить бывшего царя Николая II вернуться: "Это потому, что мы тебя свергли, батюшка, мы так шибко страдаем. Обманули нас. Ты хотел нам дать землю, а хозяева испугались и сделали революцию. Вернись!". В действительности и без того обманутый бедный народ по выходе из анархии рискует оказаться еще более одураченным, чем раньше. Им будет еще легче управлять. Разбушуется невиданная доселе реакция. Русским монархистам, как и немцам, это очень хорошо известно. Немецкие военные три года ждали революцию, которую они считали вредной для русской земли и выгодной только им одним. Царизм настолько противоречил истинным интересам России, что всегда испытывал естественные кровные симпатии к германскому империализму. В русской революции их интересы совпали, и русские монархисты обратились на сторону большевиков, рабочих пчел Германии; дело русской демократии, напротив, в интересах союзников. Большевики отдались на волю Германии. Монархисты последовали за ними, а посему разве не имеют они серьезных оснований ждать всего от Германии и ничего от союзников?

Нам известны двуличие и хитрые уловки бывшей Охранки. Охранка, возродившаяся из пепла, сегодня работает как никогда прежде. Партия большевиков обязана ей своими взлетами и падениями, как и крупная партия социалистов-революционеров в 1905 году. Как бы то ни было, факты говорят сами за себя. Следуя политике "чем хуже, тем лучше", хорошо известные монархисты переоделись в большевиков; они подпитывают ярость Ленина, подталкивают его к глупым решениям и, пользуясь всеобщим беспорядком, тайно освобождают из-под ареста своих друзей. Все жулики Охранки один за другим, под шумок, выходят из тюрем и, надлежащим образом переодетые, принимаются одурачивать народ. Они так хорошо знают его, несчастного, свою жертву. Они знают все чувствительные точки его измученного тела. Они привыкли вливать в него наркотик сна, невежества и анархии! Они так ловко умеют повергать его в состояние продажности, жестокости, пьянства! Они знают, как заставить его разорвать самого себя на части, уничтожиться в горячке! Гнусная насмешка, призванная показать, сколь глубоко коренится в человеке преступность.

Один опасный московский плут в 1905 году неожиданно сделал блестящую карьеру. Тогда он был простым чернорабочим на железной дороге. Он согласился повесить осужденных

за неудавшийся мятеж; некоторых из них он удушил своими собственными руками. Никто не хотел выполнять эту позорную роль. Он вызвался сам. Последовали выдвижения и награды. Говорят, он даже удостоился аудиенции у царя. В 1917 году он был арестован в числе первых, когда переодетый и снабженный поддельными документами уже почти добежал до азиатской границы. Сегодня он снова на свободе и трудится над возвращением царя. Пылкий большевик. И сколько еще таких, чьи имена известны и на кого указывают пальцем!

Партия большевиков подвергает гонениям, в первую очередь, демократические партии и питает глубочайшее уважение к приспешникам царского престола, которых освобождает из тюрьмы. Она несет жизнь падшим сановникам и смерть истинным демократам. Она последовательно уничтожает интеллектуальную элиту России, благороднейших представителей русской нации. Старая тактика. Кому она может быть выгодна, если не обскурантам? Анархия действует целенаправленно. Все удары принимает на себя либеральная партия кадетов. За седую голову Милюкова уже назначена цена. Керенский скрывается. Генерал Брусилов был ранен в ноябре осколком большевистской шрапнели, когда находился с семьей в своем московском доме. Скажут, случайность. Кто знает? Два министра, Шингарёв и Кокошкин, убиты на больничных койках, расстреляны в упор из револьвера матросами, споривших потом, кому достанется куртка одной из жертв. Убийство министров совпало с закрытием Учредительного собрания, инициаторами которого они являлись. Ленин сделал вид, что возмущен, даже приказал провести расследование, разумеется, не принесшее результатов. В довершение сегодня выпускают из-под ареста предателя армии Сухомлинова, невзирая на то, что русская демократия приговорила его к пожизненной каторге.

Правда в том, что большевики, идя на поводу у монархистов, подыгрывают и Германии, чьи агенты, всегда наводнявшие Россию, в начале революции бросились в стан большевиков. При царе они интриговали за сепаратный мир, во время революции они встали на сторону большевиков, которые этот мир хотели и которого добились. Рука Германии, ее деньги ясно прослеживаются в партии большевиков. Не имей Керенский тому доказательств, он никогда не осмелился бы арестовать большевистских лидеров и бросить вызов социалистической оппозиции.

Однако Германия это отрицает, и некоторые лица вместе с ней. Несомненно, купить можно только то, что продается, и довольно трудно сказать, где кончается порядочность и начи-

нается предательство. Тем не менее здравый смысл подсказывает, что честный человек и предатель заметно отличаются друг от друга. Деньги не пахнут и никого не предают, однако ничто не совершается без них, особенно предательство, коль скоро предатели существуют. Германия смогла поставить себе на службу этих низких людей исключительно благодаря попустительству большевиков. Они единственные тому виновники. Германия как кошка с мышкой играет с предателями, угодившими в ее когтистые лапы. По мере продвижения вглубь русской земли, чтобы облегчить совесть, она расстреливает их все в большем количестве.

Как бы то ни было, неприятную историю с поездкой Ленина в пломбированном вагоне через империалистическую Германию уже не перечеркнуть. "Что это, глупость или измена?"[1] Легенда не упустит возможность присвоить сей эпизод и расскажет, что однажды — о, только однажды! — Вильгельм II ошибся в Ленине.

Уничтожив армию, большевики устранили последнюю помеху на пути Германии по русской земле. Распылив удушающий газ пораженчества, они сохранили жизнь ее драгоценным солдатам. Демагогия большевиков свела на нет работу тыла. Немецкие заключенные получили наконец некоторую свободу в обмен на помощь большевикам советами относительно пропаганды и боевой тактики. Большевистская зараза оказала какое-то влияние на заключенных, но это исправляется быстро. Германия в большевизме черпает для себя только пользу.

В последней раз, взяв слово в Предпарламенте[2], Милюков попытался разоблачить Германию, проникшую в большевистскую партию. Он доказал большевикам, с текстами документов в руках, что циркуляры вплоть до построения фраз есть не что иное, как переводы с немецкого языка.

Итак, выряженные в германизм и монархизм, большевики, эти фанатики и продажные люди, мало-помалу погубили завоеванную с большим трудом Свободу. Они захватили власть с оружием в руках, учинив в растерзанной России беспримерную анархию. Разумеется, они объявляют себя истинными революционерами, они носят красные кокарды. Но ни яркая кокарда, ни революционный романтизм им не принадлежат. Все это ими узурпировано.

1. Цитата из речи П. Н. Милюкова на заседании Государственной думы 1 ноября 1916 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Временный совет Российской республики при Временном правительстве, существовал с 20 сентября по 25 октября 1917 г.

К большевикам в полной мере относятся слова Андре Шенье: они – "кладбищенские черви, дорвавшиеся до тела несчастной России"[1].

Москва в ноябрьские дни 1917 года

Более удачливый, чем древнеримский Катилина, Ленин увидел воплощение своего заговора. Москва пала вслед за Петроградом. Город сопротивлялся семь дней. Эти семь дней – самые горькие в моей жизни. Пережив их и не имея душевных сил далее выносить триумф красной орды, я решил уехать.

Поднять руку на Москву! На город молитвы, город, где летние вечера пели на куполах из чистого золота, где бесчисленные шпили, поднимаясь в лазурь, сверкали там, как земные звезды, прежде чем зажигались звезды небесные, и где река простиралась пред взором Кремля! Москва... в ней была нежность, милость, щедрость материнского сердца, она была матерью для всех русских, доброй и к чужеземцам! Какое святотатство!

Битва? Нет. Нападение безликого полчища, подлое трусливое убийство, сатанинская победа!

Русский октябрь еще не разгорелся, как уже поползли зловещие слухи. Из темного небытия появились кладбищенские газеты. Одна из них ценою в тридцать копеек называлась "Анархия". Высокие черные буквы ее мрачного заголовка, напечатанные под наклоном, провозглашали: "Анархия – мать порядка". Рука заговорщиков обрушилась на город. Город пал.

В один из вечеров мы услышали резкий треск от ударов пуль о стены. Город, тем не менее, сохранял спокойствие, хотя говорили о перестрелке между юнкерами и солдатами (слово "юнкера" в данном случае означает то же, что "курсанты", "аспиранты"). Всем казалось, это обычная полицейская мера. Юнкера, успокаивали мы себя, врываются через окна в здание типографии, захваченной мрачными наборщиками газеты "Анархия". Завтра порядок будет восстановлен.

Однако назавтра все было иначе. Рано утром я вышел на улицу. Вокруг никого. Где-то из слухового окна стрелял револьвер: паф-паф. Пробежал мальчишка с пачкой газет под мышкой, ветер трепал страницы. Каких газет? Скверных! Трамваи не ходили. Они участвовали в битве. Там, совсем рядом. Я вер-

1. Измененная строка из "IX Ямба": "Кладбищенских червей, дорвавшихся до тела несчастной Франции".

нулся домой, где был вынужден оставаться все семь дней той недели. Я жил в квартале, где шел бой. Мы с семьей спрятались в прихожей. Там было безопаснее. Чтобы долететь до нас, пули должны были пробить две стены. Прихожую защищали и двери, но из осторожности мы не сидели напротив них. В другом конце прихожей стоял телефонный аппарат. Благодаря самоотверженности телефонистов центральной станции телефоны еще работали первые дни, до того момента, пока карающие снаряды не попали в станцию и не убили там нескольких барышень, не уничтожили чувствительное оборудование и не заставили замолчать живые провода.

Начались уличные бои. Из всех чердачных окон торчали револьверы. Пулеметная очередь с церковной колокольни разрывала воздух потоком пуль; отлетая рикошетом от стен, они вонзались в панели входных дверей. Юнкера и студенты разбирали мостовые, чтобы вырыть окопы. Меж домов летал зловещий звук разряжаемых ими ружей. В адскую симфонию вскоре вмешался бас пушек.

Все висели на телефонах. Звонили мы, звонили нам. В то время как окна сотрясались от обстрела, резкие телефонные звонки били прямо в наши навостренные уши и сотрясали прихожую.

— А, это вы!

— У вас тоже стреляют?

— Да, вы разве не слышите? — И из трубки ясно доносились звуки выстрелов на другом конце города.

Тысяча юнкеров, молодых курсантов, офицеров и студентов, последних защитников Москвы, оказывали сопротивление сотне тысяч гарнизонных солдат и убогих красногвардейцев, которые прятались за женщин, толкая их перед собой. Горстка курсантов заведомо обрекала на поражение всю эту неорганизованную солдатню и определенно добилась бы победы, взяла бы верх. Но ни казаки, ни любые другие войска не пришли им на помощь. Фронт прогнил так же, как тыл. Чтобы заставить сдаться этих последних бравых молодцов, их собственный командир предательски отнял у них патроны, а артиллеристы Ленина грозились расстрелять настильным огнем Кремль, который они и в самом деле уже начали уничтожать. Таким образом, против них объединились материальные и моральные факторы. Они сдались, по большей части, чтобы спасти Кремль.

Тем не менее защитники сопротивлялись всю неделю. У солдат-ленинцев не было боевого плана, они стреляли друг в друга. Так, отряд из двухсот солдат до конца сражался на стороне офицеров, думая, что сражается против них. Солдаты

не умели обращаться с пушками. Наконец они упросили немецких заключенных помочь им наводить орудия. И крыши начали разлетаться на глазах.

Первый снаряд пробил верхний этаж, и мы были вынуждены спуститься вниз. Мы покинули квартиру, думая, что больше никогда в нее не вернемся. Дома осталась только наша служанка, которая стояла, напуганная до смерти, в своей комнате под "иконой", картиной с изображением святого Николая. Она объявила, что не желает никуда уходить, так как, что бы ни происходило, полагается на защиту святого.

Внизу мы обнаружили собрание жильцов, спасавшихся на первом этаже, так как подвалы были заполнены хламом и небезопасны по причине возможного обрушения дома. Мы боялись пожара. "Наполните водой все ванны! Кухарки, я запрещаю разжигать даже небольшой огонь! Вам понятно?" — кричал управляющий домом. Мы думали бежать, но куда? Все соседние улицы простреливались. Две дамы спешно смастерили флаг Красного Креста, чтобы защититься при возможном побеге. Впрочем, вряд ли бы это помогло. В кого-то с таким крестом уже стреляли.

Супруги-евреи тем временем запирали свои сундуки, ставили комоды вдоль стен, стаскивали остальное имущество в парадную, к входной двери, чтобы можно было хоть что-нибудь спасти, — первое, о чем они беспокоились. Русские же, надев пальто и галоши, вышли без всего, оставив вещи на своих местах.

Исход с лестничных площадок закончился, все оказались лицом к лицу на нижнем этаже. Лава, заставшая врасплох жителей Помпеи, не собрала бы столь разнородное общество в одном доме. Впервые за все время жильцы квартир познакомились и улыбались друг другу. Улыбками равно стеснительными и вынужденными. Орлов спешил познакомиться с Фишером, супруга доктора с супругой купца, и каждая прощупывала другую на предмет имеющейся провизии. Всю неделю мы питались едва ли не одной гречкой.

Мы только сейчас узнали, что в доме жил адвокат. Он спустился одним из первых: его квартира располагалась под крышей. Это был великан в маленькой шляпе, но его грузность сразу исчезала, как только он начинал говорить, вероятно, из-за свойственной ему внутренней легкости. Мы также узнали, что на втором этаже обитали два бедных старых генерала, совершенно седых и дряхлых, два товарища, два черногорца, которые когда-то сообща драли шкуру с русского солдата. Оба страдали глухотой, один вел другого, очень слабого, который к тому же был парализован и преодолевал не более пяти санти-

метров за шаг. Крепкий парень лет восемнадцати и неряшливого вида женщина ухаживали за этими двумя существами, подавая им еду и одеяла. Бедные два старика!

Многие гости оказались в неожиданной ситуации, так как были вынуждены продлить визит и находились теперь вдали от родных. У некоего господина семья жила в другой части города. Задержался у нас и один чех. Все население дома, чтобы успокоить нервы, старалось развеселить детей.

Двадцать пять человек разместились в пяти комнатах на первом этаже, а хозяевам ничего не оставалось, как исполнять долг гостеприимства. Русские естественным образом собрались в одной комнате, евреи — в другой, иностранцы — в третьей. Известный адвокат, чтобы успокоиться, играл в шахматы с невысокой дамой. В этой разгоряченной атмосфере кто-то предсказывал будущее. Двое стариков молчали, сидя в углу по обе стороны от растения в кадке. Другие, чувствуя себя "не дома", учтиво ходили вдоль стен и осматривали картины, гравюры, орнамент гобелена. Маленький мальчик надел шапочку и направился к запертой двери со словами: "Пойдем гулять!" На пожилую даму, вследствие нервного потрясения, каждые десять секунд нападала икота.

Пушка тем временем гремела не переставая. Еще четыре раза сотрясался фундамент дома. Пожар, к счастью, не вспыхнул. Снаряды пролетали все дальше от нас. Вдруг сквозь пушечные выстрелы прорвался звон церковных колоколов. Они напомнили, что сегодня воскресенье. Мы слушали в ошеломлении, как борются голоса колокола и пушки. Медь в тот момент и убивала и воссылала мольбы.

Дни шли один за другим, не принося результата. Сражение все еще бушевало. Пушки, винтовки, револьверы, пулеметы — стреляли все. Одного из студентов, сражавшегося на улице, мы знаками позвали зайти подкрепиться. Он вошел, мужественный и красивый, держа в руке еще горячую винтовку, прислонился к столу и начал пить из тарелки суп. Он много говорил, слова его были резкими. Студент не сомневался, что скоро подоспеет подкрепление.

Поскольку сражение в квартале продолжалось, необходимо было организовать наблюдение за домом, особенно в ночное время. Управляющий собрал у себя работоспособных мужчин, однако, чтобы добраться до него, пришлось бы пересечь двор, где летали пули. Мы приняли решение дежурить по двое на лестнице, сменяя друг друга каждые два часа. На ночь установили следующий порядок: "квартира 44" дежурила с "квартирой 15" с восьми до десяти часов вечера; в десять часов они должны были разбудить "квартиру 14" и "квар-

тиру 12", передать указания и три заряженных револьвера и пойти спать. И так до утра.

Те ночи на лестнице навсегда останутся в моей памяти. Винтовки и орудия стреляли все время, то приближаясь, то отдаляясь. По эху от выстрелов мы пытались понять, произошел ли перелом в ходе битвы. "Они в двадцати метрах, — предполагал адвокат, который неосторожно открыл входную дверь. — Вы слышали стук? Это пуля отскочила от дома напротив. Она пролетела там, совсем рядом". Лестничную клетку внезапно освещали красные отблески от шрапнели, которая разрывалась, ударяясь о стену противоположного дома.

Охраняемые на первом этаже пытались заснуть, кто в кресле, кто на стульях, кто на полу. Неряшливая женщина принесла старикам сверток из одеял, которые она расстелила на полу, и, к своему стыду, каждый мог видеть, как из них выползли два клопа. Парализованный генерал лег. Его компаньон вышел из комнаты; старик сразу забеспокоился и спросил у всех: "Куда он?" — "Он скоро вернется". Заверение не успокоило. Паралитик сел на своем ложе, затем кое-как поднялся и, желая снова видеть друга, отправился на его поиски мелким шагом, настойчивый, трогательный и грозный. Не дружба ли то единственно хорошее, что у него осталось в жизни?

Наконец на седьмой заре пушки смолкли, револьверы больше не стреляли из мансардных окон. Объявили о победе солдат. Мы ожидали всего, но только не этого, услышанное шло вразрез с нашими мыслями и чаяниями. Помню до сих пор выражение горького разочарования на печальных лицах. Итак, вновь воцарился "мир". Первый этаж постепенно опустел. Квартиры вновь открывались. Одна была полностью разрушена. Я поднялся к адвокату. Он сжигал воззвания кадетской партии, опасаясь обысков и думая об отъезде. "Я не собираюсь ждать, — говорил он, — когда у меня поселится 'товарищ', который каждое утро, стуча кулаком по столу, будет кричать: 'Дайте мне водки!'" Он указал мне на любопытную траекторию пуль. Некоторые, пробив крышу и потолочную лепнину, под прямым углом вонзились в синие бархатные кресла.

Тем временем один за другим, не без опаски, выходили из своих домов "осажденные" женщины и мужчины, старики и дети. Вскоре уже большая толпа текла по бульварам и улицам, большая грустная толпа после семи дней заточения, истощенная, бледная, испуганная, смотрела на свой город. Входные двери были закрыты, заколочены, увешаны надписями "Вход через двор". И действительно все выходили, го-

воря по-русски, с “черного хода”. Чтобы попасть в гостиные, посетители должны были проходить через кухни.

Город был посрамлен. Высокие черные остовы сгоревших домов поднимали к небу свои осыпающиеся части. Оконные рамы были снесены. Из еще дымящихся подвалов вытаскивали обгоревшие трупы.

На улицах большие ясные глаза магазинов были выбиты или исписаны звездами. Толстые стекла витрин изрезаны зигзагообразными щелями. Росписи одной церкви послужили мишенями, пули пронзили лики святых. Кто-то позабавился в стрельбе по всем часам, выставленным в витрине часовщика. Вокруг зияли провалы выбитых окон. Угловые дома были изрешечены пулями. Провода оборваны, об трамвайные дуги, лежащие на земле, спотыкались прохожие. Мостовая усеяна битым кирпичом, выпавшим из стен, гильзами, пулями, досками, осколками стекла, пятнами крови. Электрические часы на площади снесены снарядом. Осталось только большое пустое кольцо рамы. Раскрашенные жестяные вывески аптекаря, мясника, пекаря висели сорванные, растерзанные, погнутые. Газет больше не было. Продавались только листки, наполненные ненавистью и красным триумфом.

Так, толпа молча шла по обломкам от своих домов, обломки хрустели под ногами. Глаза без энтузиазма читали прокламации, наклеенные на неровные стены зданий. Напечатанные на бумаге, украденной из типографий крупных газет, они заверяли, что великая, настоящая революция пришла и что нанесенный ущерб будет восстановлен до семи вечера того же дня!

Над Москвой Кремль показывал свои раны. Осквернённый, разграбленный. По его старинным каменным стенам, которые есть увековеченная душа народа, ударил снаряд вероотступников, людей без родины. Верхушка одной из башен была сбита. Железо снарядов вспороло старинное золото куполов, пронзило сердце народного святилища. Священный образ, устоявший перед огнем Наполеона в 1812 году, теперь был поражен 75-миллиметровым анархистским или прусским артиллерийским снарядом. “Злой татарин и тот пощадил Кремль, а Ленин не пощадил”.

Одну вещь, однако, не тронули. Памятник Пушкину, жемчужину Москвы, каким-то чудом не задели, хотя он находился в центре битвы. Среди общей разрухи он символизировал надежду. Пули нигде не повредили его бронзу. Он поднялся выше, чем раньше, и слова, выгравированные на его цоколе, казалось, пламенели: “И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал”.

Больницы принимали раненых гражданских лиц. К их дверям тянулась бесконечная очередь из детей, стариков, женщин, обязанных своими увечьями Ленину.

На смену страшным дням пришли похороны. Сначала хоронили ленинцев. Установленные на лафеты гробы были задрапированы красной тканью, их сопровождали оборванные солдаты и красногвардейцы, которые курили, идя в конце процессии.

Затем городское население хоронило лучших своих детей: студентов, офицеров, гимназистов. Здесь ничто не напоминало об отвратительном красном цвете. Лишь еловая ветка на каждом гробу, большом или маленьком. Множество народу сопровождало их на кладбище. “Никто не осмелится, — писала газета, — запретить нам оплакивать этих героев, юный цвет Москвы, смело пожертвовавших собой ради свободы!”

Мануэль Чавес Ногалес

Маэстро Хуан Мартинес, который там побывал

Фрагменты книги

Вступление Андреса Трапиельо
Перевод с испанского Ольги Кулагиной

В тот момент, когда Европа с энтузиазмом переживала победу большевистской революции под одобрительные возгласы большей части европейской интеллигенции, узревшей в советском эксперименте некую перспективу, хроника Чавеса должна была показаться читателю неуместным вздором.

Долгие годы бытовало мнение, что чистоту революции предали те, кто, подобно Сталину, жаждал крови и мести, кто поверг страну в бездонную трясину террора и преступлений. Считалось, что революция, в первые годы руководимая Лениным, Троцким et alii, явила миру коммунистическую идею, позволившую пролетариату и беднейшим крестьянам впервые в истории зажить прекрасной жизнью.

Но Чавес рисует совсем другую картину: все они, начиная с Ленина, были убийцами. Идеи, несколько приукрашенные западной пропагандой, не помешали им замарать руки кровавыми преступлениями, не меньшими, чем преступления царя, которого сам Ленин приказал убить вместе со всей семьей, включая малолетних детей.

“Гражданская война задавала одинаковый тон обеим воюющим сторонам, и под конец те и другие в равной мере превратились в воров и убийц: красные убивали и грабили буржуазию, белые убивали и грабили рабочих и евреев”.

Разве не такие слова услышал Чавес от Мартинеса, реального человека, с которым познакомился в Париже через много лет после событий, рассказанных ему Мартинесом для репортажа о жизни российских беженцев во французской столице, и, думаю, именно эти слова подтолкнули его к написанию книги. Чавес не хотел писать роман. Свидетельство Мартинеса, продолжавшего заниматься в Париже своим обычным делом — танцами в кабаре, произвело на него сильное впечатление. Этот откровенный рассказ после краткого вступления идет уже от лица Мартинеса. Книгу можно считать его мемуарами о России. Она не содержит задушевных воспомина-

© Ольга Кулагина. Перевод, 2017

ний и психологического анализа, это сплошная цепочка событий. Спутница Мартинеса, разделившая с ним все невзгоды, почти не удостоилась описания — только имя и больше ничего. Мартинес говорит о том, что видел, а не о том, что чувствовал. В этом его простота. Мартинес прост. Он зарабатывает на жизнь танцами и будет танцевать до тех пор, пока ему за это платят, а прочее его не интересует. По его представлению, у него нет ничего, кроме жизни и здоровья, и он хочет сохранить и то и другое. Вот его горизонты. Carpe diem. Жизнь как высшее благо. Его философия — выжить. Он, не моргнув глазом, словчит, если сможет, сжульничает в пустяшном деле. Его стезя — не крупные преступления, а мелкие аферы. И, как всякий мелкий жулик, он почти всегда в критический момент промахивается с выбором. <...>

Факты, которые Мартинес описывает, потому что они произошли на его глазах, не раз ставились под сомнение многими тысячами людей, не желавших признавать провал этой революции. Заслуга Чавеса не только в том, что он отыскал Мартинеса в бурной парижской круговерти, но и в том, что верит рассказчику, отдавая дань здравому смыслу и особенно — показаниям очевидца, изложенным без прикрас и лишних эмоций.

1

<...> КОГДА лет двадцать назад Мартинес впервые появился на Монмартре, это был задиристый паренька в шелковом шейном платке, фетровой шляпе и зауженных книзу брюках. Танцор, сын танцора, мадридский плут и балагур, разодетый, как жулик с андалузского пляжа, впрочем, весьма осмотрительный, с особым представлением о добре и казуистически сложной моралью, он похитил деревенскую девушку Соле, веселую и красивую, как картинка, и приехал с ней в Париж. <...>

Под громкой вывеской “Мартинесы” супруги зарабатывали на жизнь танцами в кабаре Монмартра. Они пользовались большим успехом на площади Пигаль, в “Мулен Руж” и в маленьком варьете, расположенном в те времена под Эйфелевой башней. <...>

Супруги научились танцевать аргентинское танго и, поскольку были влюблены друг в друга, достигли в нем безупречной слаженности. В то время в Париже проводили международный конкурс танца, и Мартинесы получили звание лучших в мире исполнителей аргентинского танго. Их наградили памятной медалью, которую Соле хранила, как зеницу ока. <...>

Однажды их навестил какой-то константинопольский импресарио. Он предложил Мартинесу танцевать фламенко в Тур-

ции, но сольно, без музыки и на столе. Никаких женщин, никаких фривольностей. Турция — серьезная страна. Деньги он предлагал запредельные. Хуан и Соле поинтересовались, что такое Константинополь, спросили, где находится Турция, проверили курс османских пиастров и сели в Марселе на корабль, отправлявшийся на восток. Дело было 26 июня 1914 года.

За сорок дней до начала Великой войны.

Рассказывает сам Мартинес:

— Мы оказались в парке развлечений "Кассим", турецком варианте Bois de Boulogne[1], где было много театров, кабаре, аттракционов и дансингов. Публика здесь встречалась самая разношерстная: богатые турки из тех, что, скинув остроносые башмаки, садятся на пятки, закуривают кальян и неподвижно сидят часами, тараща глаза; заполошные греки, расточительные и бойкие, из чистого фатовства крошившие пустые стаканы руками, а то и зубами, хотя осколки резали им губы; степенные, зажиточные испанские евреи, которые в час молитвы бросали все развлеченья и начинали истово молиться, глядя в свои книги и не замечая никого вокруг; французские дельцы и чинуши, брюзги и сквалыги каких поискать, хотя в душе — народ вполне приличный, шустрые и пронырливые итальянцы, вечно пьяные русские... <...>

Сам я родился в Бургосе. Но среди стамбульских мусульман чувствовал себя, как дома. Я уважал их обычаи и выполнял их капризы, а они нахваливали мои танцы, аплодировали мне, водили к себе домой и тепло ко мне относились. Я понимал турок, как не понял бы их ни француз, ни немец. Думаю, дело в нашем испанском характере. Турки добры и мягкосердечны. Они никому не портят кровь. Очень религиозны. Входишь в магазин турка, когда он молится, стоя на коленях на коврике, и никакими силами не заставишь его отвлечься, даже поднять на тебя глаза. В те времена в Константинополе между ними шли большие раздоры. Все разделились на "старых турок" и "младотурок", но это уже политика, а в политику мне никогда не хотелось лезть. (Последние слова Мартинес произносит, пренебрежительно махнув рукой.) <...>

Через несколько дней после того, как мы приехали, объявили войну. Я не сознавал, что это значит, до тех пор пока руководители театра, в котором мы работали, французы, не сообщили, что не могут с нами расплатиться, что закрывают кабаре и уезжают. Мы пошли к испанскому консулу. Наш кон-

1. Булонский лес (*франц.*). (*Здесь и далее прим. перев.*)

сул, как обычно бывает с испанскими консулами, ничем не мог помочь. <...>

2

Сначала война не слишком себя проявляла, но потихоньку все стало меняться. Лица людей все больше вытягивались и суровели. С тех пор мы долгие годы не видели непринужденных, открытых, улыбающихся лиц. Я даже думаю, что таких добродушных лиц, как до войны, мы не увидели на улицах Европы больше никогда. Кабаре не закрывали. Наоборот, казалось, что у людей появилось больше охоты пить и сорить деньгами. Мы с Соле оказались в захудалом кабаре в Катаклуне, куда наведывалась самая скандальная и мотовская публика — матросы. Хозяин, бесстыжий грек, обманывал даже родного отца. Мы проработали там пять месяцев в постоянном страхе перед скандалами, угрозами и подлыми выходками этого негодяя. Тогда я узнал темную сторону жизни Константинополя, этих лихих турок, непременно с отрезанным ухом, этих красивых, толстых и тупых танцовщиц, весь мелкий сброд из разных народов — греков, армян, болгар и Бог весть кого еще, всех поголовно воров и забияк, слетавшихся в Константинополь, как мухи на мед. Но к тому времени в городе появились первые немцы и начали зачищать его от нежелательных элементов. <...>

После пяти месяцев неприятных сюрпризов от сумасбродной публики Катаклуна мы перешли на работу в цирк Перы[1], где дали концерт в честь двух главных жен султана — теперешней и бывшей. Султаншам наши танцы понравились, и они прислали нам в подарок двадцать пять турецких лир и цветок. Наконец, мы устроились в более сносное кабаре под названием "Парижанка", куда приходил народ поприличнее. Немцы мало-помалу становились хозяевами Константинополя и частенько навещали это кабаре. Там я познакомился со многими немецкими офицерами.

В том числе с бароном Штеттином. Бароном Штеттином, который чуть меня не сгубил.

Через месяц после прихода немцев Константинополь стал другим.

И пропал с прилавков хлеб. Немцы очистили город от шпаны, прижали к ногтю турок, но во всей Турции не осталось ни

1. Район в европейской части Стамбула.

крошки белого хлеба. Немцы все гребли под себя. Они вывезли в Германию все товары, в которых нуждались для продолжения войны. В магазинах начались перебои с продовольствием, но порядок царил идеальный — этого у них не отнять. Пунктуальные, стойкие, усердные немецкие офицеры успешно заменили нерадивых турок. До сих пор помню турецкого капитана с грандиозными усами, начальника полиции — он постоянно приходил в кабаре в компании шести-семи хорошеньких юнцов и с ними напивался. Все это немцы сразу пресекли. Не сказать, чтобы немецкие офицеры не ходили в кабаре и не напивались, но вели себя они по-другому. Очень чопорные, ни на кого не похожие, очень вежливые, они целовали руки артисткам и забрасывали их цветами. Однажды после исполненного нами танго какой-то немец бросил мне золотую монету.

Немецкая полиция оттеснила турецкую и жестоко преследовала каждого, у кого были проблемы с законом. Немцы выгнали из кабаре все семейные пары артистов, не оформившие свои отношения юридически, установили множество запретов на спиртное — разумеется, для всех, кроме немцев, — и из страха перед шпионами никому не давали шагу ступить. <...>

Барон Штеттин был капитаном немецкой армии и, соответственно, полковником султанской кавалерии, а также, судя по всему, одним из руководителей немецкой контрразведки. <...>

3

— Берегись, испанец, я считаю, что ты шпионишь на французов, и намерен тебя подловить.

Он постоянно меня разыскивал, пользовался каждой возможностью, чтобы втянуть в разговор, вынуждал пить, приказывал своим людям за мной наблюдать. Он стал моим наваждением. Так жить было невозможно, и мы решили уехать из Турции и прекратить этот кошмар. Но куда? Вернуться во Францию мы не могли, в Испанию — нечего было и думать. Тогда мы решили поехать в Румынию, не принимавшую участия в войне. Перед нами стояла задача выбраться из Турции, задача довольно непростая, если учесть, что нас взяла на заметку немецкая контрразведка. Кроме того, нам нужно было пересечь всю Болгарию, а в Болгарии шла война.

Однако оставаться в Константинополе мы не могли. Война ощущалась все сильнее. С Галлиполи приходили корабли с грузом убитых и раненых: немцев, турок, французов и англичан. По дороге почти все раненые умирали, и корабли, придя в порт, вываливали на причал по-настоящему мертвый груз, которым потом набивали вагоны железнодорожной

ветки, доходившей до самого порта Галаты. Иногда незахороненные трупы оставались на пристани по несколько дней.

В те времена Константинополь напоминал город мертвых. Мы ходили среди мертвых, словно это было в порядке вещей. В центре города было много кладбищ. В Татаволе они располагались прямо между домами, и турецкие фанатики ходили молиться на могилы, пока остальной народ сновал мимо по своим делам. Кроме того, везде виднелись одноэтажные хибарки, нечто вроде часовен, сквозь окна которых можно было разглядеть горящую лампадку и гроб, накрытый чаще всего военной шинелью и каской — единственными украшениями в этом подобии склепа, куда долетали звонки трамваев, крики бродячих торговцев и смех резвившихся на улице детей.

Никогда не доводилось мне видеть другого такого места, где бы мертвые так "уживались" с живыми, а живые так свыклись с близостью мертвых. <...>

Обстановка ухудшалась день ото дня, и с помощью испанского консула мы настойчиво добивались разрешения выехать через болгарскую границу. Удавка немецкой разведки впивалась мне в горло все сильней. Я шелохнуться уже не мог. Агенты ненавистного барона Штеттина таращились на меня из-за каждого угла.

Я не смел ни с кем вступать в разговор. И стал замечать, что мои коллеги слушают меня уж слишком внимательно, пытаясь вызнать, чем я занят, готовые бежать с докладом в немецкую комендатуру. <...>

Мы решили уехать из Константинополя. И нам это удалось.

Выехали мы без особых проблем. Поскольку брать с собой золотые монеты не разрешалось (не больше пяти турецких лир на человека), а я скопил, работая в казино, около пятидесяти, пришлось проявлять изобретательность, чтобы вывезти их контрабандой.

Я спрятал золото в каблуки ботинок, в замок сундука и в банку с макияжем.

Нас обыскали перед входом в вокзал, обыскали на перроне, третий раз — в уже отъехавшем поезде, а когда мы добрались до Рущука, до границы с Болгарией, нам заглянули даже в глотки.

Я вез с собой пакет табака — таможенники раскрошили его буквально по листочку. Другая неприятность поджидала меня из-за ножа с рукояткой из козьей ноги. Его нашли во время обыска и, поскольку провозить оружие строго-настро-

го запрещалось, меня чуть не высадили из поезда, что означало конец нашим планам. Дело удалось уладить при помощи небольшой суммы денег. Как почти всякое дело. <...>

Добравшись до Софии, мы обнаружили, что обстановка в столице Болгарии прескверная, и решили на следующее утро ехать дальше к границе с Румынией. <...>

В Бухаресте мы сняли номер в гостинице "Центральная", напротив почтамта. Я пошел наниматься на работу в кабаре под названием "Альгамбра", и через пять дней мы вышли на сцену. Наше выступление имело большой успех, и мы были счастливы. Здесь мы нашли хлеб и мир. Сколько раз с тех пор я видел людей, готовых биться насмерть именно за это: хлеб и мир!

Через некоторое время нас пригласили в казино "Париж"; уже работая там, мы подписали контракт на выступления в Браиле и танцевали там пятнадцать дней в кабаре "Парадиз". В последний вечер со мной случилось несчастье. Во время танца я повредил ногу, и долгое время работать не мог. Это был сигнал: нашему везенью пришел конец. Соле пришлось танцевать одной. Я аккомпанировал ей на кастаньетах. Мы перешли в другие, менее солидные кабаре — "Танго" и "Салате".

И все-таки я был доволен: после наших мучений в воюющей Турции Бухарест казался раем. Но однажды вечером, когда мы выступали в "Танго", хозяин кабаре вдруг остановил оркестр и, заходясь от восторга, бросился в зал с криком:

— Война! Война! Румыния объявила войну Германии!

Вся публика повскакала с мест, радостно вопя:

— Война! Война! Да здравствует война!

Грустный и одинокий, сидел я в углу со своей пострадавшей конечностью, смотрел на людей и удивлялся. Казалось, они все разом сошли с ума. Весь мир сошел с ума. Война! Да знают ли эти несчастные, что такое война! <...>

Я печально вышел из кабаре. Опираясь на руку Соле, я ковылял и думал, что, кроме меня, не осталось в мире ни одного здравомыслящего человека.

— Опять придется уезжать, — сказал я Соле. — Война идет за нами по пятам. Не хочу терпеть ее снова. Здесь хорошо уже не будет.

— Куда же мы поедем? — спросила она.

— Не знаю. Война со всех сторон. В мирную страну нам не попасть. Но мне говорили, что в России, хоть она и воюет, это почти незаметно, потому что она очень большая. Можно поехать в Россию!

— Поедем, куда хочешь, Хуан, — покорно сказала Соле.

Если бы мы только знали, что нас ждет!

4

В тот же день, как только объявили войну, люди тысячами побежали из Бухареста. О работе пришлось сразу забыть. Скоро должен был кончиться хлеб. Я пошел в консульство. Там уже собрались все испанцы, жившие в то время в Бухаресте, человек десять-двенадцать, среди них – две пары артистов: салонные танцоры Мендоса и танцоры-эксцентрики Жерар. Консул помог нам деньгами, выдав по пять леев на брата, и раздобыл специальные пропуска для въезда в Россию. Мы с женой уехали на день раньше остальных, купив билеты до Одессы. <...>

В Яссах мы задержались на день в надежде найти работу и остаться. Сердце подсказывало мне, что дела в России совсем не там хороши, как нам расписывали. Я пошел в "Современный синематограф" и предложил свои услуги. Безрезультатно. К тому же и война здесь чувствовалась довольно ощутимо. Каждый час поезда привозили с фронта раненых. И странное дело: почти все они были ранены в голову или в ноги. Мы выехали следующим утром и через несколько часов прибыли на российскую границу. Граница проходила по мосту. По одну сторону – румыны, по другую – русские. Русские проводили обыск дотошнейшим образом. Казалось, этому не будет конца. По счастью, ко мне проникся симпатией молоденький офицер-пограничник. В России, как я потом убедился, все зависит от того, приглянулся ты человеку или нет. Как в Испании. Сумеешь расположить человека к себе – любая твоя проблема решена. Не сумеешь – так до самой смерти ничего и не дождешься. Русские – народ неплохой, но уж очень непостоянный, пристрастный и взбалмошный.

Мы прибыли на какую-то большую российскую станцию, название которой я забыл. На перронах толпились нищие, люди, похожие на овец, в овечьих шкурах и с овечьими шапками на головах, напоминавшими те колпаки, которые набрасывают на загривки волам, чтобы их не кусали блохи. На станции существовал даже зал для нищих. Настолько много их было. В буфете на столах стояли жестяные кружки. Я вез в багаже деньги, но багажный вагон опечатали и не отпирали до самой Одессы. С собой у меня был один английский фунт, и я поменял его на пару килограммов русских монет. Среди них попадались даже десятикопеечные. В Одессе нам сообщили, что багажный вагон где-то застрял, и мы остались без вещей и без денег. На последние копейки доехали мы до гостиницы "Россия", что-то вроде пансиона для польских евреев; с нас попросили три рубля в день с правом пользоваться кухней. "Ну вот, мы и в России. Теперь-то уж заживем спокойно", – подумали мы.

Жизнь и в самом деле поражала дешевизной, несмотря на войну. Каравай хлеба (тысяча двести граммов) стоил около двадцати копеек. Но, поскольку наш багаж застрял неизвестно где, а в административных вопросах в России творилась полная неразбериха и ни от кого невозможно было добиться разъяснений, мы оказались в бедственном положении. Я продал золотую монету, которую носил на шее. Когда и эти деньги кончились, я пошел в испанское консульство. Консул, граф-миллионер из Кадиса, даже не взглянул в мою сторону. Он обращался со мной, как с собакой. Я не выдержал и заметил ему, что консулу не пристало так себя вести с испанцем и что он не исполняет своих обязанностей. Граф оскорбился, встал в позу и заявил, что никому не позволит себе дерзить, что ради меня он бросил неотложные консульские дела и тратит со мной драгоценное время.

– На улице так будете разговаривать! – бушевал он.

По счастью, ситуацию спас секретарь, еще один мрачный старик – он проводил меня до двери и сообщил, что я получу субсидию в размере одного рубля сорока копеек в день, и также посоветовал обратиться к жившему в то время в Одессе испанцу, Висенте Фернандесу, который, возможно, сумеет мне помочь.

Я отправился искать Висенте и застал его в большом кафе “Робинат”. В молодости Висенте был артистом, а теперь торговал предметами роскоши. Он оказался хорошим человеком. Несмотря на то что я пришел к нему попрошайничать, он принял меня очень приветливо, дал взаймы десять рублей и предложил помочь найти работу. Мы обошли несколько агентств, Висенте исполнял роль переводчика и, в конце концов, добился того, что меня наняли танцевать в парк “Александровский”, предложив начать работать уже через пять дней. <...>

Рана на ноге еще не зажила, и, как только я начал танцевать, бинт развязался, и меня пронзила страшная боль. Дорого мне обошелся тот танец. Я закрыл глаза и стиснул зубы, но думаю, что никогда не танцевал сапатеадо[1] с таким задором и настроением. Публика, впервые видевшая этот танец, буквально обезумела от восторга (фламенко – великая вещь!) и вызывала меня снова и снова. Опьянев от успеха, я перестал чувствовать боль. Некоторые зрители обратили внимание на то, что, пока я танцевал, узкий ботинок с желтым верхом и прилегавший к нему край люстриновых брюк покраснели от

1. Испанский народный танец, четкое и сильное выстукивание ногами музыкального ритма, один из элементов танца фламенко.

крови: она текла из открывшейся раны, но я улыбался и танцевал с такой энергией и лихостью, как никогда. Не зря же я слыву удальцом. А удаль русским всегда по душе.

5

Нам подвернулся удачный контракт в киевском “Интимном театре”, и мы уехали из Одессы. В пути ничего особенного не произошло. Война действительно не очень чувствовалась в России. Киевской публике наши танцы понравились, и, поскольку в то время императрица Мария Федоровна организовывала благотворительный вечер в пользу раненых и госпиталей Красного Креста, меня, одного из всех артистов, работавших в Киеве, удостоили чести танцевать на нем испанские танцы. Праздник проходил в замке императрицы, присутствовала вся высшая знать. Торжество удалось на славу. Наше выступление вызвало огромный интерес, но за несколько минут до начала, когда мы с Соле с кастаньетами в руках ждали вызова на сцену, ко мне подошел высокий, весь в позументах чиновник и, оглядев меня с головы до ног, кисло изрек:

– Вам запрещено выходить на сцену.

– Но почему? – ошеломленно воскликнул я.

– Потому что вы непристойно одеты, – ответил он. – Нельзя танцевать перед царским двором в таких брюках.

И безапелляционно указал на мои люстриновые брюки, приталенные и зауженные книзу, в каких танцуют фламенко. Делать нечего. Пришлось в спешке, на бегу, стаскивать с себя приталенные брючки и выходить танцевать фламенко в брюках от фрачной пары. Господи! И где это видано: танцевать болеро в штанах с лампасами!

Люди, жившие тогда в Киеве, и вообразить себе не могли, что произойдет в России через полгода. В те дни – в октябре–ноябре 1916 года – в Киев приехал с официальным визитом царь, и его встречали с безумным энтузиазмом. Улицы празднично украсили, многочисленные манифестации выражали ему свою преданность. Однажды утром Николай II прогулялся по Киеву на машине, зашел в несколько магазинов за покупками, и везде его сопровождала восторженная толпа.

Возможно, все это власти заранее подстроили, не знаю, но уверен, что Николай II вполне мог впасть в заблуждение по поводу тех чувств, которые питали к нему подданные, точно так же как заблуждался я, когда о них судил. Я никогда бы не поверил, даже если бы мне поклялись, что этого человека, окру-

женного преданной толпой, через каких-нибудь несколько месяцев убьют, как паршивую собаку.

Но, как я уже говорил, политика для меня — дело темное.

В конце 1916 года мы уехали в Петроград. Путь занял два дня, зато ехали мы в прекрасно оборудованном спальном вагоне. В столице России все было спокойно, по крайней мере, с виду. Здесь было больше строгости и порядка, но все вели себя учтиво, а главное — особенно приветливо к иностранцам. Мы начали выступать в "Вилле Родэ", самом роскошном, самом знаменитом кабаре Петрограда, популярном среди аристократов и придворных. Кабаре находилось почти на окраине города, в Новой деревне, в чудесном месте, в окружении деревьев. Его хозяин, господин Родэ, хорошо знал свое дело: у него были лучшие в городе винные погреба, лучшие артисты, лучшие женщины и, естественно, лучшая публика в России. Мы проработали там полтора месяца. Танцевать приходилось не в общем зале, а в просторных кабинетах, потому что постоянные посетители "Виллы Родэ", персоны действительно известные, сановники двора, не хотели появляться в общем зале.

В один знаменитый кабинет, кабинет номер два, приходили самые влиятельные в государстве персоны. Трудно даже вообразить, кем были эти дамы и кавалеры в мундирах, перед которыми мы танцевали! В этом кабинете кутил с придворными дамами сам знаменитый Распутин, и не раз его выносили оттуда мертвецки пьяного.

В глубине кабинета стоял большой диван, на котором дамы могли прилечь в своих вечерних декольтированных платьях. <...>

Помню, иногда по вечерам, пока посетители "Виллы Родэ" пили и смотрели на танцы в кабинете номер два, всю улицу перекрывал бесконечный кордон из гвардейцев и жандармов, которые неподвижно стояли в снегу и несли караул. Сложно было угадать, кто эти гости: дам мы не знали, а чины и род войск кавалеров определить не могли, потому что, хоть они и носили мундиры, но сверху надевали плащи, украшенные на горле и на плечах крошечными серебряными кинжалами и скрывавшие все знаки различия.

За каждое выступление на этих частных вечеринках в знаменитом кабинете номер два артистам полагалось по сто рублей и ужин с шампанским в придачу. <...>

С несколькими постоянными гостями я немного подружился. Все они были до крайности спесивы, но иногда становились приветливы, как простые смертные. От выпитого вина. Впрочем, я уже говорил, что русский человек по натуре совсем не так уж плох. Иной из этих князей гораздо любезней вел се-

бя с артистами, чем какой-нибудь худосочный сеньоришко в Мадриде или Севилье. Я очень сдружился с Филипповым, сыном важной персоны, частенько пировавшим здесь с офицерами-аристократами. Он и его друзья всегда приглашали меня в ложу и разговаривали со мной, как с равным. Однажды вечером, не в меру разгулявшись, они остались без денег: наверно, играли или собирались играть. Я одолжил им нужную сумму, отдав все свои сбережения. На следующий день Филиппов вернул мне деньги и подарил тысячу рублей "на чай". За несколько дней до революции он в последний раз приходил в "Виллу Родэ". Прощаясь, он меня поцеловал. Больше я о нем не слышал. Наверно, его убили.

Революция разом со всем этим покончила. Ее участники ворвались в "Виллу Родэ", разграбили превосходные винные погреба стоимостью в шестьдесят тысяч рублей, а под конец подожгли здание, и оно сгорело дотла. Ярость людей против "Виллы Родэ" была чудовищной. Очередной пример неуемной человеческой злобы и ненависти. Толпа изгадила даже двор. Хозяин кабаре, господин Родэ, от горя чуть не помешался. Ему чудом удалось избежать смерти и уехать в Париж.

А пока в Петрограде жизнь текла спокойно. В некоторых ресторанах за рубль можно было съесть обед из трех блюд и десерт. <...>

Мы, артисты, устраивали вечеринки в одном из кафе на Невском проспекте. Жизнь в Петрограде была приятней и дешевле, чем в любом другом европейском городе.

У нас закончился контракт, и мы уехали в Москву. Наступил 1917 год. Мы получили работу в "Максиме", где выступала еще одна испанка, Миньон, – позднее, уже в разгар революции, мы снова встретились с ней в Петрограде. В "Максиме" было не так роскошно, как в "Вилле Родэ", публика приходила разношерстная; в ложах сидели достойные люди, но в партере встречался всякий народ: крупные торговцы, военные подрядчики, богатые евреи, политики, журналисты – настоящих аристократов среди них почти не было.

Мы поселились на Тверской и начали приучать себя к русской еде, которую Соле быстро научилась готовить. Когда контракт в "Максиме" закончился, мы перешли в "Яр" – кабаре с самым изящным сценическим залом из всех, какие мне доводилось видеть. Оно было построено недалеко от Петровского парка с большой роскошью и искусством. Один зеркальный зал чего стоил. Самое первоклассное кабаре в Москве. Его директор, господин Аквамарина, довольно оригинальный субъект, позднее нам очень помог. Работая в "Яре", мы

стали получать тревожные вести о первых вспышках революции в Петрограде. Скверные дела творились там. В Москве в это время ровным счетом ничего не происходило.

Пока на рубль по-прежнему можно было купить целую курицу. Москву не лихорадило. Люди жили обыденной жизнью, хотя по улицам частенько проезжали машины с военными, следившими за обстановкой. Никаких особых событий не было, но всех что-то тревожило. Даже клиенты кабаре, когда затевали споры о политике, теряли над собой контроль и впадали в буйство. Но жизнь продолжалась: работали театры, публика до отказа заполняла кабаре, деньги перетекали из рук в руки, правда, начались трудности с хлебом. <...>

Впрочем, хоть хлеба и не хватало, но люди с деньгами ни в чем не нуждались, потому что на самом деле продукты были, просто их прятали спекулянты. Думаю, не случись этого, не случилась бы и сама революция.

Первым начал страдать сам же простой народ. Господа, хоть и с досадой, но пока лишь посмеивались. Каждый из них припас достаточно, чтобы продержаться, в то время как в бедных кварталах женщины с утра выстраивались в длиннющие очереди.

Нет, в Москве, как я уже сказал, не происходило ровным счетом ничего, но обстановка накалялась. Я чувствовал, что скоро здесь возникнут конфликты между ненавидевшими друг друга чиновниками, простолюдинами и евреями, и решил искать работу в Петрограде.

Мне сказали, что после нескольких отчаянных вылазок революционеров, правительство полностью навело порядок. Я думал, что в городе, где расположен царский двор, жить будет спокойнее. <...> Решив сначала разведать обстановку и найти какой-нибудь, пусть небольшой, контракт в столице, я оставил Соле в Москве, в нашем доме на Тверской. Наступили первые дни марта 1917 года.

Выйдя в Петрограде из поезда со своими чемоданами, я обнаружил, что стою на платформе в пугающем одиночестве. Ни пассажиров, ни носильщиков, ни проводников. Что происходит? Я направился к выходу.

На дверях вокзала висел пригвожденный к ним штыком труп жандарма, лицо его покрывала запекшаяся кровь. Вокзальную площадь заполняли броневики, пулеметы и пушки, стоявшие в несколько рядов. Вдалеке поднимался в небо густой черный дым. То и дело строчили пулеметы. На улицах не было ни души. С чемоданами в руках, я замер в дверях вокзала. “Куда я попал? Что тут происходит?”, — спрашивал я себя.

– Народ добивает сорок тысяч питерских жандармов, – сообщил мне пробегавший мимо человек.

О, нет! Это не по мне. Я решил немедленно ехать в Москву и повернул обратно. На перроне стояло несколько железнодорожников, они что-то громко, хором обсуждали, я обратился к одному из них:

– Когда отправляется ближайший поезд в Москву? – спросил я.

– Поезда больше никуда не отправляются, товарищ, – ответил он и, увидев мое испуганное лицо, радостно хлопнул меня по спине. – Поезда закончились навсегда! Да здравствует революция!

6

Я вышел в город с таким чувством, будто лезу в пасть волку. Немногие люди, которые мне попадались, куда-то бежали, торопливо срезая углы. По дороге к Невскому я заметил несколько горящих домов. Из боковых улиц доносился смутный шум боя, в жилых кварталах города непрерывно строчили пулеметы. Сгибаясь под тяжестью чемоданов, я добрался до Каменного острова, и мне показалось, что дома здесь переболели оспой, настолько они были изрешечены пулями. На всей улице в домах не осталось ни одного целого стекла. Куда идти? Я хотел было пойти в Новую деревню, в “Виллу Родэ”, но не отважился, потому что с той стороны доносилась самая ожесточенная стрельба. Я долго наворачивал круги, избегая тех мест, где шел бой. Никуда невозможно было пройти. За одним из поворотов я увидел группу солдат и вооруженных рабочих – шагая по центру мостовой, они пели и что-то кричали. Мне они сообщили, что только что взяли Зимний дворец. С собой эти люди волокли самые удивительные предметы. Один солдат в съехавшей на затылок фуражке, с красным от радости и выпивки лицом, с винтовкой на ремне, шел в обнимку с шестью-семью бутылками шампанского. Когда ему нужно было что-то сказать, он ставил бутылки между ног и, вволю намахавшись руками, опять обхватывал бутылки и догонял остальных, тяжело дыша и крепко прижимая добычу, чтобы не уронить.

В некоторых местах булыжную мостовую разобрали на баррикады, теперь уже опустевшие. На центральных улицах баррикад не было, но в жилых кварталах они встречались на каждом шагу. По дороге к Новой деревне я обнаружил, что некоторые улицы по-прежнему в руках царских жандармов, другие – в руках революционеров, остальные – неизвестно в чьих.

Поскольку дорога к "Вилле Родэ" была отрезана, я решил пойти в пансион, где жила наша коллега Анхелита Миньон. Там я застал всех постояльцев дрожавшими от страха за запертой дверью. Мне сказали, что "Виллу Родэ" захватили, и идти туда бесполезно. В пансион дважды являлись солдатские патрули и тщательно обыскивали весь дом, заставляя жильцов открывать сундуки и показывать содержимое. Анхелита Миньон предложила мне остаться, и я с радостью согласился, поскольку глупо было и дальше бродить по Петрограду, где на каждом углу тебя могли подстрелить. Миньон поставила для меня в коридоре кровать, прямо перед входом в комнату — видимо, с таким расчетом, что если снова придет патруль, то сперва налетит на меня. И действительно, два-три раза приходили патрули, неизвестно чьи и с какими полномочиями, и снова устраивали мучительные обыски, нисколько не церемонясь, оскорбляя нас и даже пуская в ход приклады. Позднее мы узнали, что причиной этих неприятных визитов стали доносы скрипача, приятеля Анхелиты, — в них он сообщал о якобы припрятанных ею бесценных бриллиантах, которые сам безрезультатно искал, когда являлся к ней под предлогом любовных свиданий.

За неделю в городе прикончили сорок тысяч жандармов. Какую лютую ненависть к ним питали! Сорок тысяч царских жандармов насчитывалось в Петрограде в тот день, когда вспыхнула революция. За восемь дней не осталось ни одного. Такая ярость скопилась в людях, что, когда я приехал, на жандармов вели охоту, как на кроликов. Многих распяли на дверях штыками, как того, которого я видел на вокзале. Других изрешетили пулями и таскали по улицам до тех пор, пока они не превратились в бесформенные груды крови и грязи.

Но первыми кровавую бойню учинили сами жандармы. Все началось за несколько дней до моего приезда, когда бурлящая толпа попыталась пройти по Выборгскому мосту через Неву в центр города. Жандармы перекрыли другой конец моста, отрезав манифестации дорогу. На мост выплескивались из промышленных районов все новые волны протестующих. Те, кто шел впереди, увидели перед собой грозную цепь винтовочных дул и остановились; они пытались сдать назад, но толпа напирала, заставляя их поневоле двигаться вперед. Обернувшись к толпе, эти несчастные безрезультатно пытались остановить неудержимую лавину, толкавшую их на смерть. Едва манифестанты прошли несколько метров по мосту, как полицейский заслон расступился, и лавина всадников с шашками наголо обрушилась на толпу. Жандармы и ка-

заки, как тигры, набросились на перепуганных людей, рубя, кромсая и раскалывая черепа чудовищными ударами своих клинков. Убиты были многие. Но это не помогло.

Через три дня народ уже хозяйничал на улицах и приступил к фанатичному истреблению жандармов. Полицейские оборонялись сначала в своих участках, потом — собравшись в отряды; они дорого продавали свои жизни, преследуемые тысячеглазым, тысячеруким чудовищем, настигавшим их в любом месте города. Вот именно в этот момент в Петроград приехал я.

На подмогу жандармам бросили несколько подразделений казаков, сначала они оттеснили революционеров и даже заняли некоторые районы; но вскоре начали дезертировать и отказываться стрелять в рабочих.

Вместо разгромленных жандармов в город спешно прибывали вызванные царским правительством войска, но на подступах к Петрограду их встречали революционные комитеты, останавливали, выслушивали, убеждали, переманивали на свою сторону, и все заканчивалось убийством офицеров и подъемом красного флага, с которым солдаты входили в столицу под одобрительные крики толпы. И присоединялись к охоте на жандармов. Последнюю надежду защитники монархии возлагали на эскадроны донских казаков, прибытия которых очень ждали. Они приехали по очереди, тремя эшелонами, и сразу перешли на сторону революции. Дезертирство казаков означало только одно: спасайся, кто может.

Жандармы дрались, как львы. Через три дня после нападения на дворец на одной из его крыш группа жандармов продолжала стрелять в революционеров, и никто не смел залезть на эту крышу. Там они и погибли, один за другим. Последний затих на шестой день.

В нашем пансионе тоже жил жандарм. Когда по доносу за ним пришел революционный патруль, он успел сбежать. В комнате остался его сундук и шинель. Эта проклятая шинель стоила жизни пятерым несчастным. Поскольку вещь была добротная, ее подобрал один из жильцов, спорол знаки отличия и вышел в таком виде на улицу.

В тот же день его подстрелили из какого-то окна. Убитого принесли в дом, а шинель сняли, чтобы завернуть покойного в саван и похоронить. Еще один легкомысленный человек подобрал шинель через несколько дней, и тоже получил пулю. Так счет дошел до пяти. Последним из-за этой шинели погиб один из революционеров, отличившийся особой храбростью на баррикадах. Но народ, видя жандармскую шинель, стрелял, не думая. Уж больно люто их ненавидели!

Посольство и консульство Испании еще не закрыли. Мы обратились туда в поисках защиты, и нам сказали, что за дальнейшее развитие событий они не отвечают. Дипломатическое представительство Испании организовывало эвакуацию и объявило точную дату отъезда. Любой, кто останется, должен был понимать, что лишится всякой защиты своей страны. Большинство испанцев, проживавших в Петрограде, решили уехать из России. Я пришел в отчаянье. Соле осталась в Москве, и не было никакой возможности съездить за ней или устроить так, чтобы она смогла приехать сюда. Я с тоской наблюдал, как этот ад покидает Испания, как бегут ее законные граждане, оставляя меня без поддержки, без родины, без всякой помощи в случае любого насилия. В консульстве меня уговаривали ехать, убеждая, что Соле сможет эвакуироваться из Москвы вместе с московским консульством. Я не соглашался. Ни за что на свете я не бросил бы мою бедную Соле. Что суждено одному, то суждено обоим. Я кинулся добывать билет в Москву, надеясь, что успею вернуться с ней до отъезда испанцев. Двенадцать дней провел я в очереди в кассу. Двенадцать убийственных дней я упорно стоял в надежде на билет, но она всякий раз не сбывалась. Поезда ходили, но такая уйма народа рвалась на юг, что невозможно было выехать из Петрограда. Стоя в очереди, страдая от мысли, что не успеваю и не знаю, что случилось с Соле в хаосе революции, я часами дрожал на холоде, пока не вывешивали табличку "Билетов нет" и касса не закрывалась до следующего утра.

В этой очереди я наблюдал за развитием революции, слышал треск пулеметов, видел кареты "скорой помощи" — они возили раненых под белыми флагами, расчищая себе дорогу пронзительным воем рожка.

Так я провел в Петрограде эти двенадцать жутких дней мартовской революции 1917 года в очереди за билетом, который дал бы мне возможность уехать.

По утрам все стихало. Кто-нибудь рассказывал, что в ближайшем переулке нашли труп жандарма. Только и всего. Люди шли по своим делам, если они у них были. С особыми предосторожностями открывались магазины, готовые снова закрыться по первому же сигналу. Когда ранним утром я шел на вокзал, безмолвный Петроград, тонувший в утреннем тумане под плюмажем поднимавшихся в небо печных дымков, казался совершенно спокойным. Мне не встречались даже патрули. Под утро у революционеров бывало много работы, и в эти часы они спали. Иногда где-то слышался выстрел, но на него не обращали внимания: может, взорвался газгольдер, может, лопнула ав-

томобильная шина, а может, убили жандарма. Народ не пугался, магазины не закрывали. Хотя цены назначали, кому как заблагорассудится; революция для торговцев была пока раем: то, что сегодня стоило рубль, завтра стоило пять, а пару дней спустя — двадцать или пятьдесят, сколько запросят. Продукты исчезали, но только для тех, у кого не было достаточно денег, чтобы их купить. Трамваи уже не ходили. Автомобили исчезли. Но извозчики как ни в чем не бывало стояли на своих обычных местах и везли пассажиров, куда попросят, избегая перерытых улиц, забираясь в самые опасные места, даже в такие, где стреляют. Проезжая опасное место, возница лишь привставал на козлах, истово крестился и — пошел!

Начиная с полудня лавки потихоньку закрывались, и народ пробирался в приоткрытые двери кафе. Улицы пустели, но в кафе, за запертыми дверями, собирались тысячи людей, спорили и махали руками, красные от густой табачной духоты. В полдень в жилых районах начиналась стрельба. По какому поводу — никто не знал. Иногда отдельные выстрелы переходили в шквальный огонь. На улицу не решался выйти ни один еврей. Зато крестьяне, возившие овощи на рынки Петрограда, невозмутимо сидели на прежних местах, посреди любой заварухи, перед горкой своей картошки, словно ничего и не происходило. И пули свистели над их головами во все стороны...

С наступлением сумерек стрельба усиливалась. До центральных кафе доходила новость, что в таком-то районе идет бой. Сбежавшие жандармы объединялись с офицерами, чьи части перешли на сторону революции, и вместе, подчиняясь инстинкту самосохранения, спасая теперь только свою жизнь, потому что никакой власти уже не было, сражались с патрулями солдат-дезертиров и вооруженных рабочих. Бои шли не на жизнь, а на смерть, и пощады никто не ждал.

Еще до наступления вечера все горожане запирались в своих домах. Петроград оставался во власти вооруженных банд. Шайки, сколоченные из штатских и военных, врывались в богатые дома и грабили. Когда какой-нибудь несчастный, по необходимости выйдя на улицу и в спешке перебегая дорогу, попадался им на глаза, они совали ему дуло в лицо и убивали без лишних церемоний. Эти банды формировались по большей части из заключенных, которых революция выпустила из тюрем. Из Петропавловской крепости вышли сотни уголовников, они подбирали оружие жандармов и солдат и безнаказанно творили любые преступления. Ходили слухи, будто эти зверства совершают сами революционеры и вернувшиеся с фронта солдаты, но это неправда: революционные патрули никого не грабили и не убивали, не считая жандармов и военных монар-

хистов, которые на них нападали. Но как было отличить одних от других! Бывшие арестанты шли в участки, получали шинели и солдатские винтовки. Так что, если повезет, патруль мог проводить тебя до безопасного места, в противном случае тебя могли ухлопать ради часов, пальто или буханки хлеба, которую ты нес под мышкой.

Никто не знал, что происходит по ночам: слышались отдаленные выстрелы, и все с тоской ждали, что в дверь опять начнет властно колотить патруль, которому захотелось провести обыск. Достаточно было выглянуть в окно, чтобы тебя подстрелили. Одна несчастная артистка из нашего пансиона встала рано утром, чтобы повесить за окно кувшин с молоком, и получила пулю в лоб. По ночам велась беспощадная охота на жандармов. Революционеры, как ищейки, обшаривали любой дом, показавшийся им подозрительным, до тех пор, пока не вытаскивали свою жертву, насаженную на длинные штыки. Многие жандармы и офицеры кончали жизнь самоубийством. Другие, переодевшись рабочими или нищими, бродили по предместьям, ища способ выбраться из Петрограда. Из сорока тысяч в городе не осталось ни одного. Клянусь.

На двенадцатый день стояния в очереди я раздобыл билет в Москву. Обезумев от радости, я помчался в пансион прощаться. Наконец-то мы с Соле встретимся! Что там в Москве? Что с Соле? Я не мог взять с собой багаж, потому что знал, насколько перегруженными идут поезда, но прихватил пакет фасоли и пакет риса, на тот случай, если в Москве нечего есть. Еще пришлось взять гитару, потому что, революция революцией, но какое фламенко без гитары? Хоть при белых, хоть при красных мне нужно было зарабатывать свой хлеб, а мой хлеб, куда бы ни занесла меня судьба, — безупречный костюм и старушка-гитара. Я шел на вокзал совершенно счастливый, но каково же было мое отчаянье, когда выяснилось, что билет, доставшийся мне с таким трудом, ничего не значит. Билет-то у меня был, да поезда не хватало. Все уходившие поезда были до отказа забиты пассажирами с билетами первого класса, купленными раньше моего. Пробраться в вагон не было никакой возможности. Буквально никакой. Поезда уходили один за другим, а я оставался на перроне с бесполезным билетом в кармане и ждал неизвестно чего.

Наконец я решился на геройский поступок. Прикинувшись носильщиком, я сумел подобраться к одному из вагонов фирменного поезда, готового к отправлению, и при помощи проводника засунул в окно гитару и свои пакеты. Здесь же, возле вагона, я стал обтирать со лба пот и, вторя проводнику, ругать вокзальное столпотворение. При отправлении проводник

встал в дверях, чтобы никто не вскочил в вагон. Меня, стоявшего рядом, он ни в чем не подозревал, потому что я громче всех вопил, что мест нет, и отпихивал народ от двери. Когда поезд тронулся, проводник стал закрывать дверь, но я вскочил на подножку, толкнул его и вцепился в поручни. Большего я не успел. Он мгновенно пришел в себя и ударил меня под дых так, что я чуть не потерял сознание. Но, скорчившись от боли, я все же устоял на подножке. Проводник принялся злобно колотить меня по голове и рукам, пытаясь оторвать от поручней, но я держался изо всех сил, закрыв глаза и втянув голову в плечи, хотя боль в пальцах от ударов этого зверюги, решившего меня непременно скинуть, была нестерпимой. Тем временем поезд отошел от перрона и набирал скорость. В какой-то момент я почувствовал, что теряю сознание, что отбитые пальцы поневоле слабеют, и я вот-вот упаду на рельсы. Но тут на площадку вышли какие-то пассажиры, увидели драку и стали затаскивать меня внутрь. Я понимал, что в подхвативших меня руках — мое единственное спасение, потому что силы меня покидали. Проводник продолжал безжалостно меня пинать, но мой ангел-спаситель сгреб меня в охапку, словно тряпичную куклу. Кончилось тем, что проводник перекинулся на сердобольного пассажира. Я воспользовался моментом, проскользнул в коридор и там затрясся от рыданий.

— У меня в Москве умирает жена! Мне нужно ехать! Хоть убейте, но мне нужно ехать! — кричал я, пока проводник спорил с моим спасителем. Когда им это надоело, проводник обернулся ко мне и сказал, что вышвырнет меня на первой же станции. Я ответил, что имею право ехать, и показал билет. Это его немного утихомирило. За меня вступились все пассажиры, и, поскольку время было революционное и командовал народ, проводнику пришлось смириться и позволить мне ехать дальше.

Побитый, весь в синяках, с кровоточащими пальцами, я притулился в углу коридора вместе с фасолью, рисом и гитарой и тихонько сидел всю дорогу, размышляя: “Что там в Москве? Как там Соле?”.

7

Наступила оттепель, и вокзал в Москве тонул в талой воде. Я помчался в нашу квартиру на Новой Васильковской, прыгая через ледяные уличные ручьи и крепко прижимая к себе фасоль, рис и гитару. Соле была жива и здорова, но в каком состоянии! Эти двенадцать дней показались ей двенадцатью годами. Соле не понимала, что происходит, что такое революция, но была

уверена, что меня убили в Петрограде, и уже неделю не ела, не спала, только металась по спальне в ужасе от мысли, что потеряла меня навсегда, в тысячах верст от Испании, среди непостижимых варваров, убивающих друг друга неизвестно за что. Она поставила на сундук образ Богоматери-покровительницы своей деревни, зажгла рядом лампадку и дни и ночи проводила в молитвах, слезах и отчаяньи. Когда я вошел, она словно обезумела. Мы долго плакали в объятьях друг друга. Потом приготовили паэлью и фасоль по-бретонски, поели и почувствовали себя так хорошо! Вспомнили Испанию, Мадрид... Как далеко все это было!

Революция пошла на спад, приходили утешительные новости, нужно было жить и работать. Я стал искать место. Первый контракт подвернулся нам в Петрограде. Ни за какие блага мира я не хотел бы туда возвращаться, но что делать? Если ты артист, нужно танцевать там, куда тебя зовут... <...>

Все стихло. По крайней мере, так уверяли газеты, и мы снова поехали в Петроград и дебютировали в "Олимпии". Столица обрела свой обычный вид, хотя разрушения виднелись повсюду: изрешеченные пулями фасады, дымящиеся пепелища сожженных домов.

Через два дня после нашего приезда прошли похороны жертв революции; на большой площади, недалеко от Невского проспекта, вырыли огромную могилу. В присутствии членов Временного правительства, при большом скоплении народа в эту огромную, глубокую могилу опустили штук триста гробов. Церемония проходила в ошеломляющей тишине, только красная ткань знамен живо трепетала на мартовском ветру в этой огромной плотной массе неподвижных, безмолвных людей. Я никогда не видел таких окаменевших, таких онемевших людей в таком количестве. Когда гробы опускали в братскую могилу и в звенящей тишине по крышкам гробов отчетливо и ясно застучали скорбные удары земли, воздух задрожал от глухих артиллерийских залпов — где-то вдалеке в честь героев революции салютовали пушки. Две батареи на разных концах Петрограда стреляли поочередно, словно состязаясь друг с другом. В конце церемонии отряды всех родов войск прошли траурным маршем под бой барабана, накрытого траурным крепом. На триста гробов бросили цветы, совсем немного, и перед толпой продефилировали члены Временного правительства. В тот день я впервые увидел Керенского и услышал, что о нем говорят.

После церемонии толпа безмолвно разошлась по своим районам. Магазины были закрыты, и мне показалось, что я в

Страстную пятницу вернулся на свою родину, в Кастилию. Похоронив убитых, народ молча возвращался домой, озабоченный и печальный. Нет, ничего не закончилось, вовсе не закончилось. Такое у меня было предчувствие, и с ним мы вернулись домой.

Мы жили в пансионе одного старика-испанца по фамилии Роча, уроженца Кадиса; в молодости он был укротителем львов, женился на немке, вырастил нескольких дочерей, тоже артисток, одна из которых, получившая прозвище "Золотой дрозд", превосходно пела. <...> Мало-помалу стали открываться кабаре. Но меня терзали скверные предчувствия, и в апреле-мае мы приняли решение ехать на юг, куда ехали все, кому не нравилась революция и кто, в конечном счете, обычно кормит нашего брата-артиста. Путешествие оказалось тяжелым, потому что железные дороги уже подчинили военному ведомству. Во время революции в России не было более трудной задачи, чем переехать с одного места на другое, а нам приходилось ездить постоянно. Дорогой ценой мы добрались до Москвы и проработали несколько дней в театре "Одеон", но я, надеясь скрыться от революции в Белой Руси, подписал контракт на несколько концертов в Киеве, куда мы и отправились в середине июля. В Москве и Петрограде уже витал дух чего-то мне тогда непонятного: дух большевизма.

Во время той поездки в Киев я впервые повздорил с белым офицером. Сколько еще неприятностей они мне причинили! В Брянске нам нужно было делать пересадку, но поезд подошел к перрону с наглухо запертыми дверями. Пассажирам приходилось с трудом и в страшной сутолоке влезать и вылезать через окна. Я подсадил Соле, так что она легко очутилась в вагоне, но, когда полез в окно я сам, из него решил выбраться царский офицер. Это был здоровенный детина с кайзеровскими усами, с грозно сверкавшими эполетами и орденами. В тот момент, когда я уже висел в окне — половина тела внутри, половина снаружи, — он отшвырнул меня обратно, и я, как пес, шлепнулся на перрон. Никогда в жизни не позволял я себя оскорблять и не терпел, когда сильные унижали слабых, хотя не раз чуть не поплатился за это собственной шкурой. В России такие вещи происходили и происходят постоянно, и люди никогда на них не реагируют так, как в Испании. Но для меня безвольный — что бездольный. Собравшись с духом, я снова полез в окно, готовый ворваться в вагон любой ценой, ведь я имел на это такое же право, как и этот офицер. Прозвучал второй звонок, мой противник отступил на шаг, выхватил шашку и яростно ударил меня по го-

лове. Счастье, что он промахнулся, клинок зацепил меня лишь краем. Иначе он убил бы меня на месте. Оглушенный ударом, я снова упал на перрон. Но тут прозвучал третий звонок, и от мысли, что Соле уедет без меня, я жутко разозлился. Вскочил и так неистово бросился на штурм, что одним рывком оказался в вагоне, и мы с офицером, сцепившись, кубарем покатились по полу. Он готов был меня убить. Но тут поезд, слава Богу, тронулся, и ему не оставалось ничего другого, как прыгнуть головой вперед на перрон. Вскочив, в измятом мундире, с растрепанными усами, он принялся грозить мне кулаком, но поезд набирал скорость, хотя и не так резво, как мне бы хотелось. Соле онемела и до конца путешествия не могла сказать ни слова.

Киев в то время казался раем для буржуазии. Вся знать Москвы и Петербурга дожидалась в этом городе лучших времен, кутила и сорила деньгами с легкомыслием и беззаботностью людей, не знавших, что их ждет завтра. Царь был арестован, но в Киеве, несмотря на Революционное правительство, хозяйничали монархисты. Театры и кабаре были переполнены аристократами, офицерами и ликующими капиталистами. Мы дебютировали в "Шато-де-флер", и наши танцы пользовались у противников революции большим успехом. Каждый вечер приходил смотреть на нас знаменитый русский певец Чаковльский в сопровождении своей любовницы-аристократки. Среди этой компании военных, знати и артистов была замечательная певица Мария Александровна Лианская. Все эти люди приходили только за тем, чтобы посмотреть фламенко в моем исполнении и сразу уходили. Они казались людьми приятными и щедрыми, но люто ненавидели революцию. Чакольского потом большевики расстреляли, когда первый раз вошли в Киев.

Мы совершили турне по Белой Руси. Сначала поехали в Гомель, маленький, но очень богатый и уютный городок, в котором обстановка оставалась такой вольготной и спокойной, что можно было вовсе позабыть о войне и революции. В Гомеле жили так, как, наверно, жили в добрые старые времена в любом провинциальном городке России. Народ был добр и приветлив. Сливки общества собирались в кафе, украшенном помпезными зеркалами и позолоченными рогами изобилия. Превосходная еда стоила гроши, и во многих кондитерских за гривенник можно было купить знаменитые на всю округу, вкуснейшие пирожные. Здесь было много богатых евреев и несколько знатных русских семей, чьи сыновья служили в царской армии. В парке находился маленький театрик, куда приходила смотреть наши танцы нарядная, благодуш-

ная публика. Среди местного бомонда большим успехом пользовалась очень толстая русская певица Анона, исполнявшая слащавые песни, которые знали наизусть все служанки.

Одним словом, вольготная жизнь провинциального центра, безразличного ко всему, что происходило в России: к войне, революции, голоду... Ах, если бы можно было остаться среди этих славных людей, умевших готовить такие вкусные пирожные!

Из Гомеля мы поехали в Воронеж, и декорации сразу сменились. Воронеж состоял из единственной мощеной щебнем улицы и поперечных, спускавшихся к реке переулков. Население — сельская беднота, неимущий народ, из которого выделялись десять-двенадцать семей землевладельцев. Здесь полным ходом шла война. После петроградской революции крестьяне требовали земли, ее хозяева отвечали стрельбой. Теоретически страной руководил Керенский, но здесь распоряжались беднейшие крестьяне и батраки, и, хотя они еще не называли себя большевиками, по сути, это были большевики. Власти пытались их сдерживать. Беднота захватила несколько поместий и вытворяла там все, что хотела. Участились грабежи и налеты. Обычно мы возвращались с работы из парка "Трек" уже под утро, и каждый раз умирали от страха. Я раздобыл австрийский штык и, на всякий случай, всегда носил его с собой. Под конец нас стал провожать полицейский.

8

Приход к власти большевиков, знаменитые десять дней, которые потрясли мир, я встретил в Москве, на сцене кабаре, танцуя фламенко в национальном костюме.

Во время нашего турне по Украине мы заметили, как недоброжелательно было настроено крестьянство в последние дни правления Керенского, и решили укрыться в Москве. Эти дикари, российские крестьяне, могли учинить все что угодно. В большом и цивилизованном городе, думали мы, ничего особенно страшного не произойдет. В сентябре—октябре 1917 года Москва жила весело и беззаботно, с энтузиазмом отметая все невзгоды войны и революции. А в это время беднота простаивала в очередях за хлебом — впрочем, русские давно привыкли к таким контрастам.

Нас пригласили в "Яр", находившийся тогда на пике славы. Каждый вечер знаменитый "Наполеоновский" зал заполнялся веселой толпой, и все эти люди азартно пили и играли, нимало не задумываясь о завтрашнем дне. Там я познакомился с офицерами французской военной миссии, они возили меня к себе в казармы играть в шахматы. Комендант миссии,

с которым я тоже сдружился, типичный француз, добрый, вспыльчивый, так обожал шахматы, что каждый раз, когда побеждал, дарил мне большие пакеты сахара, чая, макарон и лапши — продуктов, уже потихоньку исчезавших из России, но, когда проигрывал, злился и заявлял, что я жульничал. Естественно, он почти всегда выигрывал.

Из "Яра" мы перешли в "Зимний сад", потом в другое кабаре под названием "Альпийская Роза" — несколько месяцев спустя его директор, Бутлер, умер с голода у меня на глазах, имея банковский счет на двадцать тысяч золотых рублей, которые большевики не позволяли ему получить. В гостинице "Савой" открыли небольшой салон, где я в безупречном фраке танцевал в качестве danseur mondaine[1]. Напротив "Метрополя" открыли еще один такой же салон, и там мы тоже выступали. <...> Только под утро, когда по дороге домой нас останавливали солдатские патрули, когда мы видели длинные очереди у дверей магазинов, становилось ясно: все катится в пропасть.

В середине сентября мы услышали первые разговоры о новой революции. Посетители кабаре со дня на день ждали государственного переворота, но не со стороны большевиков, которых никто всерьез не воспринимал, а со стороны монархистов. Говорили, будто народ собирается свергнуть Керенского, потому что он, якобы, еврей и замыслил сгубить Россию. Похоже, отдуваться за все беды опять предстояло несчастным евреям, как это обычно бывало в России. В ожидании неприятных событий мы начали заготавливать провизию и прятать ее под кровать. Вместе с продуктами, подаренными нам французами, еды, которую мы собирались купить, должно было хватить дней на пятнадцать-двадцать. <...>

Однажды ноябрьской ночью, когда я танцевал булериас в "Альпийской Розе", в зал ворвался перепуганный швейцар. Он вскочил на сцену, остановил оркестр и крикнул:

— Революция! Спасайся, кто может!

Клиенты "Альпийской Розы" разбежались, как зайцы, маленький салон опустел в мгновенье ока. Некоторые даже повыпрыгивали из окон. Такая была паника. Все звуки перекрывал отчаянный крик: "Идут!"

"Идут!", но примечательно, что никто не знал, кто именно идет. Хотя выстрелы действительно звучали очень близко. Одна дверь из кабаре вела в гостиницу "Савой", и через нее мы, артисты, сбежали, побросав свои инструменты и одежду. Я оказался на улице в костюме для фламенко — в бархат-

1. Салонный танцор (*франц.*).

ном болеро, украшенном бахромой. Самый подходящий костюм для революции. Я еле успел накинуть пальто.

Бой шел на Лубянке. Чтобы сориентироваться, мы стали расспрашивать тех, кто бежал с той стороны. Нам сказали, что из всех районов Москвы к центру движутся группы вооруженных рабочих и солдат. Но на Лубянке, по словам очевидцев, их встретил ураганный огонь из каждого окна.

В ответ революционеры стреляли по фасадам и выбивали прикладами двери домов. Нам сказали, что в остальной Москве тихо, и, поскольку центром противостояния стала, судя по всему, Лубянка, мы побежали домой, на Новую Васильковскую. Но попасть туда не смогли. Помимо Лубянки революционеры собирались в Петровском парке. Там им тоже преградили путь, и на другой стороне моста шла такая же упорная перестрелка, как и на подступах к Большому театру.

Вжимаясь в стены, мы выбежали на Садовую, но оказались между двух огней, потому что вооруженные люди побежали с Лубянки и из Петровского парка к центру, а стрельба, приближаясь с каждой минутой, грозила отрезать нам путь и вперед, и назад. На пустынной улице, которую мы с опаской переходили, нарастал какой-то гул, перекрывая звуки еще далекого боя: по темной мостовой приближалась плотная черная масса людей, и из нее, в такт медленному, тяжелому шагу, доносились брань, смешки, мерное звяканье патронных лент, винтовок и амуниции. Мы вжались в дверь какого-то подъезда и только благодаря темноте остались незамеченными. Одного рассеянного взгляда любого из них было бы достаточно, чтоб там же, на месте, без всяких проволочек, мы закончили свои земные страдания. Эти люди стреляли на ходу во все, что видели, живое и неживое. Что видели, в то и стреляли, и невозмутимо шли дальше, механически, как автоматы, заряжая и разряжая винтовки.

Выживало только то, что не попадалось им на глаза. Так будет и впредь, всю революцию и всю Гражданскую войну. Когда они исчезли вдали, и улица вновь погрузилась во тьму и тишину, мы, не двигаясь, парализованные страхом, посмотрели друг на друга. Стояла полночь. Широкая Садовая казалась дном оврага, по краям которого на фоне ясного, белесого неба вырисовывались силуэты крыш. На широком тротуаре горел единственный фонарь. Что нас ждет?

Нам было страшно идти дальше через те места, где шел бой. Я вспомнил, что поблизости, в доме пять по Садовой, жил Жерар, и мы юркнули к нему в квартиру, когда после долгого стука нам, наконец, решились открыть. <...>

К рассвету тревожные звуки начали смолкать, к семи утра Москва затихла и опустела. Во всем городе не видно было ни ду-

ши, не слышно ни звука. “Наверно, все закончилось, — подумали мы, — пойдем домой”. <...> Не успели мы завернуть за угол Садовой, как где-то рядом началась ожесточенная стрельба. Мы бросились бежать прямо по мостовой, спотыкаясь и падая на этих проклятых московских камнях, доводивших до слез тех несчастных женщин, которые отваживались ходить по ним на каблуках. На следующей улице нам снова преградил путь ураганный огонь. Мы метались из стороны в сторону, как стайка одуревших воробьев, тщетно ища спасения. Возле ресторана “Алькасар”[1] мы увидели вооруженный патруль и, как ошпаренные, влетели в расположенное на первом этаже кафе — двери его были закрыты, но, по счастью, не заперты. Вместе с нами там укрылись многие прохожие, застигнутые стрельбой. Мы поняли, что бой идет уже в нескольких метрах от нас и заперли дверь. Стрельба стояла страшная. Больше сорока пуль влетело в окна кафе. Тем, кто там был, пришлось забиться в кухню. <...>

Едва бой кончился, нас вытолкнули за дверь. Чтобы не выходить на Тверскую, где все еще слышалась стрельба, мы пошли по параллельной улице. Все подъезды были заперты, и, увидев в окне человека, мы втягивали головы в плечи и закрывали глаза, ожидая вот-вот получить пулю в лоб. По дороге мы заметили несколько групп вооруженных рабочих, они стреляли налево и направо. Еще мы видели длинную вереницу автомобилей, в которых солдаты, стоя на коленях, целились в окна домов, а оттуда по ним вели огонь контрреволюционеры. В левой петлице у солдат была красная ленточка, и только этот знак отличал противников друг от друга. Автомобили, патрули и грузовики с солдатами двигались к Кремлю, где начиналось крупное сраженье.

— Три туза.

— Стрит-флэш.

— Каре.

Партия выдалась трудная. Она шла девять дней. Столько же, сколько на улицах Москвы разыгрывалась другая, беспощадная, партия между сторонниками и противниками революции.

Попав, наконец, в то утро домой живыми и невредимыми, мы воспользовались припрятанными под кроватью продуктами, потом я достал колоду, и мы стали играть в покер. И так девять дней. Девять ужасных дней непрерывной стрельбы из винтовок, пулеметов и пушек, гремевшей над Москвой.

1. Ресторан “Алькасар” располагался тогда на Триумфальной площади.

Большевики установили огневые позиции в Петровском парке, позади нашего дома, и вели навесной огонь в сторону Кремля. Снаряды выли у нас над головой, а мы преспокойно сидели за столом и делали крупные ставки. <...> Покер — великая вещь. Поверьте, он увлекает даже тогда, когда через вашу голову ведут навесной огонь большевики, освоившие артиллерийское дело примерно полчаса назад.

Я прекращал игру только тогда, когда отправлялся за хлебом. Все девять дней я выходил по утрам из дома, хотя, сказать по правде, осмеливался дойти только до булочной на углу. Она открывалась в девять, в руки давали один маленький хлебец. Очередь занимали в три утра, но хлеба все равно не хватало. Однако страшнее всего было то, что временами по улице, громко фыркая, проносились грузовики с вооруженными людьми, которые без разбору палили по всей очереди: по старикам, детям и женщинам, и бывало, что кто-то падал передо мной и за мной, а я ощупывал себя и удивлялся, что все еще стою на ногах. И, признаюсь честно, немного радовался, что народу в очереди стало меньше, а значит, больше шансов получить хлеб.

9

Я ходил в очередь за хлебом все девять дней, пока на улицах Москвы шли бои. Там я узнавал новости от соседей из других кварталов. Крестьяне больше не приезжали на рынки, французские кареты "скорой помощи" ретировались на второй же день боев, и на улицах лежало много трупов. Отряд революционеров решил проникнуть в казармы французов и захватить батарею семидесятипятимиллиметровых пушек, но первого же, попытавшегося пройти через ворота, уложил на месте французский часовой. Тогда революционеры стали переманивать на свою сторону французских солдат, через ограду подговаривая их расправиться с командирами и отдать пушки. Французы усилили охрану и окопались, но во дворе казарм произошла стычка, потому что кое-кто из них сочувствовал большевикам. Французский комендант восстановил порядок и уведомил революционный комитет, что в случае новых атак не только не отдаст орудия, но именно из них сравняет город с землей. На улицах продолжались жестокие бои. Кадетская школа, расположенная на бульваре, почти сорок восемь часов отчаянно отбивалась от осаждавших ее толп революционеров. Везде высились баррикады, сооруженные из выкопанных из мостовой камней. Все городские киоски и афишные тумбы сломали и пустили на брустверы. Недалеко от Тверской, у правительствен-

ного дворца, четыре пушки, установленные вокруг какого-то монумента, палили на все четыре стороны света, прошивая картечью центр города. Их установили белогвардейцы в первые минуты боев, но потом захватили красные и, никуда не двигая, принялись стрелять из них и сеять панику, блокируя в домах противников революции, то есть всех, абсолютно всех, жителей этого богатого района, заполненного банками, дорогими магазинами, государственными учреждениями и домами аристократов.

Дом Ниты Хо был одним из тех стратегических мест, которыми воспользовались революционеры. Он стоял напротив церкви, с колокольни которой группа противников революции в упор стреляла по грузовикам с красными солдатами и вооруженными рабочими. Контрреволюционеры — видимо, профессиональные военные — заняли оборону, предусмотрительно огородившись со всех сторон, и убивали большевиков, раз за разом пытавшихся взять церковь. А в это время внутри находились верующие, они плакали и молились, утешаемые своими священнослужителями. Большевики заняли ближайшие дома, в том числе дом Ниты Хо, из которого лучше всего простреливалась колокольня церкви, и открыли встречный огонь по контрреволюционерам. В течение нескольких часов пули плотно летели с обеих сторон.

В какой-то момент и те и другие затихли, и верующие предприняли попытку выбраться из церкви. Ворота распахнулись, люди вышли во внутренний двор, столпившись, как овцы, вокруг празднично одетых попов, которые торжественно несли над головами священные иконы и реликвии. Бесформенной толпой, кто — с зажженными свечами, кто — с воздетыми руками, кто — ползком на коленях, неуверенно и робко побрели верующие за священниками. Шквальный огонь разом остановил эту податливую человеческую массу. Небольшая византийская икона с изображением Богородицы, которую высоко поднимал поп с большой белой бородой, упала и разлетелась вдребезги, вырванная из его рук метким выстрелом. Несколько несчастных, не проронив ни звука, упали на плиты двора. Под градом пуль толпа отступила и снова укрылась в храме. Тогда засевшие на колокольне контрреволюционеры возобновили отчаянную стрельбу. Они понимали, что теперь есть только одна возможность: дорого продать свои жизни. И они продали их дорого. Пока у них оставались патроны, они убивали любого, кто пытался выйти из укрытия. А из храма доносились надрывные рыдания, возгласы и крики ужаса тех, кто не имел отваги умереть в бою и стенал, как агнец, ожидая своего часа. И неумолимый час пришел.

Когда защитники церкви, наконец, прекратили стрелять, красные вошли внутрь и перебили всех, одного за другим.

Целую неделю, день и ночь, не смолкали над Москвой пушки, пулеметы и винтовки. <...> Через семь дней перерывы в стрельбе стали удлиняться. Теперь раздавались только одиночные выстрелы, да и то редко. <...> В какой-то день все полностью стихло, улицы опустели.

Когда я осмелился выйти из дома, безлюдный город еще напоминал о недавних событиях. Я решил пойти в сторону Кремля. На Тверской возле приоткрытых дверей подъездов появились первые группки зевак. Любопытные и испуганные, они вытягивали шеи и спрашивали редких прохожих: “Что происходит? Кто победил?”.

Это мы скоро узнали. По Тверской спускался патруль: вооруженные люди медленно шли посреди мостовой с винтовками за спиной, в дырявых, измазанных кровью шинелях, небритые, лохматые, некоторые босиком, другие без шапок, в разодранных на горле рубахах. Вся улица принадлежала им. Это шли победители. Это шли красные.

Их появление вызвало новую волну страха. Красные! Победили красные! Увидев патруль, первые же зеваки бросились врассыпную, передавая ужасную новость всем, кто выглядывал из подъездов: “Победили красные!”. Никто не хотел в это верить. Жители Москвы никогда не думали, что красные смогут взять верх. Двери и окна снова плотно закрывались.

И вот они, полноправные хозяева, стояли, широко расставив ноги посреди мостовой — винтовки на ремнях, папиросы в зубах — и улыбались свирепо и торжествующе. Победители довольно долго совещались, в какую из улиц свернуть на перекрестке. Увидев, что они преспокойно говорят между собой и курят, зеваки начали собираться группами на тротуарах и с благоразумного расстояния бросать на них злобные взгляды. Когда народу скопилось достаточно много, патрульные схватились за винтовки, побросали окурки и ринулись на тротуары, расшвыривая зевак прикладами. Никто этого не ожидал. Некоторые изумленно протестовали. Тех, кто протестовал, протыкали штыками и не глядя швыряли на землю. Солдаты, оставшиеся в центре мостовой, беспорядочно стреляли по окнам. Стало ясно, что они нарочно спровоцировали народ. Подобные прогулки красных по Москве очистили ее от контрреволюционеров за пару дней. Больше никто и никогда не смел попадаться им на глаза. Стоило пикету выйти на улицу, все разбегались: привлечь к себе внима-

ние красных означало вступить в игру со смертью. Тогда-то я впервые увидел матросов — они были хуже всех, самые кровожадные; во главе патруля всегда шел матрос, именно он первым хватался за винтовку, остальные, рабочие и солдаты, следовали его примеру.

Увидев все это, я быстренько унес ноги и вернулся домой. На следующий день я сумел дойти до Кремля. Улицы были заполнены патрулями, но они уже не бросались на прохожих, хотя их все равно старались обходить стороной. Здания на Лубянке были изрешечены пулями. По городу во все стороны сновали грузовики с солдатами. На улицах вновь появились французские кареты “скорой помощи”, они круглосуточно собирали трупы, которые потом сваливали в грузовики, везли к Москве-реке и бросали в воду с камнем на шее. Вокруг Кремля лежали дюжины убитых, результат кровопролитнейших боев. Мимо меня проехало несколько машин с трупами большевиков, расстрелянных в первые часы революции, когда белогвардейцы захватили Кремль; сдавшихся большевиков белогвардейцы заперли во дворе и стреляли по ним из трех-четырех пулеметов, пока не скосили всех до единого.

Я хотел пройти на вокзальную площадь, где тоже шли ожесточенные бои, но меня не пропустили через Красные ворота. Большевики заняли подходы к площади и никому не давали пройти, стараясь не показать, что они там натворили — как мне сказали, они устроили там кровавую расправу, настоящую бойню. <...>

В Петровском парке стояли лагерем внушительные отряды большевиков. Они вырубили множество деревьев, по вечерам их часовые ставили на пень свечу и всю ночь играли в карты. Случалось, пролетала пуля. Игроки вскакивали, задували свечу, заряжали винтовки, и горе тому, кто в этот момент попадался им на глаза!

Вот так, в одночасье, мы попали в советский режим. Жители каждого дома выбирали на собраниях домовый комитет. Большевики обходили каждый дом и объясняли жильцам, что нужно делать. Домовый комитет избирал комиссара. В мгновенье ока мы оказались в другом мире. Теперь дом принадлежал нам, жильцам, домовладельцев больше не было. Их упразднили. <...> Но лучше бы мы продолжали платить домовладельцу. Домовый комиссар по указанию большевиков составил список жильцов и определил их обязанности. Первая и главная обязанность состояла в охране жилья от грабителей. Москву наводнили уголовники, которые вышли из тюрем, вооружились и, пользуясь полной безнаказанностью,

нападали на дома, убивали тех, кто сопротивлялся, уносили все, что им заблагорассудится. Комиссар обязал всех физически крепких мужчин вооружиться и охранять дом.

Дежурили по очереди, сменяясь каждые два часа. У нас был строгий приказ любой ценой не впускать в дом вооруженных людей, ни штатских, ни военных: бандитами могли оказаться и те и другие. Приказ предписывал немедленно свистеть в специально выданный свисток, чтобы уведомить комиссара; но, если гости не реагировали на слова и пытались войти до того, как спустится комиссар и проверит их полномочия, нам следовало обороняться и не пускать их в дом, пока не подоспеют вооруженные соседи.

Я дежурил с одиннадцати до часа ночи. В подъезде поставили топчан, на нем я два часа дрожал от холода и страха, положив поблизости ломик и сжимая в кармане нож — все мое оружие. Каждый раз, когда через запертую на засов дверь я слышал шаги очередного патруля, я хватался за ломик и принимал боевую позу. Патруль, слава Богу, всякий раз проходил мимо, но, пока не стихали шаги, я стоял неподвижно, подобравшись, с железякой в поднятой руке, со свистком в зубах, и пытался себе представить, какая стратегия, какие чудеса храбрости помогут мне отбиться ломиком и ножом с рукояткой из козьей ноги от десяти-двенадцати красных матросов с винтовками и штыками. В темном подъезде, выгнув спину, как кот, и подпрыгивая, как обезьяна, я в тысячный раз репетировал сцену, которая должна была разыграться, когда патруль вышибет дверь прикладами, но, честно говоря, какими бы надеждами я себя ни тешил, какие бы смертельные выпады ни изобретал, возможности остаться в живых до тех пор, пока комиссар наденет штаны и спустится мне на помощь, я не видел.

Комиссар дома выдавал жильцам хлебные карточки, но те, кто не дежурил, не получали ничего. Так мы и жили в первые дни большевистского режима. Четыре часа изображаешь героя в подъезде, четыре часа торчишь в очереди за хлебом, еще четыре проводишь в стычках с соседями на ежедневных собраниях совета жильцов и круглые сутки дрожишь от страха, жуткого страха, не отпускающего тебя ни на минуту. Без всякого сомнения, платить аренду домовладельцу было бы куда удобнее.

10

Большевики полагали, что смогут нахрапом переделать жизнь на свой вкус. Они во все совали нос и работали с такой страстью и энтузиазмом, что невольно вызывали симпатию. Труди-

лись день и ночь, с винтовками патрулировали улицы, сидели в убогих конторах, каракулями заполняя карточки, пропуска, ордера на обыск, разрешения и запреты, пока не падали от усталости, истощенные, с безумными, словно стеклянными от перевозбуждения и недостатка сна глазами. Они засыпали посреди улицы, опершись на винтовку с примкнутым штыком, в конторе, уронив одуревшую голову на стол, покрытый бумажками, объедками черного хлеба и лужицами разлитого чая, из которых пили мухи. На них страшно было смотреть! Но не стоило впадать в умиление. Когда после недолгого сна они снова брались за дело, их враждебность и жестокость наводили ужас на тех несчастных, которым приходилось иметь с ними дело. Раздражительные, буйные, исступленные, они пристреливали и отправляли в тюрьму практически ни за что. Вот так, из последних сил, на сонную голову, в злобе и страхе — а боялись они сильно, это было заметно, — они тщетно пытались навести порядок в делах и одним махом решить бесчисленные конфликты с голодным, враждебно настроенным, доведенным до отчаяния народом, возникавшие на каждом шагу. Они даже друг с другом не ладили: то, что в одном месте запрещали, в другом разрешали; каждый большевик устанавливал свои законы, руководствовался только ими и старался их исполнять, но за ним приходил другой и, угрожая винтовкой, требовал противоположного. Сначала мы пробовали приспособиться, подчиниться, с точностью выполнять приказы патрулей, ходивших по домам и диктовавших свою волю, но очень скоро поняли, что гораздо разумнее на все соглашаться и всячески избегать этих безумцев, которые из кожи вон лезли, чтобы добиться своего, не очень понимая, чего именно хотят, и отыгрываясь на окружающих. Покорность не спасала. Бесполезно было что-то клянчить у комиссаров, которые сами не знали, на каком они свете. И пристреливали как тех, кто им подчинялся, так и тех, кто не подчинялся. Когда в доме установили дежурства, комиссар домового комитета стал раздавать карточки на хлеб: пять маленьких хлебов на человека. Стоять в очереди приходилось по шесть-восемь часов, и каждого, кто хоть на минуту отлучался, какова бы ни была причина, в очередь больше не пускали. Я простоял в этой очереди пять дней и не получил ни куска хлеба: он заканчивался до меня, булочную закрывали, и приходилось с надеждой ждать завтрашнего дня. Несколько дней спустя комиссар начал выдавать карточки на другие продукты — их надо было получать в кооперативах. Большевики уверяли, что они появятся со дня на день, а пока что люди умирали от голода с карточками на руках. Продукты действительно оставались даже на старых складах, но их конфисковали, и у

дверей каждого склада стоял часовой, безжалостно стрелявший в тех несчастных, которые пытались туда проникнуть. Большевики в спешке проводили инвентаризацию, конфискацию, транспортировку и устройство кооперативов, но народ умирал, несмотря на их благие намерения. Если бы не спекуляция, вымерло бы все население Москвы. Спекуляция! Никто из тех, кому не довелось побывать в России во времена революции, не знает, что это такое. Самая страшная вещь на свете. Люди оказались между молотом и наковальней: либо помирай с голоду, дожидаясь, пока большевики создадут свои кооперативы, либо рискуй попасть под расстрел за контрреволюционную деятельность. Некоторые предпочитали умирать постепенно, другие шли на смерть, занимаясь тайной торговлей. И тех и других неминуемо ждал одинаковый конец. <...>

Большевистских комиссаров с каждым днем все больше раздражали спекулянты. Наказание за частную торговлю становилось все жестче, и вскоре уже человека расстреливали за купленную или проданную корзинку яиц. Но ничего не помогало. Чем строже карали спекулянтов, тем выше они вздували цены. <...> За приемлемые деньги можно было купить только овощи, поскольку крестьяне еще приезжали в Москву, но вскоре и крестьян большевики отпугнули своей маниакальностью. И мы окончательно остались без еды.

Это была тяжелейшая, голодная, холодная зима. <...> Когда закончились деньги и керосин, жители дома, чтобы не замерзнуть до смерти, начали жечь все, что сделано из дерева. Срывали двери, паркет, перила, ступени лестниц, кололи все это на щепки и топили ими печи. Если бы дело и дальше так пошло, то к весне в Москве не осталось бы ничего, кроме каменных стен. Комиссарам домовых комитетов пришлось взять на себя ответственность за охрану деревянных частей всех помещений; жесточайшими карами начали преследовать тех, кто их жег.

Мы оказались в таких обстоятельствах, когда смертная казнь за то, что ты голодаешь и мерзнешь, стала обыденным делом.

11

С первых минут революции было ясно, что большевики намерены стать полновластными хозяевами. Сначала рабочие, крестьяне и беднота, все неимущие, верили, что будут командовать в стране, что именно они ею управляют, но большевики сразу дали понять, что командуют здесь они и только они, партийные функционеры. Они избавлялись от любого чужака, будь он хоть трижды трудяга и пролетарий. Когда началась ре-

волюция, в России существовало одиннадцать политических партий. Я в них не очень разбирался и не знал, за что выступает каждая из них. В революции участвовали три. Одна, партия анархистов, была очень сильной, сильнее партии большевиков, и в первые недели имела такой же, если не больший политический вес. Начались конфликты. Вскоре, когда мы были еще в Москве, между ними разразилась настоящая битва. Она велась и явно, и тайно. Однажды в большом здании на углу Тверской собрались на совещание все руководители анархистов. Ходили слухи, что они обсуждали способы устранения большевиков. Узнав об этом, большевики, как говорится, обошли соперника на повороте. Они привезли четыре пушки, потихоньку расставили их вокруг здания, где заседало руководство анархистов, и, недолго думая, с четырех сторон открыли огонь. Примерно так же обстреляли в Севилье таверну "Камелия", где собирались севильские анархисты, но с той разницей, что из здания на Тверской, на тот момент — настоящего людского муравейника, не провели эвакуацию.

Когда разбитый снарядами дом начал рушиться, несчастные анархисты — те, кто еще не погиб, — бросились бежать, как крысы, но большевики, расположившись вокруг, перестреляли их из винтовок. Анархизм закончился. Исчез без следа.

В те времена из Минска приезжал некий таинственный субъект. Этот удивительный тип пользовался особыми привилегиями и мог беспрепятственно курсировать между Москвой и Минском, пренебрегая всеми запретами и препонами, установленными как большевиками, так и немцами. Он занимался тем, что вызволял людей из России и переправлял за границу через немецкую демаркационную линию. <...>

Мы заключили с ним соглашение: за довольно кругленькую сумму он обещал освободить нас из большевистских когтей и доставить, целыми и невредимыми, в Минск, под защиту германской оккупационной власти. С нами решили ехать сестры Рамирес и их отец, единственные испанские артисты, остававшиеся в России. Уже на вокзале мы поняли, что таинственный человек из Минска вел дело с размахом: его сотрудники проводили нас в вагон, выдали нам необходимые документы, рассказали, как нужно отвечать на вопросы красных пограничников и все время находились рядом. Думаю, человек из Минска подкупил всех большевиков поголовно. <...>

Когда поезд тронулся, нам сообщили, что разрешается вывозить не больше пятидесяти рублей на человека. Паника началась страшная: ведь все везли гораздо больше, некоторые — огромные суммы. Наша землячка Рамирес упала в об-

морок: у нее в подкладку пальто было зашито несколько тысяч рублей, все ее состояние. От страха она заболела какой-то скоротечной смертельной болезнью. Вскоре, уже в Польше, бедняга скончалась.

Недалеко от Минска, на пограничной станции, большевики провели обыск. Мы рассовали деньги, куда хватило фантазии. Я спрятал свои сбережения в механизм часов. Но обыск прошел формально: таинственный человек предупредил нас, что если мы соберем и заплатим с каждого определенную сумму, то пограничники не станут даже в наши чемоданы заглядывать. Так и вышло.

12

Между большевистской Россией и российской территорией, оккупированной немцами, существовала нейтральная зона, которую нужно было пересечь пешком. На этой вспаханной снарядами земле война оставила множество следов: разбитые повозки, неразорвавшиеся снаряды, искореженные орудия и бесформенные клубки колючей проволоки. В нейтральной зоне была деревня, в которой не уцелело ни одного дома. Жители разрушенной деревни и несколько тысяч беженцев со всей России собрались в этой братской могиле в надежде, что немцы разрешат им перейти границу, и жили лагерем в палатках и убогих шалашах, построенных из мешковины, ковров и занавесок. Несчастные люди мокли под дождем и снегом, спали прямо на земле и надрывно кашляли, в то время как их жалкий скарб потихоньку растворялся в грязи. Недалеко от этих скорбных лагерей проходила демаркационная линия немцев, обозначенная колючей проволокой, и через каждые десять шагов часовой отгонял молящих о милосердии беженцев, пиная их прикладом, как прокаженных. Один отчаявшийся человек, на глазах у которого в этой трясине умирали жена, мать и дети, попробовал перепрыгнуть через проволоку. Немецкие часовые подстрелили его на месте.

Благодаря таинственному человеку из Минска нас беспрепятственно пропустили на станцию, также оцепленную колючей проволокой, и мы сели в ближайший поезд до Минска, оказавшись вне досягаемости большевиков, под защитой германских оккупационных войск. А на границе остались тысячи российских беженцев, отказавшихся жить под властью Советов — их пожирала лихорадка и били прикладами немецкие часовые, строго соблюдавшие санитарный кордон.

Сначала мы не могли найти работы. Пришлось проситься в кабаре “Зимний сад” на любых условиях. Но уже через две недели

мы завоевали кабаре, да и весь Минск. Какой же это был успех! Мы пробыли в Минске три месяца, и с каждым вечером покоряли публику все больше и больше. <...> На благотворительном вечере мы дали великолепное представление и собрали четыре с половиной тысячи рублей; хозяйка от переполнявших ее чувств подарила нам букет цветов высотой в человеческий рост. В те дни я подружился со многими немецкими офицерами, мне предлагали контракт со знаменитой берлинской "Скалой", это могло бы нас спасти, но нам на роду было написано пережить все беды несчастной России: мы отказались, решив ехать на юг, на Украину, где не было большевиков, где жизнь была дешевой, куда сбежались все аристократы и богачи. В Германии в то время день ото дня становилось все хуже и хуже, из-за блокады стало пропадать продовольствие. Короче, мы совершили еще одну ошибку. В Минске под властью немцев жилось совсем неплохо, хотя русские постоянно жаловались, потому что с ними обращались, как со скотом. <...>

Однажды на вечеринке немецких офицеров я познакомился с князем Владимиром Оболенским, офицером царской армии, богачом, настоящим аристократом, добрым малым, выпивохой, волокитой, игроком, и к тому же щедрой натурой. Он сорил деньгами и жил, как те сказочные принцы, которым все по плечу и для которых нет иного закона, кроме своих желаний. Его всегда окружала компания известных всему Минску офицеров.

Мы с князем стали большими, почти близкими, друзьями. Не думайте, что наша дружба ограничивалась его визитами в кабаре и азартными играми. Нет. Он возил меня к себе домой, часами приятельски со мной разговаривал. Князь гордился своей дружбой с испанским королем и однажды вручил мне для него письмо со словами:

– Когда вернешься на родину, это письмо откроет тебе двери королевского дворца, и тебя примет Альфонсо, мой друг Альфонсо.

Я не смог это проверить: письмо пришлось порвать еще в России из страха, что его найдут большевики и расстреляют меня только за то, что я его хранил. Но думаю, мой друг князь не лгал, ведь я своими глазами видел его награды и среди них – испанский орден высочайшего достоинства. Но одно письмо за подписью князя, которым я все же сумел воспользоваться, открыло мне двери нескольких посольств. Как сложилась судьба князя? Последний раз я видел его в России в довольно тяжелых обстоятельствах, в которых он оказался из-за большевиков. Об этом я еще расскажу.

С разрешения немецкой комендатуры мы выехали из Минска в Киев, поскольку нам казалось, что это благоразумнее, чем ехать в Германию. В Киеве большевиков не было и как будто бы не предвиделось. Один немецкий майор подарил мне на прощанье несколько пачек макарон, чая, шоколада и даже бутылку коньяка. Путешествие прошло гладко, и, благодаря рекомендациям, полученным в немецкой комендатуре, мы избежали всех придирок и пинков, которые доставались русским от немцев. Границу с Россией перейти было не так просто. Увидев, что многих пассажиров возвращают назад, я вложил в паспорт пятидесятирублевую бумажку и с самым невинным видом протянул документы полицейскому. Средство оказалось магическим: мы прошли первыми и без малейших осложнений.

Когда мы вновь увидели Киев, город показался нам самым оживленным и радостным городом в мире; в Киеве укрывались от большевиков все богачи России, и найти жилье было очень трудно. По улицам ходили нарядные толпы, рынки ломились от товаров, а шикарные рестораны — от посетителей, в кафе и кондитерских невозможно было протолкнуться, на каждом углу открывались казино. <...> Жизнь была дешевой, о большевиках никто и не вспоминал.

Однако в кабаре "Аполло", куда мы пришли устраиваться на работу, нас ожидало революционное новшество. Импресарио теперь не было, кабаре принадлежало то ли обществу, то ли местному совету официантов, делившему заработки между собой. Поскольку все гостиницы и пансионы были заняты богатыми русскими беженцами, цены безбожно подскочили, и нам пришлось поселиться в артистической уборной "Аполло". В Киеве царила такая неразбериха и сумятица, что он казался городом сумасшедших: каких-то товаров в нем было с избытком, каких-то не хватало; на первый взгляд, все выглядели миллионерами, и в то же время кругом проглядывала чудовищная нищета. Ты мог упиться французским шампанским, а наутро ни за какие деньги не найти куска хлеба.

Отработав сезон в киевском "Аполло", мы поехали в турне по Украине, выступали в Харькове, Гомеле, Ростове и Кременчуге. По всей Украине никто не верил в большевиков, но чувствовалась растущая напряженность, ходили слухи, что грядут беспорядки, что в деревнях голод. Новости с севера о правительстве большевиков никого не интересовали. Все думали, что эти истории с Советами касаются только рабочих Москвы и Петрограда, которые скоро так или иначе плохо кончат. Украинцы посмеивались над большевиками, но украинское правительство собирало вокруг Киева войска.

Тогда впервые прозвучало имя Петлюры, возглавившего украинскую армию.

А мы тем временем преспокойно выступали в Кременчуге, куда не доходила ни единая тревожная новость. В Кременчуге люди по-прежнему жили при царских порядках, при полном социальном расслоении, как во времена монархии; здесь все было не так, как в Киеве, где, несмотря на ненависть к большевикам, революция полностью изменила жизнь.

Однажды ночью, пока мы работали, у нас украли баул. Для нас это было катастрофой: в нем мы хранили все наши сбережения, около девяти тысяч рублей. Когда мы пришли с заявлением в полицию, полицмейстер страшно огорчился и пообещал найти наш баул любой ценой. Цена заключалась в ста палочных ударах, которые получал каждый несчастный, задержанный здоровенными жандармами по малейшему подозрению, и таких оказалось немало. Что за маниакальная страсть к рукоприкладству! В конце концов, баул нашелся, но не деньги — их воры не вернули, несмотря ни на какие побои. <...> Я вернул себе музыкальные инструменты, костюмы и грим, но остался без копейки.

И тут до Кременчуга дошла страшная новость, в которую никто не мог поверить: Киев в руках большевиков. Повсюду забили тревогу, и мы, конечно, тут же лишились работы. При помощи друзей я смог собрать достаточную сумму, чтобы уехать в Гомель — город, который я уже знал и в который нас пригласили.

13

Большевики приближались. Казалось невероятным, чтобы отряды этих безумцев с московских и питерских заводов добрались со своими революционными экстравагантностями до сердца исконной России, до безмятежных, сытых южных губерний, так почитавших старину, влюбленных в имперское величие, и, тем не менее, войска большевиков приближались. Вскоре после того, как мы уехали из Кременчуга, его заняли красные. Пал Киев. Я не мог придумать, куда бежать от большевиков, и не из-за своих политических убеждений, которых у меня отроду не было, а из-за того, что большевики — хоть хорошие, хоть плохие — считали артистов кабаре людьми, недостойными существования, и мечтали нас побыстрее истребить.

Мы поехали в Гомель, последний оплот комфортной, благополучной, сытой жизни. Здесь мы надеялись застать роскошные кафе, кондитерские с великолепными сливочными пирожны-

ми по десять копеек, бравых офицеров, соривших деньгами в кабаре, сентиментальные песенки толстухи Аноны. С виду все казалось прежним, но подспудно ощущалось революционное брожение. Нас взяли на работу в "Splendide"[1], шикарное кабаре, которым управлял пожилой отставной офицер из очень хорошей семьи, вынужденный из-за революции оставить службу и взяться за эту работу. Мы имели успех и наслаждались всеми прелестями сытой жизни — увы, в последний раз. Больше никогда не придется нам попробовать сливочных пирожных, больше никогда не будут нас заваливать цветами и не пригласят пить шампанское. Приближались большевики. <...>

Многие семьи бежали из Гомеля — усадьбы спешно запирались, лучшие клиенты кабаре исчезали.

Наконец пришлось закрыть и кабаре. В его помещении хозяин организовал игорный дом, и я, чтобы не умереть с голоду, сменил специальность, спрятал куртку-болеро и кастаньеты до лучших времен, взял напрокат смокинг и превратился в крупье. В казино приходило много офицеров, и дела шли хорошо. <...>

— Rien ne va plus[2], — выкрикнул я как-то вечером, восседая на месте крупье, когда в зал вошел какой-то офицер и стал шушукаться с хозяином. После этого в здании началась суета. Откуда-то притащили пулеметы и установили в тех окнах, которые выходили на улицу. <...> Среди всеобщей суматохи дверь распахнулась, и в нее вихрем влетел человек, которого я меньше всего ожидал здесь увидеть: мой добрый друг Владимир Оболенский. Расстроенный и злой, он скрипел зубами от отчаянья и бессилия. За ним вошли два-три ординарца, он отдавал им торопливые и сбивчивые распоряжения, постукивая хлыстом по ноге, перемежая речь отборной бранью. Князь бежал от большевиков и собирался в Гомеле сесть на поезд, который довез бы его до границы, но, приехав в город, выяснил, что отряды большевиков удачным маневром перерезали железную дорогу, и поезда больше не ходят. Чтобы не попасть в руки подходивших к городу красных, ему оставалось только немедленно бежать через степь и попробовать спастись, пользуясь последними предрассветными часами. Ординарцы пошли искать лошадей. Ожидая их возвращения, князь метался по залу, бормоча проклятья. Поначалу он был так заведен, что даже не обратил на меня внима-

1. "Великолепный" (*франц.*).
2. Ставки сделаны (*франц.*).

ния. Но, наконец, признал, мы обнялись, и он немного успокоился. Князь обрисовал мне ситуацию. <...> Он вез важнейшие документы, которые не мог здесь оставить: попадись они в руки большевикам, случилось бы непоправимое; кроме того, при нем была внушительная сумма денег в иностранной валюте, в основном — в швейцарских франках.

В какой-то момент казалось, что все пропало. Ординарцы вернулись с известием, что лошадей нет, а большевики уже перекрыли все выезды из города. Князь совсем пал духом, отвел меня в сторону и быстро сказал, положив руку мне на плечо:

— Ты мой друг. И не раз говорил, что гордишься нашей дружбой. Пришло время делом доказать слова. Возьми эту папку с документами и деньгами и храни до моего возвращения, если я вообще вернусь. Если нет, уничтожь документы, а деньги оставь себе. Здесь пятьдесят тысяч швейцарских франков. Я надеюсь одурачить коммунистов, выбраться из этой мышеловки и пешком дойти до надежного места. Придется устроить маскарад с переодеванием, меня бу́дут обыскивать, и я не могу нести папку с собой. Поклянись, что не отдашь ее большевикам.

Я боялся брать папку, потому что, найди ее у меня большевики, мне пришел бы конец, но отказаться тоже не мог, и согласился. На мое счастье в этот момент появился один из ординарцев с четырьмя лошадьми и проводником, который обещал вывести князя из города. Обняв и расцеловав меня в обе щеки, князь взял папку, вспрыгнул на лошадь, и его поглотила тьма. Вдали, отмечая путь беглецов, залаяли собаки. Мы услышали выстрел, потом, чуть дальше, другой, потом еще несколько. Что стало с князем? Но долго беспокоиться о нем нам не пришлось. Случайно выглянув в окно, я увидел в центре площади группу людей, беседовавших под фонарем. Площадь тонула во мраке, видны были только силуэты со зловещими очертаниями винтовочных стволов, и крошечные огоньки сигарет. Эти тихие, неподвижные тени, незаметно, без всякого насилия овладевшие главной площадью города, означали не что иное, как триумф большевизма. Прощай старый буржуазный мир! Князья, разбитые без боя, галопом удирали через степь, а здесь оставалось гражданское население, обычные люди, которые ни во что не вмешивались и с ужасом смотрели через щели в занавесках на новых хозяев России.

Оглянувшись, мы увидели, что остались одни. Офицеры исчезли. Не было никого и ничего, кроме меня, двух клоунов, еще одного пожилого крупье и пулеметов, из которых никто не посмел стрелять, — их дула целились в темные фигуры, стоявшие на площади под фонарем. На цыпочках, взяв-

шись за руки, как в сарсуэле, мы вышли на улицу и, прижимаясь к стенам, тихонько разбежались по домам. Я, два клоуна и старик-крупье. Все, что осталось от буржуазии, на которую мы надеялись до последней минуты.

Проснулись мы уже под сенью серпа и молота, символа победивших Советов. На всех домах в Гомеле развевались красные флаги, большевики взялись за переделку мира на советский лад, чем занимаются и по сию пору. Магазины, базары и кафе утром не открылись, но днем патрули заставили хозяев открыть кое-какие торговые точки, предварительно конфисковав у них все предметы роскоши и товары не утилитарного назначения. Патрули ходили из дома в дом, обнюхивая каждый угол в поисках скрывавшихся царских военных и известных контрреволюционеров. Несколько человек они расстреляли. <...>

Через двенадцать часов после прихода красных все товары в Гомеле были конфискованы, а к дверям магазинов стояли очереди. Тут им не было равных. Одновременно велись аресты контрреволюционеров, конфискация, выдача пропусков и организация митингов. Митинговали везде и в любое время суток: в кафе, на перекрестках, во дворах, даже в гостиных и спальнях тех домов, в которых они поселились. Распределять карточки и произносить речи — на это они были мастера. А вот накормить людей — другое дело. Сначала они не слишком третировали гражданское население и раздавали всевозможные обещания. Беда пришла, когда начались конфискации в деревне. Большевики забирали все: муку, пшеницу, ячмень, скот, телеги. Красная армия голодала и воевала в лохмотьях, не хватало лошадей и транспорта.

Военные разбили лагерь позади больницы, рядом с нашим домом. Они произвели на нас более благоприятное впечатление, чем в Москве. Многие большевистские солдаты служили офицерами в царской армии и перешли на сторону Советов. Постепенно подходили новые и новые войска, подтягивались силы для защиты от неизбежной атаки украинской армии под командованием Петлюры, спешившей в Киев из Харькова. В те дни территория Украины напоминала мишень для стрельбы с красными и белыми кругами — круги вокруг Киева отмечали зоны, подконтрольные красным и белым.

Большевики объявили всеобщую мобилизацию. Они призывали в армию всех, кто мог пригодиться, без лишних выяснений давали в руки винтовку и отправляли на стрельбище. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали на месте. Оказалось, что в армии красных, в большой мере состоявшей из царских офицеров-инструкторов и принудительно мобилизованных

рабочих и крестьян, нелегко найти настоящего большевика. Хотя множились они, как грибы, — что правда, то правда.

Я в очередной раз остался без работы и простаивал в очередях за хлебом. Музыканты из кабаре организовали общество под названием “Филармония” и под его эгидой начали давать концерты в кинотеатре “Художественный”, поэтому я смог к ним присоединиться и узаконить свой пролетарский статус. Но при большевиках в Гомеле делать было нечего. Благодаря удостоверению музыкального общества, подтверждавшему, что мы артисты и зарабатываем на жизнь своим трудом, нам удалось раздобыть разрешение на проезд в советском поезде до Киева. Туда мы и уехали.

14

Что здесь произошло? — спрашивали мы себя, впервые оказавшись в большевистском Киеве. Мы привыкли видеть этот город богатым и аристократичным, с роскошными магазинами, парками, дворцами и кипучей жизнью, одним словом, гордостью России, и вдруг обнаружили нищету, дома без света и пустые витрины, наглухо запертые особняки, пустынные улицы, редких, плохо одетых, избегавших друг друга прохожих, удручающе напоминавших нищих. Мне даже пришло в голову, что все киевляне по чьему-то приказу надели костюмы побирушек. Но деваться было некуда. Мы вошли в вокзальный буфет и заказали кофе. Нам подали его с карамелькой: сахар исчез навсегда. Уличные кафе были закрыты, в гостиницах жили солдаты Красной армии, которую формировали в Киеве для защиты от войск атамана Петлюры. Улицы наводнили патрули, на каждом шагу проверявшие документы. После долгих скитаний нам удалось снять номер в гостинице на Крещатике за ту цену, которую нам заломили. Большевики развернули такую полицейскую деятельность, что во избежание обысков и ареста мы повесили на дверях документ, выданный испанским консульством и заверенный большевиками, где указывалась наша национальность и статус рабочих. Но жизнь все равно стала невыносимой. Большевики не давали продохнуть. Те, кто не был большевиком и не служил им, считались париями, собаками, не заслужившими ничего, кроме пинков. В любой момент ты мог стать жертвой любого произвола и, без сомнения, никогда не нашел бы на них управы. Советский режим был очень хорош — но только для большевиков.

Из гостиницы на Крещатике нас выкинули через несколько дней, дав на сборы два часа, потому что властям нужно было размещать войска, лавиной прибывавшие в Киев. Действи-

тельно, у дверей гостиницы человек триста красноармейцев ожидали, растянувшись на тротуарах, когда жильцы освободят свои номера. Нам даже не позволили толком собрать пожитки, и не успели мы закрыть чемоданы, как в нашу комнату ворвалось девять солдат: ни на что не взглянув, они побросали свои котомки и рухнули спать по углам. Один, самый доброжелательный, а может, меньше всех уставший, помог нам отнести вещи вниз; так мы, не успев понять, что к чему, оказались на обочине тротуара со своим баулом, без денег, без малейшего представления о том, куда идти.

Осознав, что мы, как бездомные псы, стоим на семи ветрах, под открытым небом, Соле, всегда более решительная, чем я, поставила вопрос ребром:

— Так продолжаться не может, Хуан. Мы изо всех сил старались жить по-человечески, как жили всегда, но так мы точно пропадем.

— И что я могу сделать?

— Прекратить заниматься ерундой и жить, как все. Мы здесь больше не артисты, не испанцы, не буржуи, никто. Здесь ни у кого нет права на пропитание, кроме пролетариев и большевиков, а мы теперь пролетарии и большевики похлеще прочих.

— Соле, но как? Я не могу взять револьвер и заняться конфискацией просто потому, что я угнетенный пролетарий.

— Ты можешь поступить, как наши земляки. Вельдемар и Вико тоже артисты, они работают на Советы, и им хорошо платят. Клоуны Армандо и Сереп вступили в профсоюз артистов цирка, который занял здание “Гиппо-Палас”, и живут припеваючи в квартире бывшего импресарио.

— Я не вижу способа организовать профсоюз артистов кабаре и оккупировать какое-нибудь из них. Ты ведь знаешь, что большевики и слышать не хотят о кабаре.

— Мы можем стать артистами цирка. Вступим в профсоюз, будем служить большевикам, как им нравится, и пусть они нас кормят. Не хотим же мы умереть с голоду только потому, что нам не повезло родиться большевиками. Мы и в Испании не родились сеньорами, но ублажали их, чтобы заработать на хлеб.

И мы отправились в “Хиппо-Палас”. <...>

Благодаря помощи нашего земляка, клоуна Серепа, который стал важной шишкой в цирковом профсоюзе, нам удалось поселиться вместе с остальными артистами цирка. <...> Профсоюз организовывал концерты под опекой большевистских властей, а выручка делилась между всеми. Меня назначили

кассиром, и я тоже получал свою долю. Однако всем артистам присвоили категории. Определяли их на профсоюзных собраниях при помощи системы баллов. Я состоял в профсоюзе, но категории не имел.

Наш профсоюз активно поддерживал коммунистов. Сначала в партии не числился никто, кроме борцов греко-римского стиля, но постепенно большевиками стали многие, некоторые даже заняли важные должности в советской бюрократии. Один японец-жонглер пошел работать в ЧК[1]. Некоторые стали комиссарами.

Когда войска атамана Петлюры подошли совсем близко и большевикам понадобились дополнительные силы, нас мигом призвали в армию. На фронт отправили рабочих всех профсоюзов Киева, но нас, цирковых, хоть и мобилизовали, определили на работу в тылу. Вот так, нежданно-негаданно, я в одночасье стал красноармейцем. Оружия у нас не было. Все наше вооружение состояло из бумажки, подписанной и выданной нам советскими властями вместе с назначением. Некоторые циркачи приняли свои роли красноармейцев очень близко к сердцу, защищали революцию с оружием в руках и остались служить в армии. Я благоразумно не заходил далеко. Делал то, что приказывали, старался никому не вредить и терпеливо наблюдал за происходящим. <...>

В жизни случаются сюрпризы: никто не ожидал, что украинская армия под командованием Петлюры предпримет такую яростную атаку на Киев, застанет красных врасплох и не оставит им шансов. Под прикрытием пушек, стрелявших с другого берега Днепра, петлюровцы ворвались в город со стороны вокзала, и красные, не ожидая этого, побежали без оглядки. <...>

Обстрел продолжался не больше двух часов: с четырех до шести утра. В семь в Киеве все стихло. Пушки Петлюры замолчали, последние большевики поворачивали за угол и бежали в сторону Подола, еврейского района Киева, в котором шла погрузка на корабли. <...>

15

Когда народ понял, что большевики ушли вверх по реке, на улицы выбежали радостные толпы людей. Красной тирании пришел конец! Как по волшебству исчезли печальные и угрю-

1. Речь идет о Я. Масакити, славившемся своей жестокостью даже среди чекистов.

мые лица, убожество и лохмотья. Довольные, воспрянувшие духом люди собирались группами у подъездов, толпились на балконах и на тротуарах, делясь доброй вестью об освобождении. Большевики сбежали! Снова открывались кафе и вспыхивали витрины. Все городское население в праздничных нарядах высыпало на улицы, чтобы торжественно встретить освободителей.

В полдень в Киев вступила Украинская националистическая армия и под восторженные крики горожан продефилировала в сторону Думы. Во главе ее ехал верхом сам ата́ман Петлюра с висящей, как плеть, окровавленной левой рукой. Его конь с пятнами крови на груди и ногах выглядел так, как должен выглядеть конь легендарного героя. Девушки осыпали атамана цветами, представители города встречали его хлебом и солью. С балконов и из окон его приветствовали ликующие горожане.

Только в еврейском квартале на Подоле улицы оставались пустыми, а окна запертыми. Правда, старые раввины Подола вышли в своих длинных черных пальто приветствовать победившего атамана, но это не помогло. Едва закончилось шествие, солдаты Петлюры, как бешеные псы, набросились на Подол, убивая всех без разбора, разграбляя дома, нанизывая на штыки спрятавшихся большевиков. Это была жуткая бойня. <...>

Командиры поначалу предоставили своим подчиненным полную свободу расправляться с евреями, друзьями и укрывателями большевиков, но солдаты творили такие зверства, что днем командирам пришлось приехать на машине на Подол и наводить порядок. Пьяная от крови солдатня отказывалась подчиняться, и офицерам, чтобы вырвать несчастных жертв из их когтей, приходилось прибегать к помощи револьверов.

Мне было страшно. Людей Петлюры было не унять, а ведь я числился красноармейцем. Простой донос мог стоить мне жизни. Конечно, я вступил в профсоюз артистов цирка, чтобы не умереть с голоду, но, поскольку большевики поставили всех членов профсоюзов под ружье, то белые могли расстрелять меня в любую секунду. Многих несчастных расстреливали и не за такое.

Кроме того, при непрекращающихся погромах, когда достаточно было быть евреем, чтобы тебя убили, как собаку, моя длинная, смуглая и броская физиономия никак не гарантировала мне благосклонности этих зверюг казаков. Меня везде принимали за еврея, и каждый раз я обмирал со страха. <...>

Однажды утром поднялась всеобщая тревога. Большевики атаковали небольшой городок по соседству с Киевом. Петлюровцы отправили туда подкрепление, сражение было кровопролитным. Когда под нажимом Красной кавалерии Буденного украинцам все же пришлось отступить, они подожгли городок, и он сгорел дотла.

Петлюра уже никакими силами не мог удержать Киев и начал эвакуацию. Ее провели с безупречной организованностью. Пока офицеры сдерживали большевистские отряды, были вывезены военные документы и провиант. Петлюровцы забрали все: на следующий день после их ухода в Киеве уже не было ни зернышка пшеницы.

Они даже организовали эвакуацию гражданского населения для тех, кто не хотел оставаться под властью большевиков. В город пригнали множество грузовиков, в которых ехать разрешалось любому гражданскому лицу, но брать с собой багаж не разрешалось. Я уже хотел, было, доехать с ними до Одессы, но в последнюю минуту передумал. И на свое счастье: через несколько дней мы узнали, что эти караваны машин захватили красные и перестреляли несчастных беженцев всех до единого. <...>

16

Не прошло и месяца, как белые снова захватили Киев. На этот раз петлюровцы вернулись вместе с белогвардейской армией, сформированной на юге страны под командованием генерала Деникина. Первыми прибыли эти ужасные кавказцы, вооруженные кривыми, как ятаган, ножами, которыми они с невиданной жестокостью рубили головы налево и направо.

Белые атаковали в тех же местах, что и в прошлый раз, но большевики не ушли из города во время обстрела, они устояли и бросились в рукопашный уличный бой — жуткое было зрелище. Бой шел три дня. Тысячи человек погибли с обеих сторон, сражаясь за каждый клочок земли. На четвертый день белые стали брать верх, оставшиеся в живых большевики отступили в еврейский квартал, где держались еще несколько часов, прикрывая отход своих частей в сторону Кременчуга.

Киевляне снова радостно встретили белогвардейцев: поднесли им ритуальные хлеб и соль, устлали путь цветами. Большевиков так никогда не встречали.

Объединенные силы Петлюры и Деникина заняли Киев, но мира с собой не принесли. Первым к городской Думе прибыл казацкий отряд, принадлежавший армии Деникина, и через минуту над зданием взвился императорский флаг.

Вскоре подоспели отряды атамана Петлюры, его люди залезли на крышу вслед за казаками, спустили императорский флаг, а вместо него подняли свой. Казаки Деникина, не раздумывая, повскакали на коней, выхватили шашки и прямо на Думской площади бросились на своих союзников-петлюровцев, не обращая внимания на перепуганные толпы людей, собравшихся для чествования победителей. Под натиском свирепых кавказцев украинские националисты бежали, и над зданием Думы снова взмыл императорский флаг Николая II.

Оправившись от первого изумления, Петлюра собрал своих людей и снова послал их в атаку, но казачьи войска Деникина разбили украинцев и вынудили их в спешке покинуть Киев. Вслед за большевиками ушли и петлюровцы, и город остался во власти белой армии, немедленно приступившей к полному восстановлению самодержавия. Развязав себе руки изгнанием ненавистных большевиков и сепаратистов, казаки занялись евреями Подола. Они устроили чудовищную резню, перебили сотни и сотни несчастных людей, отобрали у них все. Где бы ни попадалась им живая душа, хоть самая невинная, — они убивали всех. <...> Возвращался царизм.
А я снова надел смокинг крупье и громко объявлял: “Делайте ваши ставки, господа. Ставки сделаны”.

Приход деникинской армии вызвал в Киеве поголовную страсть к игре. Дюжинами открывались игорные дома, их заполняли толпы людей, лихорадочно ставивших на кон все свое состояние — никто не знал, что будет завтра, вещи и деньги дорожали так же быстро, как обесценивались, и только безумцы думали в те дни о сбережениях и заначках на черный день. Впервые появились деникинские деньги. Тогда уже были царские, керенки и даже советские деньги, ходившие по рукам втихаря. Конечно, все это были просто бумажки. <...>

Взамен этих псевдоденег, которые мгновенно обращались в прах, стали использовать ювелирные украшения и драгоценные камни. Сделки заключали, исходя из внутренней стоимости бриллиантов, золота и серебра, а в качестве денежных средств циркулировали портсигары, галстучные булавки, кольца, серьги, даже столовое серебро. Аристократия и буржуазия, веками копившие золото и драгоценные камни, выходили под защитой императорского флага, поднятого Деникиным в Киеве, менять старинные фамильные драгоценности на хлеб. <...>

В сентябре город снова захватили большевики. Стрельба началась в шесть утра. Игорный дом на Крещатике, в котором я работал, в такое время всегда был полон офицеров — им

пришлось бежать. Закончилась партия, и я ушел домой, чтобы в очередной раз спрятать смокинг и принять обличье забитого пролетария.

На этот раз у красных оказались даже пушки, и они обстреливали снарядами центр Киева. Обстрел продолжался часа два; казаки Деникина, против всех ожиданий, оборонялись не слишком упорно. В полдень в городе началась эвакуация. В верхней части Фундуклеевской[1], напротив оперного театра, в том месте, откуда хорошо просматривалась Театральная площадь, еще стояла одна деникинская пушка. Прозвучало несколько выстрелов, на площади возникла какая-то суета, и уже через несколько секунд вниз по Фундуклеевской неслась белогвардейская пушка, стремительно влекомая четверкой лошадей. На одной из них сидел казак и яростно нахлестывал животных, скакавших бешеным галопом; на пушечном лафете притулились еще двое: один лежал на спине, свесив голову и сжимая окровавленными руками живот, второй, как мог, держал раненого, чтобы тот не упал и не разбил себе голову о мостовую. Грохот скачки перекрывал душераздирающие крики раненого: “Ой, мама! Ой, мама!”

Через несколько минут на Театральную площадь вступили передовые отряды солдат с красными лентами на груди, которые направились вниз по Фундуклеевской, держа штыки наперевес. Один отставший деникинский солдат, увидев приближавшихся врагов и ничего не успевая сделать, изо всех сил прижался к двери одного из домов в надежде, что его не заметят. Заметили. Тот, что шел впереди, вонзил штык ему в грудь, тот, что шел следом, вонзил свой, за ним все остальные. Каждый, проходя мимо, кромсал солдата штыком. Когда прошел последний, тело несчастного напоминало окровавленную мясную тушу. К часу дня все стихло, и горожане вышли на улицы, переодевшись, естественно, нищими, поскольку по опыту знали: с приходом красных разумнее ходить в лохмотьях. Но каково же было всеобщее изумление, когда выяснилось, что армия, вытеснившая Деникина из Киева, была армией не красных, а атамана Петлюры, украсившего своих людей красными ленточками, чтобы напугать казаков и заодно получить поддержку киевских рабочих-большевиков внутри города.

Эта стратегия пошла на пользу только самим большевикам, которые подошли к городу вслед за петлюровцами. В девять вечера снова загремели пушки, поднялась жестокая вин-

1. Ныне улица Богдана Хмельницкого.

товочная и пулеметная стрельба — петлюровцы не устояли, поскольку, обнаружив обман, рабочие и жители еврейских кварталов начали обстреливать их из окон и с крыш домов. Националистам не удалось даже толком закрепиться в городе. Они вошли в него с одной стороны, а вышли с другой.

И снова на какое-то время мы заполучили большевиков.

17

В тот вечер мы с трудом смогли лечь спать. В нашу гостиницу прибыла на постой добрая сотня красноармейцев, и нас не выгнали на улицу только потому, что было очень поздно.

Нас пожалели и оставили нам комнату, но лишь до утра. Расстроенные, не зная, что будем делать завтра, мы заперлись на ключ, в то время как все помещения гостиницы — коридоры, столовую, кухню — заполонили красноармейцы, уснувшие прямо на полу. Не успели мы задремать, как проснулись от бешеного стука в дверь и отчаянных криков:

— Пожар! Пожар!

Я вскочил с кровати и хотел зажечь свет — света не было. Стал нащупывать ключ, но ключ выпал из скважины, и мы с Соле принялись отчаянно и тщетно шарить руками по полу. В коридоре стоял страшный шум: топот, стук, крики ужаса, из-под двери тянуло гарью. Нас охватила смертная тоска. Неужели мы заживо сгорим в этой мышеловке! Я собрал все силы и плечом высадил дверь. Полуголые, ослепшие, задыхаясь в дыму, мы бросились бежать, держась за руки, продираясь сквозь обезумевшую от страха массу людей, не понимавших, в какую сторону кидаться. Смятение было ужасающим. Красноармейцы, едва успев заснуть после боя, вскакивали, как разбуженные звери, палили из винтовок и тыкали штыками налево и направо, поскольку не без оснований решили, что пожар устроили белые, чтобы в то же время начать контратаку на город. Так и было: отступая, несколько деникинских офицеров подожгли гостиницу, надеясь, что расквартированные в ней красноармейцы сгорят во сне. Но, преуспев в своем преступлении, поджигатели просчитались с контратакой. В огне погибли пятеро красноармейцев, не сумевших найти выход из незнакомой гостиницы. В дыму задохнулись двое больных, всеми позабытых жильца с первого этажа, сгорела женщина с двумя детьми, запертая мужем на ключ, и две постоялицы с третьего этажа — их руки долго и отчаянно тянулись сквозь металлическую решетку окна, откуда валили клубы дыма и пламени; эти руки, которые я никогда не забуду, страшно бились о решетку, пока, наконец, не повисли на подоконнике,

как четыре изломанные виноградные лозы. Всего сгорели двенадцать человек. Потери в пять бойцов, нанесенные поджигателями красным, стоили жизни трем женщинам, двум детям и двум беспомощным больным. <...>

Пока бушевал пожар, не стихала стрельба бросившихся в атаку белогвардейцев, но их отбили. Пожары, устроенные контрреволюционерами, вспыхивали в те дни и в других районах Киева. Одновременно разразилась чудовищная по своим последствиям эпидемия тифа.

Мы жили среди полного безумия. Такую обстановку создал советский режим. С первого же дня большевики укрепляли свою власть с помощью террора и с беспредельной жестокостью насаждали военный коммунизм. Они в одночасье отменили все деньги, ходившие на Украине: царские, керенки, деникинские, петлюровские, а тех, у кого находили хотя бы одну купюру, сажали в тюрьму или расстреливали особисты ЧК. Все вдруг стали нищими, как церковные крысы. Затем большевики выпустили единственные дозволенные к обращению советские купюры достоинством в один и два рубля. В некоторых магазинах еще тайком принимали керенки, но оценивали их, как заблагорассудится. За пару ботинок я отдал кругленькую сумму в пятнадцать тысяч рублей — сорок тысяч песет по старому курсу.

Мы, как обычно, укрылись от большевиков в профсоюзе артистов цирка, который теперь невероятно разросся, потому что наученная горьким опытом буржуазия уже не брезговала стать пролетариатом, и не было в Киеве ни одного банкира, рантье, землевладельца или промышленника, который не попросился бы в наш профсоюз клоунов, певцов, куплетистов, танцоров и прочей подобной братии. <...>

Дело дошло до того, что ЧК постановила провести чистку среди артистов. К нам в профсоюз прислали специальную комиссию, состоявшую из неподкупных большевиков и призванную вынести окончательное решение о том, кто является артистом, а кто нет. Я хотел было использовать эту возможность, чтобы восстановить свой статус артиста варьете и получить соответствующую категорию, но у меня ничего не вышло. Специальная комиссия заседала в цирке, на нее должны были являться по очереди все члены профсоюза и исполнять перед комиссарами свой номер, чтобы подтвердить присвоенную им категорию. Когда очередь дошла до меня, мы с Соле попытались станцевать аргентинское танго. Соле вышла в элегантном вечернем платье, я — во фраке.

— Вон отсюда! — едва увидев нас, заорал председатель очистительной комиссии. — В Советской России нет фраков и бальных танцев. Если ничего больше не умеешь, можешь катиться на все четыре стороны.

— Подождите, товарищ, — в отчаянии воскликнул я, — мое настоящее искусство заключается не в этом, а во фламенко.

— Фламенко? Что такое фламенко?

— Фламенко — это редкое искусство, которое ценится во всем мире. Не буржуазное, а истинно народное, самое народное искусство в мире.

Он оглядел меня с недоверием и буркнул:

— Ладно, валяй, что умеешь, только без фрака.

Я снял фрак, надел короткий жакет и лишь прищелкивая пальцами в качестве аккомпанемента, отчеканил перед большевистским трибуналом затейливейшую фарруку.

Они остолбенели от изумления и не знали, что сказать. Председатель комиссии сгреб в кулак свою шапку, протер ею лысину и ворчливо изрек:

— Неплохо.

Потом обернулся к секретарю комиссии и продиктовал:

— Мартинес, гуттаперчевый человек. В цирк.

Этот варвар принял меня за человека-змею.

Может сложиться впечатление, что в страшное время Гражданской войны, названное большевиками "военным коммунизмом", мы, несчастные артисты, оставались не у дел и ни в чем не участвовали. На нашу беду, это было не так. Нами пользовались вовсю, буквально вытряхивали из нас душу!

Ежемесячно коммунисты собирали специальные поезда и везли артистов на фронт — поддержать хорошее настроение в воинских частях. В других случаях нас отправляли на грузовиках и подводах в деревню, чтобы мы кукольным театром отвлекали крестьян от голода. Не одну фарруку исполнил я на откидном кузове грузовика перед толпой варваров, забавлявшихся тем, что во время наших выступлений они лузгали семечки и швырялись в нас арбузными корками.

Эти поездки были ужасны. Нам не платили ни копейки и ничем не кормили, так что, бывало, с одним стаканом чая в пустом животе приходилось тащиться пешком через степь в такой холод, что леденели руки и ноги. Придя в деревню, мы устанавливали на площади передвижной кукольный театр, а потом должны были с радостным задором зазывать местных жителей; когда вокруг нас собиралась вся деревня, мы уступали место пропагандистам-большевикам, и те, начав говорить, уже не могли остановиться. При появлении большеви-

стских ораторов крестьяне кричали и свистели, но несгибаемые большевики разражались речами о Ленине и коммунизме, которым не было конца. Устав от этой галиматьи, крестьяне начинали уходить, и тогда на сцену снова тащили нас, артистов, чтобы мы не дали публике разбежаться. <...>

И, наконец, когда дела на фронте пошли совсем плохо, они выдали нам кирки и отправили копать траншеи вокруг Киева. Спасибо, нашелся один комиссар, некий товарищ Петр, заместитель коменданта Киева, который за нас заступился: он сказал, что артисты должны заниматься своим делом, а для строительства укреплений мы, наоборот, совершенно непригодны. Последовали долгие споры, потому что многим комиссарам очень хотелось отправить нас копать, они обвиняли Петра в мягкотелости, но Петр — здоровенный детина с дремучей бородой, злодей каких мало, не раз показавший себя грозой буржуазии, — уперся, и нас перестали возить на траншеи.

Однако отвертеться от поездок на фронт и обязанности развлекать красноармейцев мы не могли. Нас отправляли по бездорожью в разукрашенных красными флагами грузовиках, а мы должны были беспрерывно петь "Интернационал". Две-три такие бригады попали в руки бандам Петлюры, и бедолаг-артистов перестреляли на месте. <...>

18

Почти все, попадавшие в лапы ЧК, обвинялись в спекуляциях. <...> Однажды Соле шла по улице, когда ее сломя голову обогнал какой-то человек и, промчавшись еще несколько шагов, бросил на землю пачку банкнот. Беглеца преследовал красный комиссар с револьвером — не останавливаясь, он подхватил эти деньги и продолжал преследовать жертву до тех пор, пока не поймал. Комиссар схватил беглеца за шиворот и подтащил к Соле.

— Товарищ, ты видела, — обратился он к ней, — как эта сволочь бросила на землю деньги, верно?

Соле с ужасом посмотрела на беглеца и сказала:

— Нет, это не он. Я видела, что сверток валялся на земле еще до того, как он пробежал.

Соле спасла ему жизнь.

Машина красного террора работала на полную катушку. За каждую казнь палачам ЧК платили хорошие деньги и отдавали одежду заключенных. Работы хватало, и палачом мог стать каждый.

Казни совершались в полночь.

В этот час сотрудники ЧК и палачи-добровольцы приходили в подвалы на Елизаветинскую и Екатерининскую[1], где сидели арестованные, и вызывали по фамилиям тех, кого пометил страшной красной меткой товарищ Миша[2]. Услышав свои фамилии и зная, что́ их ожидает, бедолаги прощались с товарищами по несчастью и в тоскливой надежде оставить хоть какой-то след, прежде чем навсегда исчезнут из жизни, карябали на стене свое имя, крест и дату. Когда большевиков выгнали из Киева, благодаря этим неровным надписям, иногда нацарапанным ногтем на стенах тюрьмы, открылась трагическая судьба многих пропавших без вести людей.

Казни проводились скрытно во внутренних дворах огромного здания ЧК или в подвалах. Чтобы заглушить звуки выстрелов и крики заключенных, чекисты, прежде чем приступить к делу, заводили грузовики, и моторы тарахтели на холостом ходу, пока длилась жуткая бойня.

Каждый палач убивал в своей манере, поскольку никаких правил исполнения казни не существовало. Речь шла лишь о быстром и удобном способе ликвидации нескольких тысяч неугодных. Никаких религиозных ритуалов: простой материализм в чистом виде. Палач, будь то новичок или профессионал, старался управиться как можно быстрей и без лишних трудов. Некоторые заставляли свою жертву раздеваться догола и аккуратно складывать одежду, ведь одежда составляла самую ценную часть награды палача, и не стоило ее рвать и пачкать кровью. Уж не говоря о том, как хлопотно стаскивать одежду со “жмурика”. Голые, дрожащие, беспомощные, как ягнята, несчастные люди получали пулю, уготованную каждому, кого случайно выхватывала из толпы машина террора, неумолимо крушившая буржуазный мир. В тюрьмах ЧК умирали именно так, без церемоний, самым будничным образом. Видели вы, как на кухне режут цыпленка? Вот точно так же. Чекист выволакивал свою жертву из застенка, отводил в любой приглянувшийся ему дворик, доставал револьвер и говорил:

— Раздевайся. Одежду оставь в углу.

И пока арестованный покорно развязывал ботинки и стаскивал через голову рубаху, даже не пытаясь протестовать, — какой толк? — чекист закуривал папиросу и ждал, пуская кольца дыма.

— Ну что? Готово?

1. Сейчас — Пушкинская и Липская улицы.
2. Вероятно, имеется в виду Мартыньш Лацис (настоящее имя Ян Судрабс), руководитель киевской ЧК в 1919–1921 гг.

Отвечать в этот момент арестованный уже не мог. Уронив голову на грудь, он покорно отправлялся в небытие с одного револьверного выстрела.

Некоторые думают, что умирать сложно и тяжело. Казни представляются людям чем-то ужасным и значительным. Ничего подобного. Большевики убивали просто потому, что так было надо, и не придавали этому никакого значения. Уверяю вас, что сейчас, вспоминая и рассказывая все это, я испытываю гораздо более сильное волнение, чем когда переживал эти события. О зверствах ЧК рассказывают много. Все может быть. В эпоху террора чекисты вытворяли все, что им приписывают, и даже больше. Но что действительно не соответствует истине — это жуткие ритуалы, которыми, якобы, обставлялся террор. Я все это видел вблизи. Потом читал рассказы, смотрел фильмы о преступлениях большевиков. Все это ложь. Ничего такого, что производит сейчас сильное впечатление, не существовало. Да, они убивали. Но не так, как люди себе представляют. Все происходило гораздо будничней, проще.

<...>

20

Начали поговаривать о возможном возвращении белых. Большевики потерпели несколько поражений на подступах к городу, и все страшились массированной атаки на Киев. Охваченные ужасом евреи Подола просили у большевиков оружие, готовые дорого продать свои жизни, потому что по опыту знали: беды не миновать. <...>

Рабочие и жители еврейских кварталов Киева готовы были биться насмерть, понимая, что́ их ждет, если победят белые. Каждый дом превратился в крепость.

Когда, наконец, однажды днем стало известно, что красные без боя оставляют Киев и уже приступили к эвакуации, по городу прокатилась волна ужаса. Каждый прятался в своем доме, не сомневаясь, что живым из него уже не выйдет. Самым решительным горожанам большевики выдали оружие и в первые же вечерние часы начали покидать город. Подводы с военным снаряжением и провиантом ехали медленно и в строгом порядке, нигде не было слышно ни выстрела. С дальних подступов к городу подходили отряды красноармейцев и, по мере того как сгущалась ночь, собирались на главных проспектах и формировали походные колонны. К полуночи Киев покинули почти все большевистские обозы, войска неподвижно ждали команды начать отступление. Когда к ним присоединились последние аванпосты, вся эта бурая змея пришла в движе-

ние и уползла в ночную тьму. Я поспешил в свою нору. Всему гражданскому населению было приказано по возможности сопротивляться, и все артисты цирка были мобилизованы, как и рабочие других профсоюзов. Уж не знаю, какая стратегическая миссия нам отводилась, но я предусмотрительно решил запереться дома и думаю, что многие мои коллеги поступили так же. Через некоторое время после ухода большевиков, прозвучало несколько пушечных выстрелов. Затем на пару часов все намертво стихло. <...>

Увидев на улицах Киева белых, я решил сразу выйти из дома вместе с мадридцем Серепом. Ходить по городу, когда его занимают войска, опасно, но не менее опасно сидеть дома и дожидаться, пока за тобой придут по какому угодно доносу. Лучше рискнуть и попробовать заручиться благосклонностью победителей.

Мы вышли на Думскую площадь, в это время из одного из зданий поспешно выскочил белогвардейский офицер. Он нас окликнул.

– Рабочие?

– Нет, господин офицер, артисты.

– Иудеи?

– Исконные христиане, господин офицер.

– Знаете, где здесь ЧК?

– Да, господин офицер, – ответил я, не раздумывая. – Я отлично знаю и могу вас проводить.

– Пошли.

– В Киеве две ЧК, – сказал я. – ЧК на Елизаветинской, которую все знают, и тайная ЧК во дворце на Екатерининской.

Офицер насторожился.

– Откуда тебе это известно?

– Сидел в кутузке в обеих, господин офицер.

– Проводи меня в тайную, – сказал он, оглядев меня с головы до ног.

За нами последовали шесть-восемь солдат.

Мы подошли к внушительному зданию на Екатерининской. Мрачный особняк был наглухо заперт. Настоящая крепость с высокими зарешеченными окнами и окованными железом дверями. Офицер в сопровождении солдат обошел все здание, пытаясь найти какой-нибудь вход. Потом несколько раз постучал в главную дверь. Никто не отозвался. По знаку офицера солдаты бросились на дверь и били ее прикладами до тех пор, пока одна из створок не разлетелась в щепки. Офицер хотел было войти первым, но вспомнил обо мне и, опасаясь засады, достал револьвер, схватил меня за шиворот и втолкнул внутрь. <...>

Мы осторожно продвигались по сумрачным коридорам: офицер с револьвером в руке, солдаты со штыками наперевес и я, самый первый, вжимая руки в подкладку карманов. При каждом шаге мы ждали взрыва или шквального огня. <...> Мы шли мимо роскошных кабинетов с дорогой мебелью и коврами. Вокруг все было в беспорядке и свидетельствовало о поспешном бегстве красных. На подставках и столах валялись многочисленные патроны и грязная бумага, на обитых атласом креслах и канапе — куски хлеба и свиной колбасы. В одном из кабинетов на столе громоздилась стопка российских и иностранных паспортов, принадлежавших, видимо, заключенным. Офицер и солдаты пошли дальше, а я задержался, разглядывая эти паспорта. Некоторые были в пятнах крови, некоторые с дырками от пуль. Паспорта принадлежали гражданам разных стран: французам, туркам, итальянцам. Это меня поразило, потому что бытовало мнение, будто ЧК во избежание международных конфликтов не расстреливает иностранцев, и в этом радужном заблуждении я пребывал до сего дня. Сам не знаю почему, я подумал, что однажды эти паспорта смогут мне пригодиться, и, убедившись, что никто на меня не смотрит, незаметно сунул несколько штук в карман. Позже я расскажу, как эта кража спасла мне жизнь.

В тюремных камерах никого не было. Мы подсчитали, что в них содержали около ста пятидесяти человек. Видимо, всех их чекисты расстреляли перед отступлением. По многим признакам еще несколько часов назад они были здесь, и выгоняли их из камер в страшной спешке.

Никогда не забуду картину, представшую нашим глазам, когда мы вышли во двор. В самом центре его высилась бесформенная груда трупов и расчлененных человеческих тел, перемешанных с грязью и щебнем. Судя по всему, чекисты одновременно расстреливали заключенных, расчленяли трупы, чтобы их нельзя было опознать, и пытались выкопать огромную могилу, спеша убитых захоронить, но не успели и по сигналу “спасайся, кто может!” побросали кирки и лопаты и сбежали, не закончив своей страшной работы. Позднее мы узнали, что им действительно не хватило времени расстрелять всех заключенных, и в общей суматохе некоторым удалось бежать, перебравшись через ограду, хотя особо рьяные чекисты продолжали в них стрелять, теряя драгоценное время, оставшееся им для собственного спасения. Вот до чего доходит человеческое злодейство.

Один солдат доложил, что в подвале кто-то зовет на помощь. Все пошли искать вход, надеясь обнаружить там хоть кого-то живого, но я, признаюсь честно, спускаться туда не решился. Вокруг я видел такой ужас, что на большее меня бы просто не хватило. <...>

У дверей ЧК начал собираться народ. Это были родные заключенных, которые в отчаянии пытались узнать о судьбе своих близких. Поскольку двери были по-прежнему закрыты, они решили ворваться в здание, но их остановило появление войск. Вместе с войсками прибыли командиры и офицеры белой армии и составили подробный протокол всего, что нашли. Кроме того, они сняли на пленку то, что предстало нашим взорам во внутреннем дворе ЧК. На эту пленку попал и я, стоящий в расстрельном дворе перед горой трупов.

Фильм несколько дней показывали в киевском кинотеатре, чтобы настроить народ против большевиков, и действительно эти жуткие сцены вызывали у людей безмерное возмущение. Когда большевики вернулись в Киев победителями, они первым делом сожгли фильм, кинотеатр и дом, в котором он находился. <...>

В тот раз белые особенно озаботились тем, чтобы выставить напоказ все зверства большевиков, потому что большая часть киевлян успела перейти на сторону Советов, особенно на Подоле и в окрестностях завода "Арсенал", где жили почти одни рабочие.

Чтобы люди узнали о преступлениях большевиков, белые свезли в анатомический театр все трупы, собранные в подвалах ЧК, — их было огромное количество. Но этого им показалось мало, и для дополнительного нагнетания страстей они свезли туда же трупы тех, кто погиб в уличных боях, белых, красных, даже евреев, которых сами же и убили, даже большевиков, расстрелянных утром в их собственном штабе. Однако утверждалось, что все это жертвы ЧК. <...>

Вход в анатомический театр напоминал толкучку. Две длинные очереди любопытных загибались за угол квартала; народ входил с одной стороны, а выходил с другой, обойдя по кругу огромный зал, где на полу двумя длинными рядами, головами к центру, лежали трупы. Стояла липкая жара, и мухи, жужжа, перелетали с мертвых на живых. Я обошел это страшную выставку, отвлекая себя тем, что пытался угадать, за какую из сторон отдал жизнь каждый из этих людей. И пришел к выводу, что жертв красных и белых здесь было примерно поровну. Прискорбный баланс, не позволявший выбрать ту из сторон, на

чьей совести оказалось чуть меньше жестокости. Красные убийцы, белые убийцы. Какая разница? Убийцы и те и другие. <...>

Белые изо всех сил старались создать видимость нормальной жизни. Они приказали открыть театры и кинотеатры, но залы пустовали, у людей не было настроения ходить на спектакли и развлекаться. Я работал в кабаре в районе "Арсенала" вместе со знаменитым украинским певцом, который звался Коханий. Мы не могли заработать даже на еду. Попытка вернуться к прошлой жизни скоро закончилась, кабаре и театры снова стали закрывать, поэтому мне опять пришлось наняться крупье в клуб "Кисо": не прекращалась во время войны только игра. <...>

22

Поражение белых было предсказуемым. Они еще оставались хозяевами Киева, но уже не могли скрыть своего бессилия. Белая армия находилась в плачевном состоянии. Даже буржуазия, возлагавшая на нее такие надежды, отчаялась, находясь во власти этой деморализованной солдатни, утратившей всякую дисциплину и священное для русских солдат уважение к Богу и царю. Неопрятные, грязные, обнаглевшие, эти белогвардейцы ничем не отличались от большевиков, разве что не носили красную ленточку на груди.

Незаметно для себя белая армия большевизировалась. Даже командиры забыли о достоинстве царских военных и своим самоуправством напоминали красных комиссаров. Гражданская война задавала одинаковый тон обеим воюющим сторонам, и под конец те и другие в равной мере превратились в воров и убийц: красные убивали и грабили буржуазию, белые убивали и грабили рабочих и евреев. Война и голод истребили в них такие качества, как благородство, учтивость, дисциплинированность, опрятность и элегантность — все, чем гордились офицеры в царские времена, и прежняя армия превратилась в примитивную орду, не уступавшую в жестокости большевикам. Солдаты перебегали из одной армии в другую, прихватив свои "идеалы": жажду наживы и любовь к грабежам; под императорскими знаменами Деникина и Врангеля эти люди требовали от командиров таких же вольностей и прав, какими пользовались у красных, и приходилось отказываться от прежних военных привычек, чтобы заставить их сражаться. Даже офицеры, прежде такие важные, тщеславные и церемонные, растеряли все моральные качества, обеспечивавшие им некоторое превосходство, и вламывались в дома, где собира-

лись встать на постой, с комиссарской бесцеремонностью, насиловали женщин, крали все, что под руку попадалось.

Эта деморализация белой армии подтолкнула многих на сторону красных. Вы думаете, потому, что красные казались людям лучше белых, не такими мясниками и деспотами? Ничуть! Иллюзий никто не питал. Просто красные голодали вместе с народом, а белые — нет. Трудно поверить, но именно эта причина склонила чашу весов и, в конечном счете, решила исход Гражданской войны. В глазах обнищавшего, голодного народа так же зверствовали одни, как и другие; если белые были тиранами, то красные им не уступали, и одинаково попирали все божеские и земные законы как те, так и другие. Но красные были убийцами, терпевшими голод, а белые — убийцами сытыми. Поэтому между голодающим народом и красноармейцами возникла некая солидарность. Объединенные голодом, большевики и не большевики вместе ополчились против белых, у которых был хлеб. Так победил большевизм. Тот, кто говорит иное, лжет, или не был там, или не хлебнул как следует той жизни.

Распоясавшиеся белогвардейцы, утратившие все положительные качества офицеров и солдат царской армии, настроили против себя гражданское население и уже не могли сопротивляться большевикам. Они не продержались хозяевами Киева даже двух месяцев. Хозяевами относительными, потому что рабочие "Арсенала" постоянно на них нападали, и даже внутри самой белой армии случались столкновения. Однажды утром Киев проснулся в каком-то хаосе. Никто не понимал, в чьих руках власть. Белые и красные братались на перекрестках. Что такое? Народ, не веря своим глазам, с интересом наблюдал, как вечные, непримиримые враги лениво и безмятежно болтают друг с другом. Прошел слух, что белая армия перешла на сторону большевиков.

В полдень тайна раскрылась. Из конца в конец города промчался офицер на белом коне, галопом объехав все стратегические точки Киева. При появлении этого всадника — поскольку оно служило условным сигналом — преданные белым солдаты стали срывать с плеч винтовки и без лишних слов колоть штыками своих товарищей, с которыми минуту назад вели дружеский разговор. До этого момента на груди почти всех солдат висела красная ленточка, но теперь большинство из них швырнули ее на землю и напали на тех немногих, у кого она осталась. Бой был коротким и жестоким. Через полчаса после молниеносного сигнала всадника на белом коне, все те, кто не сорвал с груди большевистский знак, были разбиты в пух и прах.

Эта вылазка очистила Киев от большевиков, но лишь на короткое время. Красная армия стояла лагерем в считанных ки-

лометрах от города и с каждым днем сжимала кольцо. Белые несколько раз пытались прорваться, но возвращались ни с чем. Они уже не могли одержать победу в открытом бою. Ситуация в городе тоже сулила им мало надежд. Рабочие "Арсенала" готовились поднять восстание, и даже еврейское население Подола собиралось вступить в бой на стороне большевиков. Большевистские лазутчики и раввины договорились, что, как только красные начнут атаку на Киев, жители Подола нападут на белых с тыла.

Благодаря своей дружбе с несколькими еврейскими семьями я знал, что ожидает белогвардейцев.

Когда день атаки был назначен, жители еврейского квартала потихоньку приготовились. Они забаррикадировали двери, заколотили досками окна и подготовили огромные кастрюли кипящего масла. На заре начался артиллерийский обстрел. Большевики продвигались вперед и заняли некоторые окраинные кварталы. Белые перешли к обороне и собирались использовать артиллерию.

Одну из пушек поставили на углу Фундуклеевской улицы, рядом с большим фонарем, но как только ее начали заряжать, с крыши соседнего дома, где жила еврейская семья, в артиллерийский расчет полетели пули, не позволявшие приблизиться к пушке. Пушка отлично простреливалась с крыши, и в течение целого часа белые, непрерывно неся потери, так и не смогли воспользоваться своим орудием. Когда в Киев вошли разбитые возле города отряды белогвардейцев, еврейские стрелки, расположившиеся на крышах и в окнах домов, открыли по ним ураганный огонь. Они устроили белым настоящее побоище. Улицы Подола в тот день превратились в грозные ущелья, где белогвардейцев расстреливали не спеша и в охотку. Впав в слепую ярость от этой нежданной атаки, белые, которым большевики уже наступали на пятки, не убегали и били прикладами и топорами в запертые двери домов, надеясь поймать хоть одного еврея и разорвать его на куски. Дикая злоба заставляла их умирать, колотясь об эти двери, в то время как с крыш на них опрокидывались потоки кипятка и раскаленного масла. Одержимые ненавистью и буйством, офицеры забыли даже о красных, и, пытаясь отомстить евреям, не чувствуя ничего, кроме жажды расправы, становились легкой добычей в кривых переулках Подола. <...>

Многие белогвардейцы погибли, другие бежали навсегда, и снова Киев оказался в руках большевиков, которые каждый раз приходили все более организованными, эффективными, с отработанной системой насаждения своих революционных идеалов. Красный террор представлял собой уже не волну слепой ярости, а хорошо отлаженную машину "подавления" буржуа-

зии. Большевики оккупировали под ЧК новые дворцы, учредили в них бесчисленные ведомства и даже озаботились покраской фасадов своих зданий. Они были лучше экипированы и организованы, и теперь их одолевала мания безупречного немецкого порядка, основанного на железной дисциплине. Они заручились поддержкой еврейских коммерсантов, сделавших ставку на большевизм, горячим сочувствием огромных масс трудящихся, окончательно перешедших на их сторону после провала и разгрома анархизма, и других революционных партий. Но был голод. Лютый, страшный голод. Он косил горожан, большевиков и буржуазию, и никому не давал пощады. Давным-давно не приезжали в Киев крестьяне с овощами, пшеницей и мясом, истощенные люди умирали прямо на улицах города. И вся большевистская бюрократическая машина не годилась на то, чтобы найти хоть кусок хлеба. Они продолжали исступленно издавать циркуляры и штамповать новые учреждения, не обращая внимания на сотни людей, ежедневно умиравших от голода. Большевики контролировали все. Они провели перепись иностранцев. Мне выдали удостоверение личности, где указывалось, что я — российский гражданин, родившийся в Испании, и имею те же права и обязанности, что и все россияне: иностранных граждан для них не существовало. Организовать профсоюз артистов цирка на этот раз не удалось, потому что после двух лет революции и Гражданской войны все артисты разбежались по разным воюющим сторонам: одни сражались за красных, другие — за белых. А те, кто не ушел ни к тем ни к другим, погибли от рук тех или других.

<...>

23

С каждым днем все сильнее свирепствовали голод и тиф. Люди умирали, как мухи. Но большевики, сжав зубы, исступленно насаждали свои свирепые законы среди умирающих от голода людей, и если мы с Соле выжили, то только благодаря скупленным прежде драгоценностям, которые я потихоньку продавал за бесценок. <...>

Голод, эпидемии, безработица и развал городских служб, налаживать которые большевики даже не собирались, привели к массовому недовольству горожан. Во всей общественной жизни пульсировал глухой протест против большевизма. Теперь большевики воевали не с буржуазией, не с белыми офицерами, а с самыми обездоленными людьми: с рабочими, трудящимися, коммунистами, рисковавшими жизнью ради революции. Чтобы заглушить протесты, в Киев из Москвы приехали начальни-

ки, но ничего не добились, и, в конце концов, улаживать дело явился сам Троцкий. В цирке организовали митинг, объявив, что Троцкий будет говорить с народом. Присутствовало более двух тысяч человек, довольно мрачно настроенных. Поговаривали даже, что какие-то заговорщики готовятся совершить покушение на коммунистического вождя во время его речи. <...>

Первым выступал другой оратор, Раковский. Когда пришла очередь Троцкого, в зале повисла гробовая тишина. Люди угрюмо ждали, готовые взорваться в любую минуту.

Но Троцкий заговорил просто и с первой минуты взял быка за рога. Он признал недостатки большевистских порядков и обвинил в них народ, повторяя на каждом слове: "Вы сами виноваты, вы саботажники и воры". Под конец он заявил, что коммунисты готовы спасти российский народ даже против его собственной воли, хоть это и осложняет задачу, потом пустился раздавать обещания и наобещал всего, что только можно придумать. Фантастично, но факт: озлобленные люди, совсем недавно готовые линчевать вождя, позволили себя убедить и под конец разразились бурными овациями. Так ясно, логично и справедливо было все, что он говорил! Среди тысяч человек, присутствовавших в зале, не нашлось ни одного, кто возразил бы словам Троцкого, которые он вгонял в сознание, словно молотком. Никогда не доводилось мне быть свидетелем такого ораторского успеха.

Окруженный наэлектризованной толпой, Троцкий вышел из цирка и сел в автомобиль, все еще продолжая вещать. Так и вижу его горящие, как у Мефистофеля, глаза, острую бородку и курчавую прядь волос, выбившуюся из-под фуражки с красным козырьком.

Эту партию коммунизм выиграл окончательно.

Коммунизм продолжал свое шествие, но мои силы кончились. Я задыхался под гнетом советского режима. Мечтая как можно скорее вырваться из когтей большевиков, я решил поехать в Одессу, где рассчитывал при первой же возможности отплыть кораблем в Европу. Я получил разрешение властей на переезд в Одессу. Чтобы купить билеты на поезд, мне пришлось тайком продать золотую цепочку с двадцатью двумя бриллиантами и выручить за нее несколько миллионов рублей. <...>

Наконец мне удалось сбежать из Киева, откуда я уже не чаял выбраться живым. В этом городе я прожил между белыми и красными, в водовороте Гражданской войны, самую жуткую эпоху своей жизни, эпоху такого ужаса, которого свет не видывал и, надеюсь, больше не увидит. <...>

Кароль Вендзягольский

Воспоминания

Фрагменты

Перевод с польского, вступление и комментарии
К. Старосельской

На долю автора этих воспоминаний в первой половине его сознательной жизни выпало столько обрушивших мировой порядок событий, что перечень одних только дат мог бы составить изрядную часть календаря первой трети XX века. Польский дворянин, гражданин Российской империи, родившийся в 1886 году близ Вильно, он был участником Первой мировой войны, революционером и контрреволюционером, общался с Керенским и Троцким, Савинковым[1] и Милюковым[2], Корниловым[3] и Деникиным[4], был доверенным лицом Пилсудского[5]...

По окончании кадетского корпуса в Петербурге Кароль Вендзягольский служил в одном из министерств, но чиновничью карьеру оборвал выстрел в Сараево. Поначалу он был военным чиновником при штабе и какое-то время оставался, по собственным словам, "лишь зрителем". Между тем в ходе войны усиливалась поляризация российского общества, бóльшая часть интеллигенции симпатизировала либералам и социалистам, Вендзягольский разделял эти взгляды, к тому же Февральская революция пробудила в нем надежду на скорое обретение Польшей независимости. Из наблюдателя, недавно называвшего себя "независимым беспартийным социалистом", он превратился в активного участника событий ("...я понял: российский катаклизм распространяется столь широкими кругами, что путь самоизоляции недопустим, что российская революция не может не повлиять на судьбы мира, а значит, и Польши, а значит, и на мою судьбу... что нельзя полностью отгородиться от череды печальных событий") — летом 1917 года был избран председателем военно-революционного комитета 8-й армии, а затем назначен военным комиссаром той же армии и, соответственно, включен в состав Совета солдатских и рабочих депутатов. Вендзягольский придерживался умеренной линии, направленной на сохранение организационной и военной целостности армии, однако был против восстановления царской власти и ратовал за скорейшее заключение мира. К этому времени относится его сближение с Борисом Савинковым. В начале знакомства (в 1909 году) он отвергал террористические идеи Савинкова, но в 1917-м их связала "работа" (военком армии подчинялся товарищу военного министра Временного правительства, каковым был Борис Савин-

© К. Старосельская. Перевод, вступление, комментарии, 2017
Текст печататется с любезного разрешения издательства JSKRY, Warszawa

ков); кроме того, увидев в Савинкове дальновидного и решительного политика и отчасти разделяя его убеждения, Вендзягольский сопутствовал ему в поездке на Дон, к руководителям Белого движения. После октябрьского переворота ("последние три дня агонии Временного правительства мне довелось наблюдать в непосредственной близости". — *К. В.*) они вместе покинули Петроград (Вендзягольский — с паспортом своего приятеля, корреспондента польской газеты Александра Грабовского) и проехали по маршруту Москва—Киев—Ростов и оттуда в Новочеркасск, где, по сообщению В. Набокова[6], началась подготовка к антибольшевистским действиям на основе широкого соглашения всех "здоровых" сил против "узурпаторов" — там начала формироваться Добровольческая армия. В Новочеркасске их пути разошлись; Вендзягольский направился в Киев, где провел почти год и откуда в конце восемнадцатого поспешил уехать на землю только что получившего независимость отечества — Второй Речи Посполитой. В Польше он потом сотрудничал с Пилсудским (по его предложению Пилсудский пригласил Савинкова в Варшаву); во время советско-польской войны (1919—1921) был сторонником сближения поляков и русских антибольшевистских сил, принимал участие в организации Белого движения в Польше, однако после окончания войны в знак протеста против интернирования белых полностью отказался от общественной и политической деятельности. В начале Второй мировой войны Вендзягольский перебрался из оккупированной Польши в Румынию, оттуда в Италию и затем в Бразилию, где в 1974 году скончался. Эта часть его жизни кажется принадлежащей совершенно другому человеку. Мы почти ничего о нем тогдашнем не знаем, да и знать особо нечего. Кароль Вендзягольский, человек неуемной энергии, в эмиграции вел скромное существование сотрудника администрации завода по сборке автомобилей "мерседес". По словам его племянника, письма Кароля к родным полны были "беспомощной ностальгии". К прошлому он возвращался в воспоминаниях... Записывать стал в конце 50-х; в 1963 году написанный по-русски текст, целиком посвященный Савинкову, был напечатан в нескольких номерах издаваемого в США "Нового журнала"; второй, и последней, публикацией Вендзягольского стали "Воспоминания" (состоящие из четырех частей: "Война и революция", "Контрреволюция", "Большевистский переворот", "Варшавский эпизод"), впервые вышедшие по-польски в Лондоне в 1972 году; в Польше они появились в "самиздате" в начале 1989-го, а затем в издательстве "Искры" (2007), откуда и взяты предлагаемые читателю главы.

В М*оскве, или* Е*ще один вариант проигрыша большевикам*

НОЯБРЬСКИМ вечером (точно числа не помню) мы отправились в Москву. Поезд был скорый, вагон — спальный, полностью зарезервированный для иностранцев, большевистских сановников и военачальников. Мы, то

есть Савинков как английский журналист, то ли Маккормик, то ли Маккинли, и его польский коллега Грабовский. В то время у большевиков еще был в чести "гнилой Запад", в особенности "мастера слова". Поездка обошлась без неприятных сюрпризов, мы спокойно спали, будто путешествовали при старом режиме, а не из кровавого "сегодня" в еще более зловещее "завтра". Миновала еще минута иллюзий на поддельных часах действительности, призванных поддерживать дух нейтральных иностранцев.

Действительность дала о себе знать незамедлительно, уже на вокзале в Москве, предъявив приезжающим длинный список фамилий "врагов трудового народа". Наши фамилии фигурировали почти в самом начале этого списка и сопровождались довольно точными словесными портретами. Текст давал основания для гордости: "Центральная власть в Петрограде приказывает арестовать опасных контрреволюционеров, врагов рабоче-крестьянского государства..." Савинков, прочитав объявление, усмехнулся и громко сказал: "Хорошо, что это не я. Но где, в таком случае, мы сегодня будем ночевать?"

В Москве пока еще вовсю шли бои. Объявление о розыске пошатнуло нашу уверенность в надежности фальшивых документов, гостиницы уже не казались безопасными. Не оставалось ничего иного, кроме как подвергнуть опасности кого-нибудь из друзей. Выбор пал на симпатизирующих революции и революционерам супругов Т., давнишних близких знакомых Савинкова.

После томительного ожидания извозчика мы, наконец, въехали в стреляющую и горящую там и сям Москву. Орудия гремели редко, но ружейная и пулеметная пальба неслась со всех сторон. Тем не менее симпатичный извозчик, помахивая кнутом, рассказывал нам о ходе боев с равнодушием стороннего наблюдателя. <...>

Ленин не сомневался, что переворот в Москве пройдет успешнее, чем в Петрограде, однако и на сей раз ошибся. Бои на московских улицах продолжались дольше и жертв оказалось несравнимо больше. По оценке Бухарина, убитых было пять тысяч, по другим, более достоверным данным с обеих сторон погибло в общей сложности около двух тысяч человек. Сюда следует добавить погибших в сожженных и разбомбленных зданиях. <...>

Обильно лилась кровь. От юнкерских и офицерских пуль погибали повстанцы, от большевистских гранат и огнеметов — защитники республики, сторонники Февральской революции и те, кто и ту, и другую ненавидел.

Взаимная ненависть противоборствующих сторон росла. О том, чтобы сдаться, и речи не шло. Легче и достойнее было умереть от пули, чем медленно погибать от пыток и посрамления: зверские издевательства над схваченным врагом вошли в репертуар Гражданской войны, террор стал орудием политического воздействия на массы.

В Петрограде убивали вооруженных, а чаще безоружных людей, особенно охотно женщин в военной форме из батальона Бочкаревой, но тем пока и закончилось. В Москве же гремели пушки, батареи накрывали огнем целые районы, уничтожая дома, трещали пулеметные очереди, город был исчерчен "линиями фронтов".

Пока продолжались бои, у наших хозяев — убежденных демократов — еще оставались иллюзии, они еще верили в победу справедливости и торжество демократии. Мы их заблуждений не разделяли. Не обязательно было знать, много ли сил у противника, хватало того, что мы знали про слабость защитников демократии — не доверяющих друг другу, перессорившихся, так и не сумевших создать антибольшевистский фронт, не понявших, сколь велика опасность большевизма как для социалистов, так и для монархистов, как для сторонников Керенского, так и для его противников. Наше вынужденное бездействие побуждало к размышлениям; гнетущая ситуация склоняла к пессимизму. Мы старались критически оценить не только последствия, но, в первую очередь, причины позорного финала революции. В итоге, оставшись пессимистами, осознали необходимость внести коррективы в тактику и стратегию как наших действий, так и лежащих в их основе принципов. И все свои помыслы и чаяния устремили на юг.

Мир людей злой воли

Наконец грохот орудий прекратился, умолкли пулеметы и винтовки, в огромном городе перестала греметь война. Люди начинают несмело выходить из дому, украдкой и с подозрением поглядывать друг на друга, будто высматривая, кто победитель, а кто побежденный. Там и сям еще стелется дым пожаров; на улицах, как и у москвичей на душе, мрачно, тревожно. В центре взад-вперед проносятся грузовики, до краев забитые стоящими в кузове триумфаторами, которых оказалось значительно больше, чем участников боев. Физиономии страшные, взоры дикие, одеты кто как, но выражения лиц отталкивающе радостные. <...>

Мы начинаем готовиться к поездке на Дон, собираем — ненадежную и противоречивую — информацию о движении поездов, о том, как организовано новой властью железнодорожное сообщение. Выходят газеты, в том числе демократической направленности; "Русские ведомости" и "Власть народа" не жалеют бранных слов по адресу "узурпаторов", однако весь город наводнен разнообразными большевистскими "правдами" и "известиями".

О коммунизме пока ни слова. Лозунг дня: *Вся власть Советам**; притом известно, что власть в этих Советах принадлежит большевикам. Левое крыло эсеров, так называемые максималисты, пошли на сотрудничество с большевиками; некоторые меньшевики, как и в дни восстания, тоже. Их недавние товарищи из двух социалистических партий пока еще на свободе, но уже носят клеймо "отступников" и "предателей пролетариата". По всему городу устраиваются облавы, объект определяется по принципу: "белогвардеец", "буржуй", "контрреволюционер". Иностранцев, кажется, пока не трогают. Мы стараемся вжиться в образы, навязанные нашими фальшивыми паспортами. Разговариваем в основном по-польски. Хозяйская прислуга о нашем пребывании в доме не знает. Я в это не верю, но помалкиваю: очень уж часто иллюзии помогают сохранить жизнь, а правда обременяет, как бесполезный груз.

Несколько встреч с интеллектуалами. Неприятный и бессмысленный разговор с Бердяевым. Блестящий философ, бывший социалист, ныне вдохновенный пророк религиозного возрождения ищет в большевизме творческое начало русского духа и — рассчитывая на благосклонность Провидения к новым властям — уповает на достижение отечеством светлого будущего посредством возрождения в православии (спустя несколько лет он будет изгнан большевиками вместе с другими "предателями пролетариата"). <...>

Наконец нам сообщают, что послезавтра в Киев отправляется скорый поезд со спальным вагоном. С помощью благожелателей достаем билеты. Наступает момент трогательного прощания с нашими отважными хозяевами. Прощаться всегда грустно, в особенности если в уме крутится "навсегда" — тем более когда неизвестно, что́ ждет людей, предоставивших нам кров. В сумерки мы пешком отправляемся на вокзал.

* Курсивом выделены слова, написанные в тексте по-русски или по-украински. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Проездом в Киеве

Уже не помню, какая в это время в Киеве была власть. Поездка растянулась на три дня. Нам докучал голод, угнетал вид оборванцев – наверняка безбилетных пассажиров битком набитого поезда, однако вломиться в купе с *иностранцами* еще никто не осмеливается. Проверка документов – раз в Москве, раз в пути и на вокзале в Киеве – пока тоже была весьма поверхностной.

Улицы Киева заполонены людьми, каждый второй – офицер без погон. Перед лучшей гостиницей на Крещатике стоит *лихач*: шикарный экипаж, породистый рысак. Извозчик, как мне рассказали, – полковник генштаба, якобы служит какой-то разведке. Какой, никто не знает. На тротуарах множество женщин; истинные дамы встречаются редко, зато сколько угодно барышень, ищущих приключений. Уже распространяется эпидемия создания всевозможных конспиративных центров, "штабов", разведок и контрразведок, что является симптомом морального разложения, злокачественного сифилиса человеческой совести, растлевающего и губящего молодое поколение. Мечта этих барышень – пристроиться в какую-нибудь подпольную организацию: их влечет не только романтика приключений, но и возможность освободиться от бремени прежних нравов и старорежимных представлений о приличиях.

Барышни, в меньшей степени юноши и даже дамы из благопристойных мещанских и интеллигентских семей, начинают мечтать о службе в *разведках*; предложений много, да и спрос немалый. Сейчас, годы спустя, кажется, что для послереволюционного времени характерен синтез РАЗВЕДКА-КОНТРРАЗВЕДКА. Возможно, я ошибаюсь, но тогда, наблюдая изблизи за этим психозом, пришел к заключению, что преступления революции и контрреволюции зачастую рождаются из теории и практики шпионского ремесла – самой подлой из профессий, когда идеологические мотивы отступают на второй план, а то и используются для маскировки желающими избавиться от этических тормозов.

Комиссионные магазины, которые видишь чуть ли не на каждом углу, – тоже знак времени в период массового перераспределения земных благ. В этих магазинах продается все: и то, что удалось сохранить людям, еще вчера принадлежавшим к привилегированному сословию, а сегодня обездоленным, и то, что удалось награбить вчера еще неимущим, а ныне привилегированным.

Активно развивают деятельность наиболее предприимчивые граждане всевозможных наций и сословий, пользуясь как

отменой законов и правил, регулировавших промышленность и торговлю, так и наивностью и беспомощностью новых декретов, циркуляров, уведомлений. Как грибы после дождя растут всяческие "центры" — Центросахар, Центрожелезо, Центромасло, Центрокрупа и т. п. (одно популярное кафе на Крещатике в узких кругах даже прозвали "Центрожопой"). Их создатели боязливо поглядывают на радикально настроенную народную власть, однако действуют чрезвычайно энергично — и в их карманы льется не иссякающий золотой поток.

Расцветает контрабанда — всех видов. Огромное количество и разнообразие новых границ и зон с их нестабильностью открывают безбрежное поле деятельности контрабандистам, ловкачам и аферистам. Жизнь города бурлит, бесконечные перемены побуждают к авантюризму и сами ускоряются, а истинная подоплека "дел" и "делишек" прикрывается гениальной мимикрией, позволяющей приспособиться к любому режиму, которому предстояло по многу раз сменяться.

Мы стараемся разобраться в политической экзотике *сечевиков*[7], и тут выявляется несхожесть оценок нового для нас обоих понятия "*самостийность* Украины". Я безоговорочно за украинское самостановление; Савинков относится к происходящему с соглашательской терпимостью и слегка иронически. Между тем мы каждый день сталкиваемся с лихими ордами, прибывающими в Киев со всех фронтов: это и легальные дезертиры, и невесть откуда взявшиеся *молойци*, ищущие, чем бы поживиться. Из них-то и сколотятся банды разных атаманов и *батьків*, чтобы самовластно, не признавая никаких законов, залить кровью и огнем пожаров *рідну неньку Украйну*.

Киев не сулил нам ни безопасности, ни политической атмосферы, подходящей для осуществления наших контрреволюционных планов. Поэтому мы, не мешкая, покинули город и по истечении затянувшегося на несколько дней тягостного путешествия, когда на каждой станции поезд штурмовали толпы грязных, завшивленных кочевников, сошли на перрон в Ростове-на-Дону.

Переправа на "белую" сторону

В Ростове бушевал большевистский революционный праздник. Улицы были забиты слоняющимися взад-вперед солдатами, казаками и местным простонародьем. По всему городу проходили нескончаемые собрания. Из трактиров и чайных неслась музыка, пение и пьяные крики. Стрельбе в

воздух и в потолок сопутствовал звон бьющегося стекла и возгласы торжествующего сброда. Прохожие, останавливаясь перед пропагандистскими плакатами новой власти и новых общественных организаций, увлеченно знакомились с основами новой морали, мудрости и справедливости. Особенно густая толпа собралась перед плакатом, гласившим: "...буржуазия захватила самых красивых, самых лучших женщин! С сегодняшнего дня они принадлежат нам..."; чтение сопровождалось одобрительными восклицаниями.

А вокруг, куда ни глянь – везде грязь, неразбериха и кажущиеся совсем уже бессмысленными крики. Савинков язвительно замечает: внешний облик Ростова вселяет в него трогательную уверенность, что он в России.

Мы обосновались в маленькой дрянной гостинице в тихом месте далеко от центра, мечтая выспаться после почти бессонного путешествия. Но прежде нам обоим предстояло кое-что сделать. Я занялся важным делом – подготовкой к поездке в Новочеркасск. У меня в Ростове были *явки* – адреса простых, но верных людей; казавшиеся ненужными, когда мне их вручали, они оказались необходимыми для переправы из большевистского Ростова в контрреволюционный казацкий Новочеркасск. Между исступленно торжествующим Ростовом и патриархальным Новочеркасском проходила линия бело-красного раздела, уже называемая фронтом и бдительно охраняемая с обеих сторон. Необходим был надежный проводник. Что по одну сторону, что по другую в пути неизбежны были задержки с требованиями объяснений, а подобные заминки в те времена заканчивались доставкой либо в некое учреждение с коротким, как предсмертная икота, названием Чека, либо в белогвардейскую *контрразведку*, что тоже ничего приятного не обещало.

Маршрут тайного перехода через фронт я обсудил с мещанином из предместья Ростова, которого мне порекомендовали в Москве. Он взялся перевезти нас в своем тарантасе перед самым рассветом, когда красные патрули сморит сон.

Савинков между тем с помощью своего однопартийца военврача Григорьева, бывшего областного комиссара Временного правительства, прекрасно разбирающегося в тонкостях нового режима, собрал важную политическую и военную информацию, представляющую огромную ценность для командования белых.

Осенние ночи на юге России долгие и неспешные. Светает поздно, и темнота заботливо прикрывает темные делишки таких бродяг, как мы.

Около трех часов меня разбудил тихий стук корявого пальца в дверь. На улицах пусто, зябко, туман, полумрак. Кое-где смутно маячат тени неутомимых проституток. Во всех кабаках хмельная тишина. Трудовой день давно закончен, возможности ночи исчерпаны до дна. Снег, втоптанный в грязь и скованный легким морозцем, приглушает тарахтенье колес, которые, конечно, жутко грохотали бы на голых камнях.

Сырой холодный воздух пробирает до костей, но мы, слава богу, едем. Документы (конечно, фальшивые) у каждого в правом кармане пальто; в левом — оружие. Сразу же за городом въезжаем в кусты и почему-то долго среди них петляем. Тьма вверху почти черная, ниже — темно-серая. В глаза летят то ли клочья тумана, то ли редкий снежок. Время тянется все томительнее. Сонный мозг, забитый невеселыми мыслями, встряхнувшись на ухабах, гонит эти мысли прочь, освобождая место бдительности.

Спустя несколько часов, выбравшись из кустарника и покружив по голой степи, въезжаем в высокие заросли. Светает, вблизи уже можно кое-что различить. И вдруг возница, откинувшись назад, испуганно шепчет:

— *Плохо дело... ихняя застава.*

Сквозь мглистую пелену мы увидели впереди за редким жердняком трех оборванцев, целящихся в нас из винтовок. Дрожащий от страха голос прохрипел:

— *Вылезай и покажи документы!*

Мы вылезли и направились к ним, нарочито громко и беззаботно переговариваясь. Я шел первым, Савинков за мной, оба готовые достать "документы" из... левого кармана.

Не доходя нескольких шагов до оборванцев, я вежливо начал: "*А вот и наши доку...*" — и уже стал вытаскивать из кармана руку с револьвером, который — скажу не хвалясь — меня никогда не подводил, как вдруг услышал за спиной шепот Савинкова:

— Не стрелять. Это свои, — прошипел он по-польски.

И вправду, мы наткнулись на заставу казацкой станицы, которая первой оказала отпор ростовским красным. С холодком в душе я осознал, к чему привела бы моя победа над тремя стражами границы. Быстрота реакции Савинкова не только спасла жизнь им, но и нас избавила от дурацкого бесславного конца на станичной виселице.

Похоже, для Савинкова началась счастливая полоса: в станичном штабе его радостно и шумно приветствовал знакомый полковник, служивший в 7-й армии, когда Савинков был там военным комиссаром. Наши личности были немедленно

установлены — не понадобилось даже предъявлять “документы”, что могло бы плохо закончиться. <...>

Мы переночевали в станице, перед тем отменно поужинав в гостеприимном доме полковника. За наше здоровье было выпито немало превосходного цимлянского, а за погибель большевиков — монопольной водки... <...>

Вечерние колокола

В Новочеркасск мы прибыли под вечер.

В тишине зимних сумерек гудели огромные колокола собора, управляя колоколами поменьше, призывавшими православных к субботней всенощной.

Я с детства привык вслушиваться в музыку церковных колоколов и сейчас расстроился, убедившись, что новочеркасские колокола бьют печально, словно бы прощаясь. И вечерняя заря над степью догорала тревожно... <...> Все не так, как в соседнем Ростове! Люди другие, общее настроение другое — в глаза бросалась невеселая озабоченность, как иной раз в доме перед выносом останков кого-то из близких.

На улицах казаки и немногочисленные солдаты в шинелях, застегнутых по уставу; все чем-то заняты или куда-то спешат. Не видно лоботрясов, бесцельно шатающихся по городу или в компании себе подобных, *лузгающих* семечки, громко переговариваясь. Трактиры закрыты, в *чайных* подают только пустой чай, который пьют до седьмого пота под издаваемые старым граммофоном звуки, похожие больше на стоны циркулярной пилы, чем на песню о том, как Маруся отравилась... Гражданское население одето опрятно, бульвары подметены. Не слышно кабацких воплей, вечер тихий и кажется безопасным. Лишь иногда далекое эхо перестрелки напомнит, что идет война и конца ей пока не видно.

Изредка по мостовой проскачет ординарец на костистом донском жеребце или промаршрует в сторону Атаманского дворца отряд слишком молодо и слишком интеллигентно выглядящих солдат. Их твердый шаг, образцовый строй, безупречная экипировка, вспышки на темной стали штыков на секунду порадуют сердце. Но лишь на секунду. Ведь среди этих солдат есть почти дети. Кадеты-старшеклассники, гимназисты, студенты, юнкера с младших курсов военных училищ — все прибыли с севера, все записались в армию добровольцами. Как можно было допустить, чтобы понадобилось призвать этих юношей на помощь обесчещенному и опозоренному отечеству? Завтра они станут героями первого и второго

Ледяных походов по заснеженным донским и прикавказским степям, послезавтра — скитальцами по свету... или найдут пристанище в безымянных придорожных могилах.

Порядок и спокойствие контрреволюционного Новочеркасска лишь слегка охлаждают пыл младшего поколения станичников. Ежедневно с фронтов мировой войны возвращается молодежь, привозя в патриархальные казацкие дома заразу худого времени, помрачение ума и совести, микробы сомнений и неверия в то, чем еще вчера народ гордился.

В станицах то тут, то там, как сыпь смертельной болезни, расцветают красные вспышки этой страшной заразы, обещающей всеобщее счастье, перемену участи и свободу, свободу, неограниченную свободу. Из южных станиц, что ближе к Ростову, летят на север, вглубь донской земли, обольстительные вести о новой жизни, о торжестве справедливости: *кто был ничем, тот станет всем...*

Пока еще станицами управляют старые казаки. Пока еще в станичных советах заседают верноподданные вчерашнего царя, православные христиане, сыновья и внуки славных атаманов. Пока еще на стенах среди икон висят портреты императора, а люди бьют поклоны, призывая православного Бога покарать проклятых ляхов, евреев, социалистов и студентов, которые свергли царя и разожгли в казацких сердцах пожар дьявольского бунта. Пока еще отцы и дети вместе садятся за ломящийся от еды стол, но уже нет между ними былого согласия, давнишнего взаимопонимания. Пока все тот же хлеб "тихого" Дона кормит и стариков, и молодых, но миры их уже едва ли не враждебны.

В такой обстановке мы провели несколько недель на земле "тихого" Дона. Тишина уже была притворной: притих он лишь после страшного кровавого усмирения, но прежним казацким Доном не стал, потому что сделался кладбищем.

Контрреволюционные аффронты и фронты

В Новочеркасске тогда собралось много представителей бывшей военной элиты и политиков. С каждым днем народу прибывало. Люди бежали из районов, где установилась власть "правительства рабочих и крестьян", уезжали на подножках вагонов, на подводах, уходили пешком. На Дон потянулись господа, переодетые пролетариями, цвет российской аристо-

кратии, интеллигенции, крупные промышленники. Тихий степной город, похожий на огромное село, с каждым часом менял свой облик, вызывая опасения местных жителей, как бы заезжие звезды не навлекли на их края месть красных.

Нам, к этой категории беженцев не принадлежавшим, хватило нескольких часов наблюдений, дополненных информацией нашего, сочувствующего эсерам, хозяина, чтобы понять: мы попали в чуждую и наверняка враждебную атмосферу.

На следующее утро северо-восточный ветер принес в казацкую столицу из приуральских степей метель, нагнав вместе со снегом уныние. Около десяти мы отправились с визитом вежливости к хозяину донской земли атаману Каледину[8]. В Атаманском дворце нас встретил симпатичный петербуржец, сотник казачьего войска Панютин, который после получасовой светской беседы ни о чем сообщил, что атаман завален текущей работой и, к сожалению, принять нас не сможет.

— *Понимаю*, — коротко ответил Савинков, сердечно пожимая руку сконфуженному офицеру.

Вернувшись домой, мы обсудили очередность последующих визитов с учетом только еще устанавливающейся иерархии учреждений и представителей власти. В Новочеркасске уже несколько недель занимались организацией Добровольческой армии генералы Алексеев[9] и Корнилов; первый взял на себя административные и политические функции, второй — военные. Были здесь также генералы Романовский[10], который исполнял обязанности начальника штаба, Драгомиров, Николай Иудович Иванов, известный как руководитель неудавшегося февральского похода Георгиевского батальона на взбунтовавшийся Петроград, Деникин, Марков, Лукомский — сплошь громкие имена прославленных военачальников царской армии. Даже в этой блестящей когорте выделялись личной отвагой легендарные генералы Врангель и Дроздовский.

После обеда мы решили навестить нашего доброго знакомца генерала Корнилова.

По отношению к нему ни мне, ни Савинкову не в чем было себя упрекнуть. Августовский мятеж Корнилова (тогда Верховного главнокомандующего Русской армией) против Временного правительства получил, правда, лишь моральную поддержку Савинкова, что и понятно: трудно было ожидать от фактического главы военного министерства открытой поддержки действий, направленных против своего правительства, nota bene плохо организованных (в чем, кстати, не было вины Корнилова). Савинков был решительным противником политики правительства Керенского в том, что касалось большевиков и большевизации армии, о чем

знали все и Корнилов в первую очередь, так что Б. В. вполне мог рассчитывать на доброжелательный прием. Да и я, после трех месяцев успешной совместной работы с Корниловым, командующим моей 8-й армии, в новой ситуации надеялся на дружескую встречу с генералом. Не говоря уж о том, что наш с Савинковым политический союз с контрреволюцией приносил больше пользы им, чем нам.

Корнилов принял нас немедленно, но, хоть и весьма вежливо, очень холодно, с величавостью коронного гетмана; в нем, как в котле на грани взрыва, явно клокотали обида и горечь. То и дело звучали язвительные замечания и даже угрозы в адрес демократии и демократов, революции и большевиков, будто мы были за все это в ответе.

Мы терпеливо позволили генералу выговориться. Даже внимательно выслушали, как "геройский азиат"*, злоупотребляя метафизическими обобщениями, обвинял всю культурную Россию, всю ее интеллигенцию и демократов в совершенных в ходе революции преступлениях, а заодно возложил на нас ответственность за "предательство" Керенского вкупе с его окружением – советами, комитетами, комиссарами...

Когда он наконец закончил, словно бы спохватившись, что обрушился на нас незаслуженно, Савинков спокойно сказал:

– Господин генерал, я не хочу доискиваться, какими личными мотивами вы руководствуетесь по отношению ко мне и моему товарищу. Сейчас настала историческая минута – последний момент, когда еще можно спасти от московских комиссаров ту Россию, которую мы с вами считаем своей. Для них Россия всего лишь трамплин, площадка для социологических экспериментов, безусловно, пагубных для страны. Время не ждет, надо быстро решать, что правильнее: спасать отечество вместе с разумными, патриотически настроенными демократами или положиться исключительно на черносотенцев, в чьих глазах даже вы, господин генерал, красный и демократ. Неужели вы думаете, что справитесь с миллионами одурманенного плебса силами одних только офицеров и молодежи? Мы даем вам кое-какие шансы: благодаря нашему поручительству к вам присоединятся солдаты, и вы будете руководить русской армией во имя общенациональной цели.

Простые слова Савинкова, похоже, озадачили Корнилова. Он на минуту задумался и, словно отмежевавшись от настроений своего ближайшего окружения, бросил повелительно:

– Идем вместе!

* Так называли Корнилова из-за ярко выраженного восточного типа лица.

Затем, уже в совершенно иной атмосфере, мы обсудили возможность введения нас в Политсовет[11] при главнокомандующем Добровольческой армией. Какова будет роль этого органа, никто еще не уточнил, и нам трудно было себе представить масштабы его влияния и поле деятельности. Остановились на том, что наше присутствие в Политсовете должно способствовать росту доверия общества к генеральскому предприятию.

Визит к генералу Алексееву на следующий день ничем не был примечателен. Предложение Корнилова ввести нас в состав Политсовета Алексеев формально одобрил, но более существенных тем, как и мы, не касался. Он принадлежал к той немногочисленной части генералитета, которая, видя распад империи, возлагала на царя ответственность за состояние государственных дел и признавала необходимость смены строя революционным путем.

Совсем другое впечатление оставила долгая откровенная беседа с генералом Романовским. Романовский был и остался монархистом, однако, как человек широко мыслящий, умел считаться с реальностью. Его монархизм, как он сам говорил, не только не мешал объективной оценке событий, но и постоянно требовал согласовывать убеждения, чувства и даже вкусы с фактами. По его мнению, в сложившейся ситуации цель военной контрреволюции не должна сводиться к физическому уничтожению большевиков — необходимо увлечь за собой как можно более широкие массы, убедив их в том, что встают они на защиту собственных интересов. А контрреволюционеров, уверенных, что достаточно будет запугать взбунтовавшуюся чернь с помощью виселицы, нагана и нагайки, Романовский считал опасными авантюристами, которые принесут больше вреда их движению, чем большевикам.

Разговор затянулся на несколько часов. Романовский внимательно прислушивался к не внушающим оптимизма суждениям Савинкова об элитарной армии — как бы уже изначально антагонистичной массам "армии господ". Когда же Б. В. прямо спросил, что генерал думает о нашем сотрудничестве с Политсоветом, тот ответил коротко и твердо:

— Уезжайте отсюда безотлагательно. Послезавтра может быть уже поздно. Здесь ваши враги сильнее ваших друзей. Помогайте нам извне. <...>

Произошедшая в тот же день попытка покушения на Савинкова указывала на первые симптомы болезни, которую я бы назвал бытовой и нравственной большевизацией. Вскоре ею будут затронуты обе враждующие стороны. Борцы с революцией не осознавали, что уже заражены, что революция произошла в них

самих, разрушив нормы порядочности и искоренив рыцарские традиции. С немцами и австрийцами ведь тоже воевали, но в них не видели личных врагов, их не презирали, безоружным в лоб не стреляли. Взять хотя бы такую картину... В числе нескольких штабных офицеров я жду приема у начштаба корпуса. У стены понуро сидит пленный австрийский генерал. В какой-то момент я спрашиваю у своего полковника разрешения закурить. Тот, глазами указывая на вражеского генерала, делает мне замечание: просить разрешения следует у старшего по званию...

Жестокость и презрение к противнику были свойственны и красным, и белым. Убивали не только в бою — убивали пленных, убивали по доносу, по подозрению, убивали — и это была уже высшая степень безумия! — по принципу: кто не с нами, тот против нас.

Младшие офицеры обоих армий, баловни слепой судьбы, расцветали, будто ядовитые растения на обильно удобренной кровью почве, становясь генералами и *командирами*, атаманами и вожаками — жестокими и бесчеловечными. Они оставляли за собой пепелища и трупы, а их страшная слава отравляла пропитанные страхом души, порождая новых преступников, завороженных мистикой преступления, которое все чаще ассоциировалось с геройством. Контрреволюция и революция легко создавали легенды о героях, запятнанных кровью. В народе долго будут ходить рассказы о бандитских атаманах — таких как Махно, Щусь или Орлик, с одинаковой кровожадностью вырезáвших "господ" и коммунистов.

Одна из кровавых картин тех проклятых лет до сих пор у меня перед глазами. Старый слуга божий, православный священник из украинского городка отец Никодим, окруженный сворой гогочущих борцов за пролетарскую справедливость, на декабрьском морозе умирает с распоротым животом возле телеграфного столба, к которому гвоздем приколочена его кишка...

А один из вождей белой армии, получивший громкую известность, после того как отбил у красных большой город на Волге, выслушав донесение об аресте городских властей, не сходя с места выносит приговор: "Немедленно повесить!".

Но это все произойдет позже.

Политсовет, или Первые трещины формирующегося общего фронта

К концу продолжавшегося несколько дней инкубационного периода Политсовет Добровольческой армии определил себя

как политико-административный орган проектируемого государственного образования Юга России[12] – такая формулировка позволила обойти режущие генеральский слух названия уже возникших республик (Донская, Кубанская и Дагестанская), не выказывавших особой охоты солидаризироваться с общероссийским делом. Между тем в Добровольческой армии уже на этом зачаточном этапе проявилась тенденция к *собиранию русских земель*, что было оправдано заявленной целью: свержение власти большевиков, захват Москвы, освобождение Петербурга и контрреволюционное "возрождение". Молодые же республики хотели только защищать свою самостоятельность. Осознавая большевистскую угрозу, они кое-как поддерживали контрреволюцию, однако втайне мечтали о признании суверенности и о мирной жизни на своей земле. Даже при таком различии целей гармоничное сотрудничество было возможно (особенно поначалу), но, к сожалению, у всех русских контрреволюционеров насущные интересы отодвигались на второй план из-за неистребимой имперской гордыни и приверженности идеям монархизма. После смерти Корнилова и Алексеева эта – безусловно, пагубная – черта апологетов "возрождения" воплотилась в лозунге *За единую и неделимую Россию*, что сыграло свою роковую роль, оттолкнув от Добровольческой армии и особенно от образовавшейся позже Русской армии Врангеля многих потенциальных союзников. Лозунг оказался не только бесполезным, но и вредным: время для возрождения российского империализма еще не настало, поскольку борьба с большевиками не была завершена, а антибольшевистские силы раскалывались. Автор этого лозунга, генерал Деникин, отец которого происходил из крепостных крестьян, а мать – из мелкопоместной польской шляхты, не был ни русофилом, ни полонофобом: в своей книге "Путь русского офицера" он категорически отмежевывался от неумной русификаторской политики царского правительства в Польше. Однако тот же Деникин очень бы удивился, попытайся кто-нибудь его убедить, что Подлясье, Вильно и Львов – не *исконно* русские земли и русская собственность, а – с гораздо большим основанием – *исконно* польские, точнее, польско-литовские (времен великой Речи Посполитой[13], несколько более старой, чем имперская Россия).

По требованию Корнилова и Алексеева Политсовет включил нас – вопреки возражениям большинства его членов – в свой состав как представителей демократии. Однако на первом же заседании на нас набросились с обвинениями.

Обвиняли нас во всем и за всех. Мы защищались и – при поддержке Корнилова, Алексеева и Романовского – отбили

атаки, но скорее теоретически, не снискав ни симпатии "коллег", ни понимания. Хуже того: поскольку мы оборонялись успешнее, чем они нападали, их едва сдерживаемая враждебность только усугублялась.

Савинков сразу перешел в контрнаступление. "Вы обвиняете революционеров в гибели России, — говорил он, — но позвольте спросить, господа, разделяете ли вы ответственность за военные поражения и где вы были, когда русские солдаты из-за отсутствия снарядов и патронов отражали атаки вражеской пехоты дубинками и камнями?.."

Я, заняв более примирительную позицию, сослался на свидетельство присутствующего на заседании генерала Романовского, бывшего начштаба нашей 8-й армии, вместе с которым мы — в полном согласии, несмотря на его монархизм, а мое республиканство, — боролись с анархией солдатских масс. Романовский пытался обелить меня как человека, "красного" по долгу службы, однако мне это не сильно помогло, а ему наверняка навредило. То, что я был в армии военным комиссаром, оказалось достаточным, чтобы в обществе блестящих военачальников я так и остался прокаженным.

Наиболее враждебно в Политсовете к нам (в первую очередь, ко мне) отнеслись Деникин и донской атаман Каледин, не видевший разницы между нами и большевиками, а также самые отважные и, возможно, по этой причине демонстративно дарившие нас презрением Марков и Дроздовский.

Однако, поскольку мы доказали, что стоим на антибольшевистских позициях, в Политсовете нас оставили и наделили определенными обязанностями: Савинкову было поручено руководство заграничной пропагандой, мне — организация отдела национальных меньшинств.

Уроки путешествий

В середине января нам были сделаны предложения, представлявшие собой наименее обидную форму избавления от неудобных союзников. Савинкову генерал Алексеев от имени Политсовета предложил отправиться в Москву в качестве эмиссара Добровольческой армии для связи с тамошними антибольшевистскими организациями. Меня назначили помощником дипломатического представителя Добровольческой армии при украинском правительстве в Киеве. Представителем был Игорь Демидов[14], бывший член Думы и бывший товарищ министра [земледелия] Временного правительства; тогда мы еще не были знакомы, но впоследствии стали близкими друзьями.

Я считал, что уезжать в разные стороны и Савинкову, и мне следует тайно, чтобы не дать возможности политическим и личным врагам ликвидировать нас в пути или (что было бы еще проще) при переходе какой-нибудь линии фронта передать в руки ЧК. Назначив свой отъезд на субботу и получив на этот день плацкарту в офицерский вагон, я, никому не говоря, уехал ночью в пятницу в *теплушке*, забитой казаками, дезертирами и *иногородними*.

Из Новочеркасска поезд шел, не соблюдая никакого расписания, целые сутки. До пункта, где начиналась ничейная земля, добрались только на вторую ночь. В дороге я познакомился кое с кем из пассажиров, и мы решили вместе, небольшой группой, прокрасться мимо редких красноармейских постов. Настоящие бои между белыми и красными еще не начались, хотя в результате вылазок с обеих сторон и перестрелок уже наметилось некое подобие фронта.

Из вагона мы вышли морозной ночью в чистом поле; предстояло пройти километров пятнадцать по степи. Вскоре к нашей группе присоединились двое из другой *теплушки* – судя по внешнему виду и манере говорить, мещане. В темноте я не сумел толком их разглядеть, но инстинктивно старался держаться подальше. Очень уж они были болтливы и натужно жизнерадостны, резко отличаясь этим от нас, думавших исключительно о том, как благополучно пересечь демаркационную линию.

Несколько часов мы ковыляли по едва присыпанной снегом скользкой дороге, и вдруг один из наших новых спутников предложил переночевать где-нибудь под крышей. Второй, немедленно подхватив эту идею, сообщил, что неподалеку находится дом его доброго знакомого, куда нас охотно пустят переночевать и, возможно, даже напоят чем-нибудь "горяченьким". "А то и самогону не пожалеют", — соблазнял нас он.

Действительно прошло немного времени, и на обочине сверкнули два одиноких огонька. До станции оставалось еще несколько километров. Четверых уговорили попроситься на ночлег. Я и еще двое, последовавшие моему примеру, не поддались искушению. Мы молча зашагали в ночь, а остальные, весело с нами попрощавшись: "До завтра, встретимся на станции!" — свернули с дороги.

Встретиться не довелось. Один из ушедших вскоре нас догнал. Дрожащим голосом он прошептал: "Избили всех, порезали... меня не заметили: я вышел по нужде, а когда услыхал крики, заглянул в окошко и увидел...".

То было время охоты на всевозможных *беженцев*. Охотники верно рассчитали, что каждый *беженец* захватит с собой самое ценное.

Вот и маленький степной полустанок. Вчера он был отбит у белых партизан. На перроне толпа, гомон. В буфете на полу спят вповалку солдаты, крестьяне, *беженцы*.

Меня узнал солдат 8-й армии. Узнал, но не выдал. Видимо, желая на всякий случай продемонстрировать мне или, скорее, самому себе собственное благородство, он отвел меня за станционное здание, где к стене были прислонены десятка полтора зверски изуродованных обнаженных трупов. Мой благодетель сообщил, что это кадеты и еще какие-то молодые добровольцы из разгромленного накануне отряда белых. Все обледенéлые, серые, у всех мужские органы отрезаны и засунуты — кому в распоротые животы, кому в рот.

Еще несколько дней в пути — то по железной дороге, то на лошадях, и опять в *теплушке*, в толчее и духоте. Наконец, поздней ночью, выхожу на большой станции. Кажется, это был Казатин, хотя поручиться не могу. Опять густая толпа солдат и штатских. Просторный зал ожидания забит и загажен. Полностью безразличный к своей участи, я брожу по нему, пошатываясь от усталости, и высматриваю среди спящих на каменном полу хотя бы полметра свободного пространства, чтобы перед смертью дать отдых измученным мышцам и костям.

На мне драное пальто, на голове *ушанка*, на ногах совсем еще приличные ботинки, в Новочеркасске намеренно подбитые дырявой подошвой; физиономия обросла недельной щетиной. Тупо слоняясь по вокзалу, я ловлю на себе чересчур пристальные взгляды нескольких солдат, стоящих возле пустого буфета.

— Гражданин, ваши документы, — кивком подозвал меня один из них.

Я проталкиваюсь к буфету, бросаю дорожный мешок на пол и кряхтя вытаскиваю из кармана плотно набитый полотняный бумажник. Кладу его на буфетную стойку, раскрываю и начинаю поочередно предъявлять “документы”, откладывая в сторону те, что уже показал. Набралась их целая стопка, все, конечно, фальшивые. Довольно бегло просматривая документы, один из солдат заводит разговор о моих сапогах.

— А обувка-то, видать, у вас крепкая. Нам бы такую! Вы, гражданин, небось по сухому разъезжаете, а мы воюем в снегу, в грязи... дырка на дырке...

Пока он произносит эту тираду, а его товарищи разглядывают мои ноги, я краешком глаза замечаю, что очередной приготовленный для проверки документ у меня в руке — плацкарта Добровольческой армии. Как я мог забыть ее уничтожить!!! Меня будто громом ударило. На минуту я чуть не потерял сознание, а потом началась игра за жизнь.

Размахивая плацкартой у солдата перед носом, я горячо защищал свои ботинки. В какой-то момент, нагнувшись, чтобы сподручнее было показывать дырявые подошвы, я небрежно положил плацкарту в кучку уже проверенных бумажек, одновременно другой рукой сгребая со стойки непроверенные.

— Вы правы. Негодные башмаки. Что там у вас еще?.. Ага... народный учитель. Ну, значит, вы с нами... Спасибо, *товарищ*, идите отдыхайте, до Киева, если в километрах считать, путь короткий, а занять может не одни сутки.

Наконец я нашел свободное место под столом, втиснулся между спящими, подложил под голову мешок... И не уснул. В голову лезли беспорядочные мысли, перед закрытыми глазами вставали картины последних дней. Я пытался анализировать разнородные впечатления, как будто кто-то назойливо нашептывал мне: подумай, подумай и скажи, что же это такое — русский народ, среди безумств и преступлений которого ты ищешь свой путь к нормальной человеческой жизни?

В конце концов, словно реликт минувших времен, появился какой-то странный "курьерский", идущий в Киев. В спальные вагоны первого класса ринулась толпа завшивевших победителей. А я сел в полупустой вагон третьего класса и до Киева доехал почти спокойно, едва ли не с удобствами...

Киевская резня

Из Новочеркасска в Киев я добирался дней десять. Пришлось несколько раз пешком пересекать линии фронтов, где воевали белые с красными, а также разнообразные *атаманы* и *батьки* с теми и другими и между собой. На вокзале в Киеве я узнал, что как помощник представителя Добровольческой армии при украинском правительстве с приездом опоздал: правительства этого уже не было. Были большевики[15].

Вначале, впрочем, был вокзал, заплеванный шелухой от *семечек*, заваленный всяким прочим мусором и... почти пустой. После станций и полустанков, пропускавших через себя орды бессчетных революционных туристов из всех уголков России, это безлюдье казалось особенно странным потерявшейся в огромном вокзальном пространстве кучке оборванцев, сошедших вместе со мной с поезда. Мы удивленно переглядывались; ясность пришла очень скоро, когда мы узнали, что в Киеве уже не первый день режут "контрреволюционеров".

Это был печально знаменитый киевский погром[16], который, согласно более поздним подсчетам, стоил жизни трем ты-

сячам офицеров, юнкеров и гражданской молодежи, за несколько дней уничтоженных чекистами и подбиваемой на массовые преступления озверевшей толпой. Достаточно было выглядеть приличным человеком или испуганным взглядом выдать покорность обреченного, чтобы погибнуть на месте от руки случайных или профессиональных борцов за "историческую справедливость". Хватало и выродков, которые готовы были убивать едва ли не каждого встречного, если интуитивно (но почти всегда безошибочно) угадывали в нем чужого. При поддержке сотен агентов ЧК людей уничтожали прямо на улицах или вытаскивали из квартир и гнали на днепровские склоны Царского сада, где производились массовые экзекуции. Среди палачей нередкостью были пьянство и наркомания. Почти все интеллигенты и полуинтеллигенты в рядах красных активистов баловались наркотиками; народ попроще обходился самогоном, которого тогда было сколько угодно. Одновременно ширилась сексуальная разнузданность. Я видел в Киеве несовершеннолетних проституток, которые, нанюхавшись кокаина, нетрезвые, одержимые детской похотью, не ощущая мороза устраивали вокруг уличных костров дикие пляски, задирая до пупа юбки, распевали омерзительные блатные песни.

Я сел в одну из трех стоящих перед вокзалом пролеток, обшарпанных и "пролетаризированных", как все вокруг. Велел отвезти себя на угол Приречной и Крещатика. Старик извозчик, даже особо ко мне не приглядываясь, добродушно пробормотал себе под нос:

— Езжай лучше, *барин*, в другое место, на Крещатике покамест еще неспокойно, страсть сколько вашего брата поубивали!..

Я, постаравшись, чтобы моя реплика прозвучала по-хамски, оборвал старика, заявив, что никакой я не *барин*. Он же, полуобернувшись, мельком окинул меня проницательным взглядом и беззлобно рассмеялся:

— Ох, сударь, офицерскую рожу и кирпичом не отдраишь.

Предостережение меня не порадовало. Если первый встречный извозчик насмехается над моей якобы пролетарской внешностью, что́ будет, если на его месте окажется опытный чекист? Тем не менее я не отменил поездки. В те времена выказывать страх или даже колебания было опасно.

На углу Приречной я вылез из пролетки и, чтобы запутать следы, дальше пошел пешком. На следующем же углу я свернул на улицу, параллельную Крещатику, и направился в квартал, где было много маленьких дешевых гостиниц. Хозяйка одной из них тоже сразу распознала во мне переодетого *барина*, а я в ней — особу испуганную, но заслуживающую доверия,

и, послушавшись ее совета отправиться в гостиницу "Европейская" ("Назовитесь польским *беженцем*, там будете в безопасности, поляков пока не трогают"), вернулся на Крещатик.

Тройная жизнь

На киевском старте судьба оказалась ко мне благосклонна. На кровавое побоище я опоздал: убийства классовых врагов через несколько дней прекратились. А вскоре большевики были изгнаны из города гетманом Скоропадским, то есть немцами[17].

Пробыв три дня в "Европейской", где полно было красных *командиров* (а среди них немало прячущих лица белогвардейцев) и где я встретил нескольких польских помещиков, плохо понимающих, что́ творится на свете, я перебрался на Пушкинскую, в большую квартиру на третьем этаже, сняв комнату окном во двор. Представляясь хозяйке квартиры, я назвал фальшивую фамилию, ничего не говорившую благородной польской пани, и таким образом избавился от неизбежных в дворянско-помещичьей среде вопросов типа "А вы откуда? А кого там знаете? А с кем в родстве?". В гостинице стараниями парикмахера я превратился в типичного поляка, к тому же переоделся и приобрел вполне пристойный вид, так что хозяйка пустила меня в квартиру без лишних расспросов. Там я и оставался вплоть до событий, едва не завершившихся виселицей в Лукьяновской тюрьме[18], о чем подробный рассказ впереди.

Моя подпольная жизнь в киевский период покатилась по трем колеям. Первую колею определила миссия, порученная мне контрреволюционной Добровольческой армией. Вторую я делил с моими старыми товарищами из военно-революционного комитета 8-й армии (в борьбе с немцами мы объединялись даже с большевиками). И, наконец, пришел черед ПОВ[19]. С членами каждой из этих конспиративных групп меня связывали не только убеждения, но и дружеские чувства; я уважал людей, с которыми мне довелось работать, и часто ими восхищался.

Начну с описания отдельных групп.

Александра, или Русская контрреволюция

Игоря Демидова, который (в качестве представителя Добровольческой армии при Украинской Центральной раде) должен был быть моим начальником, следуя тайным указателям, я оты-

скал на так называемой явке — в большой квартире дома, стоявшего на приятной тихой улице в аристократическом районе Липки. Квартира была снята на имя Александры Коссиковской, бывшей *фрейлины* старой императрицы Марии Федоровны (русской по отцу и англичанки по матери). В свое время об Александре много писали в великосветской хронике в связи с ее несостоявшимся браком с великим князем Михаилом, братом императора. Романтическая помолвка по престижным соображениям была безжалостно расторгнута царем, а барышню отправили к родственникам матери в Англию, откуда она вернулась после Февральской революции.

Больше, чем женская красота в самом расцвете (было Александре тогда, вероятно, тридцать с небольшим), привлекала незаурядность ее личности. Высокая, стройная блондинка, изысканная и необычайно естественная, веселая по натуре, притом умная и образованная, Александра (которую самые близкие звали Диной) была в равной степени холодносдержанной царицей салонов и самоотверженной патриоткой, исключительно благородной и не знающей компромиссов. Она вызывала восхищение и уважение; дружеские чувства, которые мы все к ней питали, и обожание были лишены романической окраски.

Мы называли ее femme inspiratrice* — она действительно была автором многих прекрасных идей, неисчерпаемым источником силы духа и кладезем мудрых советов, а главное, обладала безошибочной интуицией. И при этом была наделена всеми чертами femme impératrice**. Не раз мы с Демидовым говорили о том, что судьба России могла бы сложиться по-иному, если б царицей стала Александра. Сейчас, несколько десятилетий понаблюдав за историческими событиями, я думаю точно так же.

Второй важной персоной на конспиративной квартире в Липках была Екатерина (Катруся) Мейендорф[20], маленькая, коренастая и очень "простонародная" баронесса, разделявшая все общие радости и горести, правая рука Александры и наш диктатор-распорядитель.

Мы, четверо — обе дамы и Демидов, — довольно быстро стали называть друг друга по имени, во избежание излишней фамильярности не переходя на "ты". Исключительно для них я был Каролем, а в любом другом обществе и других обстоятельствах — Александром Батьковичем.

* Вдохновительница (*франц.*).
** Императрица (*франц.*).

Дом в Липках был центром, через который прошло очень много людей, часто замечательных, нередко выдающихся, но лишь нас четверых сплотила дружба, подкрепленная духовным родством и молодостью. Когда север России охватило пламя большевистской революции, русская аристократия, а за нею интеллигенция и все, у кого имелись те либо иные материальные или политические основания, словно перелетные птицы устремились на юг. На юге тоже была революция — та же и такая же, если не хуже, поскольку сопровождалась постоянными встрясками из-за смены режимов (за два года не меньше дюжины раз), — однако в промежутках людям, становившимся все менее требовательными и все более легковерными, казалось, что жить здесь легче и безопаснее. В Петрограде уже с конца 1917 года царил голод, тогда как на юге, особенно в Киеве, даже в худшие периоды, провизия была в изобилии вплоть до конца 1918 года. В нашей конспиративной квартире подолгу жили профессор Павел Милюков, депутаты Думы Родичев и Степанов (с красавицей-женой), князь Григорий Трубецкой, целыми днями просиживали Петр Струве, профессор Вернадский, княгиня Горчакова, глухонемая графиня Левашова, и многие-многие другие представители вчерашней интеллектуальной и экономической элиты великого государства.

Вскоре после прихода в Киев немецких войск Милюков возглавил редакцию газеты *Русский голос*. Этот голос то гремел, обрушиваясь на красных, то сменялся страстным шепотом, иногда клеймившим, а иногда поддерживающим немцев, ибо главный редактор довольно часто менял указания — порой на прямо противоположные.

По совету Демидова Милюков предложил мне сотрудничество в газете. В круг моих обязанностей входил западный отдел — преимущественно польские проблемы.

Татьяна, или Тактический союз с большевиками

Вскоре после приезда в Киев я восстановил прерванные отношения с армейскими сослуживцами: первым делом с Нетесиным, командиром штурмовой части, сменившим меня на посту председателя ревкома 8-й армии, а затем с унтер-офицером Лощинским, моим помощником в тот период, когда я был военным комиссаром армии, и через них — с теми, кто годился для организации вооруженной борьбы с оккупантом. С их помощью завязывались и с каждым днем крепли связи с

пролетариями в городе и крестьянами в деревнях, особенно в Таращанском районе, откуда был родом и где всем заправлял Лощинский.

Нетесин был членом социал-демократической партии, старым меньшевиком. Убежденный противник большевиков, он, тем не менее, сохранял отношения с деятелями всех социалистических партий, в том числе и большевиками. Украинские эсеры тогда тоже поддерживали с ними тактическую связь через скрывающихся от немецких и гетманских властей большевистских резидентов и согласовывали политические и саботажные акции, тем самым нарушая генеральную линию партии московских эсеров, которая в то время была уже однозначно антибольшевистской. Но здесь, на Украине, управляемой гетманом правого толка под защитой германских войск, антинемецкий фронт требовал как можно более широкой межпартийной солидарности, и пока еще сотрудничество было эффективным, хотя каждому из партнеров казалось, что в самый неподходящий момент другая сторона его обманет.

Поскольку мобилизация в 8-ю армию проходила, в основном, на территории Киевщины и Полтавщины и многие — или даже большинство — солдат знали меня в лицо, а уж по фамилии знали все, то мы с Нетесиным и Лощинским договорились обратиться к населению с воззванием, которое я подпишу, как военный комиссар правительства. Мы призовем людей оказывать немцам, военным и гражданским, вооруженное сопротивление при любых попытках реквизиции и актах насилия: за вред, причиненный имуществу, здоровью или жизни граждан отдельными лицами или группами, представляющими немецкую армию и администрацию, следует неизменно применять ответный террор.

Я написал пылкое воззвание, Нетесин, профессиональный печатник, размножил его в своей типографии в десятках тысяч экземпляров, а Лощинский, словно искрами соломенную стреху, засыпал провинцию горячими призывами мстить оккупантам.

Вскоре полилась кровь. Особых возможностей выбирать стратегию у нас не было, а единственно доступная казалась простой и убедительной. Око за око, зуб за зуб. В том, что иной раз та или другая сторона выбивала за один глаз два и по целой челюсти за один зуб, не наша вина. Такое было время. Но мы точно знали: если слабый способен защищаться, он обязан это делать. Я же, вдобавок, знал, что 2-й польский корпус был коварно разгромлен немцами под Каневом, а вокруг 1-го корпуса[21] концентрируются немецкие войска, что немцы всячески препятствуют любым проявлениям поль-

ской жизни, что они грабят Украину и истребляют население... всего этого мне хватило, чтобы отбросить какие бы то ни было колебания.

Раньше других стал кровоточить Таращанский район, сея тревогу среди расквартированных там частей. Потом ручьи крови широко разлились. Над провинциальными гарнизонами нависла угроза систематического уничтожения солдат, поодиночке выходящих за пределы казарм. Когда перестали возвращаться патрули, состоящие из трех-четырех человек, количество патрульных увеличили до десятерых и более, когда же и эти начали бесследно исчезать в мстительном мраке украинских ночей, самонадеянных оккупантов обуял страх, и они свернули распространение своей власти в глубинку. Прекратились и реквизиции. Политические перспективы немецкой оккупации становились весьма сомнительными.

Однажды вечером Нетесин взял меня с собой на особо засекреченное собрание, где я должен был встретиться с человеком, который поможет польским эмиссарам перейти границу.

Нетесин привел меня в какой-то старый дом, затерявшийся в лабиринте окраинных улочек; мы спустились в подвал, где при тусклом свете единственной свечи проходило собрание. В полумраке маячили фигуры трех женщин и нескольких мужчин, по грудь утопавших в темноте. Колеблющийся огонек поочередно вырывал из тени головы без туловищ, будто в сомнамбулическом трансе подергивавшиеся в такт пылким речам. Я обрадовался, что "человек", с которым мне по поручению руководства ПОВ-Восток предстояло договориться о переброске наших людей, — молодая невысокая худенькая девушка по имени Татьяна. Она теплым грудным голосом доложила, что переброска через северную границу *гетманштадта* уже подготовлена и никакими опасностями не грозит.

Татьяна была еврейкой и пламенной большевичкой. Нетесин отрекомендовал ей меня наилучшим образом, подчеркнув, что, будучи членом совета рабочих и солдатских депутатов, я пользовался расположением товарища Троцкого (на местечковую Татьяну это произвело впечатление). Я, в свою очередь, сделал все возможное, чтобы в распаленном уме восемнадцатилетней большевички зародилось не только доверие ко мне, но и простая человеческая симпатия, не требующая протекции вождей. Это мне удалось: не раз потом она проявила себя настоящим другом, едва ли не защитником интересов польского подполья.

На этом же собрании я познакомился с украинским эсером, необыкновенно симпатичным молодым пролетарием Борисом

Донским. Вскоре ему довелось — в последнюю минуту жизни — изменить мою судьбу (когда и моя жизнь висела на волоске).

Липкинская "контрреволюция" ничего не знала о моей подпольной "революционной" деятельности. В противном случае, несмотря на симпатию ко мне, им бы, полагаю, было нелегко понять мотивы моего поведения (а тем более его оправдать).

ПОВ

Примерно в то же время, незадолго до знакомства с Татьяной, в Киев в составе политической и военной миссии ПОВ приехала команда пилсудчиков. Благополучно миновав австрийские и немецкие кордоны, в столицу "свободной" Украины прибыли представители нового для возрождающейся независимой Польши образа мыслей — горячие сторонники братства со свободной и независимой Украиной. Это были Анджей Струг, Михал Сокольницкий, Болеслав Венява-Длугошовский, Богуслав Медзинский и Тадеуш Шатцель[22]. Все — солдаты Пилсудского, душой и телом преданные его идее.

Мой добрый киевский знакомец, Владислав Гюнтер, знаток общественных и политических течений, представил меня эмиссарам легендарного Коменданта*. Встреча произошла в Царском саду и сыграла в моей жизни решающую роль.

Сообщение Гюнтера о моем активном участии в русской революции заинтересовало патриотически настроенных польских социалистов и радикалов, что позволило им принять непростое решение — предложить мне вступить в ПОВ, закрытую и законспирированную организацию, допускающую в свои ряды только надежных, проверенных людей.

Я без колебаний согласился. У меня имелись все основания полагать, что, внедрившись в местный подпольный мир, я смогу быть полезен своему отечеству.

Богуслав Медзинский повел меня на конспиративную квартиру, где мне предстояло принять присягу и быть представленным коменданту ПОВ-Восток 2. Только по дороге я узнал, что коменданту двадцать два года. Хотя я не подал виду, меня это несколько смутило, однако необычайно чуткий Медзинский, видимо, что-то почувствовал и про себя отметил. Впрочем, и сам Медзинский, которому тогда было лет двадцать пять, выглядел мальчишкой.

* Одно из прозвищ Пилсудского (также Маршал, Дед).

Комендантом был Леопольд Лис-Куля[23]. "Мальчишеским" можно было считать разве что его подпольный псевдоним Лис – поговорив с Кулей час, я убедился, что имею дело с незаурядным зрелым человеком, умным руководителем разветвленной боевой организации.

Я старался не показывать своего удивления и искреннего восхищения, но, когда на обратном пути Медзинский с хитрой улыбкой поинтересовался, каково мое впечатление, не задумываясь честно ответил: "Я не считаю себя безошибочным знатоком людей, но мне нередко приходилось сталкиваться с руководителями крупных воинских подразделений, которые Лису и в подметки не годились. Конечно, я говорю лишь о специфической штабной интеллигенции, но, если Лис – столь же талантливый боевой офицер и командир, он поистине уникум".

По поручению коменданта Лиса я засыпал всегда готового помочь Нетесина и его типографию заказами на разного рода бланки для фальшивых документов. Хорошая подделка в те годы могла решить вопрос свободы, а то и жизни. Это же касалось печатей, которые подделывал гениальный фальсификатор, молодой парень по фамилии Нур, к сожалению, большевик. Он так увлекся работой с поляками, что предложил изготавливать для нас фальшивые банкноты, уверяя, что "наши" будут лучше "ихних". Мы, однако, уклонились от этого соблазнительного предложения.

Спустя несколько недель я случайно узнал, что неподалеку от моего жилья на Пушкинской по ночам в подвале активно работает "монетный двор", где изготовляют поддельные гривны. Из-за нехватки времени мне не удалось выяснить, для кого Нур печатает деньги: для себя, для своей партии или по поручению еще какой-нибудь, не очень привередливой организации.

Между тем славная большевичка Таня не на шутку увлеклась сотрудничеством с контрреволюционными поляками и делала все, что я просил от имени своих руководителей. Однажды, в том же самом подвале, где мы с ней познакомились, она свела меня с двумя немолодыми мужчинами. Один из них, еврей, носил музыкальную фамилию Рубинштейн; второй, русский, был якобы главным большевиком, оставленным в роли "резидента" во вражеском стане. С ними я затем встречался еще несколько раз – исключительно по поручению руководства ПОВ, не выходя за пределы деловых отношений. Я опасался неудобных вопросов, касающихся моего прошлого, ответы на которые могли бы навести их на след моей деятельности в роли военкома Временного правительства на фронте.

Хотя эти двое были не такими симпатичными, как наша юная восторженная Таня, они тоже ни разу не отказали мне в помощи, когда речь шла о получении информации или технику и даже если требовалось согласовать стратегию какой-нибудь подпольной акции, что, впрочем, входило в компетенцию Нетесина и Лощинского. Военную и политическую информацию я беззастенчиво передавал и в штаб-квартиру ПОВ, и на явку в Липках, откуда она поступала к руководству Добровольческой армии. Надо полагать, они делали то же самое — такое уж это было "сотрудничество".

Встреча "липкинских" с поляками

Польские эмиссары выразили желание провести переговоры с находящимися в Киеве русскими политиками и поручили мне организовать встречу. Поскольку я и сам уже об этом думал, почва была подготовлена, и в ближайший вечер мы отправились в Липки, где профессор Милюков, депутаты Думы Родичев, Демидов, Степанов и князь Григорий Трубецкой с понятным интересом ждали первого контакта с поляками — уже как представителями независимого народа.

Приступая к официальному знакомству, я, избрав, скорее, сентиментальную, нежели дипломатическую формулировку, сказал:

— Я счастлив, что могу представить моим русским друзьям своих польских друзей и соотечественников.

Мои соотечественники пока еще держались настороженно, но, разумеется, безупречно соблюдали светский протокол.

А "мои" русские очень внимательно приглядывались к посланцам уже хорошо известного и здесь Коменданта, до сих пор сражавшегося по другую сторону фронта. В программу встречи не входили — да и не могли входить — вопросы, требующие незамедлительного решения. Главным было произвести друг на друга наилучшее впечатление. Не случайно Трубецкой, а вслед за ним Родичев первым делом выразили свое читательское восхищение "замечательным писателем Стругом".

Выбрав подходящий момент, Михал Сокольницкий торжественно поздравил членов конституционно-демократической партии в лице Милюкова с революцией. Затем Струг от имени ППС на безупречном французском заявил, что польские социалисты всегда найдут общий язык с социалистами "великой России" (это был тонкий дипломатический ход: русским приятно было в столице Украины услышать от самого Струга слово "великая").

Беседа продолжилась по-французски, хотя Милюков, желая — из уважения к гостям — продемонстрировать знание польского, предложил панам полякам говорить на родном языке, ибо русским все будет понятно без переводчика: "так беседовали наши предки в Москве с гетманом Жолкевским[24]".

Затем слово взял Медзинский. На лицах многоопытных парламентариев мигом отразилось подчеркнуто уважительное любопытство к юному политику; впрочем, скрытое высокомерие быстро сменилось подлинным интересом. Медзинский говорил по-русски бегло, с легким акцентом, а по манере излагать свои мысли в нем угадывался превосходный оратор.

— Каков на сегодняшний день итог продолжавшегося сто сорок лет исторического эксперимента? Кто и сколько выиграл от раздела Речи Посполитой[25], от захвата ее земель вместе с населением? Полезным ли для России, огромной России, оказалось вживление в ее организм поляков с их культурой, усвоил ли этот организм чужую кровь и чужой национальный дух? Укрепила ли искусственная конструкция, зиждящаяся на насилии, внутреннюю прочность царской империи, увеличила ли ее внешний потенциал? Не пора ли, забыв про имперскую гордыню, рассмотреть в категориях разумной политики иные варианты территориального, национального и культурного сосуществования? Решать проблемы не только с позиции социалистов, связанных общей доктриной, а как представители двух народов, обреченных либо на взаимное уничтожение, либо на взаимное укрепление на основе истинного братства, то есть равенства и равноправия?

Вот мы стоим перед вами, молодые поляки, в третьем и четвертом поколении наследники тех, кто пал в борьбе за свободу своего народа и государства. Подобно нашим дедам и прадедам мы взялись за оружие, ибо так нам подсказывало сердце и представление о чести. Быть может, и мы погибнем, как наши предки, уступив физическому превосходству врагов нашей свободы, зато в очередной раз докажем, что не желаем служить идее чужой великодержавности, что наша задача — защищать национальное достоинство, подавая пример всему человечеству.

Внутренне эмоциональная, но сдержанная по тону речь произвела на русских большое впечатление. Трубецкой и Родичев вскочили с места, чтобы горячо пожать Медзинскому руку. Милюков погрузился в глубокие размышления, выходящие за пределы политической конъюнктуры. Родичев, склонный к патетике, объявил, что его рука — символ русской руки, протянутой "братьям-полякам", и высоко оценил значение

первой за сто с лишним лет встречи, назвав ее встречей “равных с равными”. После чего печально закончил:

– Дай Бог и нам, следуя вашему примеру, сделать все для того, чтобы наши встречи стали встречами “свободных со свободными”...

Страшный день

<...> Ранним утром жителей города разбудил оглушительный грохот и подземные толчки. Дома раскачивались, мебель в квартирах переворачивалась или ездила по полу, из окон и витрин вылетали стекла; звон, треск, крики, неумолчный гул; казалось, тысяча громов одновременно ударили с неба... Страх обуял всех – от самых боязливых до самых отважных. Толпы полуодетых людей – старые, молодые, дети – под аккомпанемент лая и воя собак, кинулись в сторону окраин, стараясь держаться середины улиц. На голову им сыпались осколки стекла и щепки от оконных рам. Люди перекрикивались на бегу, в панике сообщая друг другу, что город вот-вот взлетит в воздух.

Как оказалось, взорвались сотни тысяч килограммов пороха, динамита, пироксилина и экразита и бессчетное количество артиллерийских снарядов и винтовочных патронов на складах в районе Лавры[26].

Сам едва живой от страха, я наблюдал из окна за перепуганными физиономиями разбегающихся солдат, охранявших бронемашины во дворе нашего дома. Везде часовые покидали свои посты, двери штабов и канцелярий были распахнуты настежь; казалось, оккупанты психически полностью разоружены. Найдись в то утро тысяча хорошо подготовленных людей, с немецкой оккупацией можно было бы покончить без кровопролития.

К счастью, никто этой ситуацией не воспользовался. Любая победа над немцами, даже бескровная, в ближайшие часы обернулась бы победой черни над классом собственников и интеллигенцией, но победой уже кровавой; в самом скором времени следовало бы ожидать новую – большевистскую – оккупацию с участием еще более страшной силы – ЧК. Вдобавок все были уверены, что за победой красных последует очередная победа немцев, то есть произойдет новая смена режима в огне боев и обстрелов, влекущих за собой ответные репрессии. В то время еще никто, даже самые отъявленные пессимисты, не предвидели, как близка окончательная победа большевиков, которая обеспечит им долгие годы господства.

Репортаж с партизанской войны

Лис-Куля уже довольно давно систематически проводил диверсионные операции близ бывшей австрийско-российской границы, а мои русские революционеры время от времени ночью с оружием в руках сводили счеты с немецкой армией и полицией.

Газета, в которой я работал, потребовала от своего местного репортера освещения этих темных дел. Симпатичный молодой человек, видимо, наделенный репортерской интуицией, пришел с этим ко мне и спросил, не знаю ли я кого-нибудь, к кому он бы мог обратиться, не показавшись смешным.

Поскольку я считал, что факты самообороны не нужно скрывать от общественного мнения, — напротив, следует, насколько это дозволено цензурой, как можно шире о них сообщать, — я сказал репортеру (которому полностью доверял), что знаю такого человека и при первой возможности сведу с ним. Только предупредил, что об этом никто не должен знать.

Молодой человек, несмотря на сложности, связанные с комендантским часом, явился точно в назначенное время. И был поражен, поняв, что упомянутая мною особа — я сам. Я взял с него слово держать происходящее в тайне и соблюдать особую осторожность.

Мы забрались в частный сад неподалеку от Бибиковского бульвара и спрятались в кустах. Когда перевалило за полночь, на бульваре, сразу в нескольких местах, началась беспорядочная стрельба, где-то прозвучали испуганные, немного театральные вскрики, но вскоре все затихло. Немного погодя послышался приближающийся топот сапог. В слабом отсвете далекого костра посреди широкой улицы замаячил взвод солдат. Немцы шли медленно, растянувшись двумя цепочками, с винтовками наизготовку. Когда они утонули в черной тени деревьев, откуда-то грянули револьверные выстрелы вперемешку с разрывами тяжелых гранат. Пронзительное эхо выстрелов и вскриков разнеслось по близлежащим улицам, откуда тоже ответили стрельбой... через минуту все стихло. Только издалека доносился топот сапог улепетывающих немцев.

Никто, конечно, не напечатал бы достоверного отчета об этой темной истории, если б не наша газета, опубликовавшая так называемый репортаж с места событий. Спрятавшись за дымовой завесой праведного возмущения, редакция завершила текст нравоучительной сентенцией: мол, таким методом воевать с оккупационными властями вообще негоже, а с точки зрения конституционных демократов неэтично и недостойно.

Поскольку партии, практиковавшие подобные, отнюдь не рыцарские ночные подвиги, придерживались иного мнения, общественность тоже отреагировала по-разному. Одни лицемерно осуждали эти методы, другие искренне одобряли.

От Демидова к командованию Добровольческой армии пошли обстоятельные донесения, где утверждалось, что "народ" таким образом борется с оккупантами: действуя как может и как умеет, расплачивается кровью за кровь. Поскольку позиция руководства армии была безоговорочно просоюзнической, этот, смахивающий на бандитский, способ борьбы с врагом был наречен партизанским, а над партизанами ни государственные, ни военные организации власти не имели, то есть отвечать за дикие методы борьбы не могли.

Наши перипетии с Милюковым и немецкая поддержка

Наш центр в Липках уже довольно давно пребывал в растерянности. Мы с Игорем Демидовым по долгу службы проводили политическую линию Добровольческой армии, руководители которой, еще не имея четких программ государственного устройства и зарубежной политики, в том, что касалось немцев, твердо стояли на союзнической позиции, что и на нас накладывало соответствующие обязательства. Милюков же, еще недавно министр иностранных дел Временного правительства и признанный лидер партии кадетов, линию поведения в отношении как союзников, так и немцев, постоянно менял. Однопартийцы Милюкова, в том числе Игорь, не одобряли замысловатой политики своего лидера, однако не осмеливались ее критиковать. А суть этой политики заключалась в следующем: "дружбу" с союзниками надлежит поддерживать "постольку-поскольку" — ради того чтобы торговаться с немцами на равных. Поэтому просоюзнические настроения в русской среде Милюков то охлаждал, то подогревал — в зависимости от хода переговоров с немецкой стороной.

Неоспоримый прагматизм такой политики ставил русский "белый фронт" в затруднительное положение по отношению к союзникам, материально обеспечивавшим этот фронт, и оскорблял белых генералов, считающих верность союзникам делом личной и национальной чести. Старорежимные генералы ухитрялись сочетать восхищение агрессивной политикой российских правителей с презрением к тому виду национального эгоизма, выразителем которого

был Милюков. Впрочем, большинство из сохранивших преданность царю ненавидели профессора как одного из основных виновников падения царизма.

Отношение к Милюкову правительства гетмана Скоропадского и немецких властей также было неоднозначным — прежде всего, из-за его подозрительно сложной позиции по вопросу о независимости Украины. Немцы отнюдь не спешили признавать "равноправие сторон", которого так добивался Милюков. Разрешению проблемы не способствовало и то, что премьер и несколько министров гетманского правительства принадлежали к партии кадетов, моральным и политическим лидером которой оставался Милюков.

Сам Скоропадский, как царский генерал, вчерашний командующий лейб-гвардии конным полком и флигель-адъютант Его Императорского Величества, презирал Милюкова за его роль в революции, но, будучи гетманом независимой Украины, вынужден был признавать его persona grata, с которой немцы ведут переговоры более важные, чем обсуждение украинских проблем и личные sentiments d'épiderme* ее гетмана.

Господин Гаазе (псевдоним великого герцога Эрнста-Людвига Гессенского и Рейнского, старшего брата императрицы Александры Федоровны), представитель императора Вильгельма, рассчитывал в переговорах с Милюковым найти пути восстановления былой дружбы Германии с Россией при сохранении враждебности к союзникам. Кажется, он искренне этого хотел.

Сторонники *щирой* националистической идеологии в правительстве гетмана ненавидели Милюкова как неизлечимого российского империалиста.

Принадлежавшие к гетманскому лагерю россияне, сменившие ориентацию на пронемецкую (Безак, граф Келлер и многие другие), не желали иметь дела с Милюковым как с революционером, предавшим царя.

Немцы превосходно разбирались во всех этих тонкостях; когда им надоело милюковское лавирование ("постольку-поскольку") между ними и союзниками, а извлечь хоть какую-нибудь выгоду из уступок побежденному противнику они уже не могли, то решили, воспользовавшись всеобщей неприязнью к господину профессору, от "равноправного участника переговоров" избавиться.

Однажды из гетманского дворца, где у княгини Горчаковой, Катруси и Дины были связи, пришло неофициальное сообщение о том, что завтра или, самое позднее, послезавтра

* Шкурные интересы (*франц.*).

профессор будет арестован. А потому сегодня же ему необходимо спрятаться, и чем дальше от Киева, тем лучше.

Мы недолго думая решили, что профессора надо отправить к господину Коростовцу[27], с которым они вместе служили и были дружны. Коростовец, присутствовавший на совещании друзей, поспешил к себе в имение (тогда уже отвоеванное у *черни* гетманскими земскими начальниками и немецкими солдатами), дабы подготовиться к приему бывшего начальника. Он разумно посоветовал нам доставить Милюкова по воде, сам же поехал на автомобиле из гетманского гаража, так как состоял в родстве с гетманом.

Ближайший пароход отчаливал в сумерки. Катруся Мейендорф тут же побежала на пристань очаровывать капитана: ее задачей было уговорить того взять на борт на середине Днепра двух пассажиров, которые, возможно, задержатся с возвращением с маевки. Такой план эвакуации предложил я, полагая, что пассажирская пристань может быть оцеплена жандармами.

В сумерках с частного причала отправилась покататься по засыпающей реке небольшая элегантная компания: неотразимая красавица княгиня Горчакова; графиня Левашова — глухонемая великосветская дама, говорившая громким писклявым голосом, которая тоже должна была произвести на потенциальных преследователей наилучшее впечатление; величественная и недоступная Дина; наконец, Катруся и прехорошенькая юная Маруся, родственница супруги гетмана Скоропадского. Словом, бомонд.

Дамы, наслаждаясь чудесным вечером, напевали "Рассвет" Чайковского, Игорь Демидов тихонько им вторил, а я греб, следя поверх шляпок, не замаячит ли где-нибудь на широкой реке лодка речной полиции. Герой событий, мрачный Милюков, производивший впечатление несчастной жертвы, сидел молча.

Наконец и от городской пристани отвалил пароход, идущий вверх по Днепру, а затем по впадающей в Днепр Десне. Некоторое время мы плыли с ним рядом, заслоненные корпусом от города, а потом, убедившись, что с берега нас не видно, пришвартовали лодку к трапу. Мы с профессором взобрались на палубу. Заранее было договорено, что никаких прощаний не будет. Стукнули в уключинах весла, удерживаемые крепкими руками Демидова, и почти сразу же лодка растворилась в полутьме, в которой уже вились пряди тумана. Между тем весело зашлепали по воде колеса, и пароход направился к устью Десны.

На исходе холодной и во всех отношениях малоприятной ночи, потревоженные несколько раз выстрелами с берега (в чем, в общем-то, не было ничего необычного), мы причали-

ли к обрывистому правому берегу, где на причале профессора ждал Коростовец.

Моя миссия была завершена. Вздохнув с облегчением, я поспешил распрощаться с ними обоими и на том же пароходе продолжил путь вверх по реке, чтобы следующей ночью на нем же вернуться в Киев.

Ошеломительное предложение

Случилось это через несколько недель после распространения моего военкомовского воззвания к населению и солдатам 8-й армии. Одна из листовок попала в редакцию еще при Милюкове. Они с Демидовым знали мою настоящую фамилию, которой я подписал прокламацию, и оба ужаснулись — в их представление о конспиративной деятельности такое не вмещалось. Я подтвердил, что действительно являюсь автором листовки, объяснил, что не мог поступить иначе, поскольку организационно связан с гораздо более радикальным центром, нежели наш в Липках, что это логически увязывается с моей пред- и послереволюционной деятельностью, что благодаря этому круг моего влияния расширяется далеко за пределы возможностей липкинского центра и что, если их это не устраивает, я готов немедленно отказаться от должности заместителя Демидова и покинуть организацию.

Затем последовало трогательное изъявление чувств. Милюков строго-настрого наказал мне быть осторожным, как волк, и хитрым, как лис, я же, дабы успокоить обоих, сообщил, что, будучи рожден на краю Керновской пущи, от природы наделен рысьим чутьем, обострившимся за годы революционного подполья. И вообще лучше забыть, что они видели это воззвание и знают человека, отяготившего свою совесть призывами к кровопролитию в ответ на кровавые расправы оккупантов с местным населением.

Тем дело и кончилось. Все, казалось бы, осталось по-старому.

Однако я учуял едва заметные перемены в их ко мне отношении — по-прежнему сердечном, но, пожалуй, с оттенком озабоченности. А Дина и Катруся, хотя я обязал обоих коллег ничего нашим дамам не рассказывать, чувствовалось, втайне на меня обижены. Я понимал, что наша дружба выдержала нелегкое испытание — ведь никто от меня не отвернулся, хотя они не могли не осуждать нанесения ударов из-за угла. Но одно дело понимать, а другое — чувствовать. Особенно ощутимы потери. А к потерям на этот раз следовало

отнести возникновение неуловимой дистанции, вопреки их воле и желанию омрачившей вчера еще идеальное сосуществование.

Однажды Демидов вызвал меня к себе в кабинет и коротко перечислил идеологические основы наших взаимоотношений и нашего сотрудничества. Он был заметно взволнован, и я предположил, что далее разговор коснется замаячившего впереди распутья и, вероятно, мне предстоит услышать клятвенные обещания никогда не забывать и т. п., каковые даются перед вынужденным расставанием. Однако я ошибся. Оказалось, что ко мне — по его рекомендации — намерена обратиться группа русских патриотов, людей серьезных и известных, с целью...

Речь шла ни больше ни меньше как об организации экспедиции с целью похищения бывшего российского царя и его семьи из большевистского узилища!

Я был ошеломлен. И — по понятным каждому поляку принципиальным соображениям, как деятельный член ПОВ, присягнувший на верность своему отечеству, — сразу отказался от предлагаемой почетной роли.

— Ты знаешь, как я, чисто по-человечески, сочувствую этой несчастной, всеми покинутой семье, — сказал я Демидову. — Тут у нас с тобой полное совпадение. Они — трагические жертвы рока, и в своем сочувствии к ним я не признаю ограничений, навязываемых национальным самосознанием и политическими программами. Будь я свободен от общественных обязанностей, без колебаний принял бы участие в любой акции ради их спасения. А стать основной фигурой тем более не могу — поляки сочли бы это нелепостью, а русские — настолько оскорбительным, что мое приобщение к посвященным в тайну наверняка вызвало бы желание меня устранить тем или иным — одинаково рискованным как для меня, так и для всего предприятия — способом.

Демидов, видимо, согласившись с моими аргументами, молча пожал мне руку. Больше мы к этой теме не возвращались. А вскоре мир потрясло известие о зверском убийстве восемнадцатого июля царя и его семьи...

От родственников никуда не деться...

Как-то я пришел в редакцию раньше обычного, когда милая Маруся, бесплатно, из идейных соображений, выполнявшая обязанности секретаря и уборщицы, еще не закончила орудо-

вать щетками и тряпками. К своему удивлению рядом с ней я увидел неказистого незнакомца в полувоенной форме, явно заигрывающего с хорошенькой девушкой.

– А вот и пан Александр! – воскликнула Маруся.

Передо мной стоял мой старший брат Бронислав[28]... но откуда такая метаморфоза?!

Последний раз я видел его в августе 1917 года, когда ему, как сотнику контрреволюционной организации, предстояло ликвидировать петроградский совдеп, одним из членов которого, как председатель ревкома 8-й армии, был я, его брат, выродок![29]

Так случилось, что в Петроград мы ехали в одном поезде с Брониславом, командиром какой-то из сибирских дивизий Польских стрельцов, моим политическим антагонистом и, как мне вскоре стало известно, активным членом контрреволюционной офицерской организации. Цель у нас фактически была одна: обоим предстояло принять участие в историческом выступлении главнокомандующего, только в несхожих ролях: мне – как революционеру, ему – как контрреволюционеру.

Бронислав был ярым противником революции. Увидев из окна своего вагона, как я сажусь в поезд, он долго обдумывал тактику нашей встречи и в конце концов прислал ко мне кондуктора с запиской, требуя, чтобы я немедленно явился к нему. Делать было нечего – старший брат...

На этот раз Бронислав заводить идеологические дискуссии не стал. В немногих словах он предложил мне секретное gentleman's agreement, гласившее: "Если вас будут вешать или расстреливать, я спасаю тебя, а если нас – ты меня. Согласен?".

Хотя я не сомневался, что ни повесить нас, ни расстрелять у них возможности не будет, пришлось сделать вид, будто я принимаю благородное предложение; на всякий случай, правда, я шутливо предупредил, чтобы брат и его сообщники не увлекались столь отягчающими уликами, как оружие и письменные распоряжения. Высшее руководство – насмешничал я – имеет обыкновение сохранять такие вещи "для Истории", но в Историю они не попадут: рассчитывать можно в лучшем случае на истерию, то бишь истерические издевательства победителей. Бронислав, который должен был в качестве руководителя группы столичных офицеров присоединиться к сторонникам Корнилова, первым делом обиделся, но вынужден был признаться, что, кроме двух ящиков ручных гранат, ничего с собой не везет. Поскольку он собирался остановиться в той же, что и я, гостинице, я попросил его немедленно переправить ящики в мой номер. Он – чересчур поспешно для ярого контрреволюционера – согласился. Так и порешили.

— Как видишь, дорогой брат, семейные узы — нерушимый оплот, который ни революционные, ни контрреволюционные вихри не сметут.

Констатация этого аморального факта не только не вызвала у нас угрызений совести, а напротив, мы оба воспряли духом и повеселели.

Русские бы сказали: "Вот пример истинно польского *коварства*".

Мы поздоровались — сдержанно, как всего лишь знакомые. Из Марусиного восклицания Бронислав, к счастью, понял, что я — отнюдь не его брат, то есть не младший Витковский (такой фамилией он, представляясь ей, назвался).

Мы вышли на залитый солнцем Крещатик. По старой привычке кинули монету — кому платить за ранний обед (разумеется, с водкой и закуской). Проиграл, как обычно, брат, но, поскольку у него не было ни гроша, он небрежно бросил:

— Заплатишь и запишешь на мой счет. Потом отдам.

Потом?

Съев по изрядному куску поросенка, начиненного гречневой кашей, пропитанного ароматом душистых приправ и запиваемого крепчайшей киевской запеканкой[30], мы в превосходном настроении вышли обратно на улицу. Мир вокруг был прекрасен и юн, и даже зрелище запрудивших город немецких офицеров и солдат не раздражало нас, а смешило. Мы изощрялись в шуточках по поводу коротышек, чьи мундиры перепоясаны либо выше талии, либо на десять сантиметров ниже пупка. Забавляясь таким образом, мы не обращали внимания на трех типов, следующих за нами на подозрительно близком расстоянии. Двое из них были в немецкой офицерской форме, третий — в российском мундире без погон.

Бронислав, за двадцать с лишним лет командования частями царской армии разучившийся понижать голос, молол какую-то чепуху и вдруг громогласно вопросил:

— А что с твоим Савинковым? Вы поддерживаете связь?

В эту самую минуту, круто повернув, мы чуть не столкнулись с идущей за нами по пятам троицей.

Краем глаза я заметил, что они не оставили это без внимания, но никак не отреагировал — возможно, под влиянием утренней запеканки. Однако все-таки обернулся. И увидел, что один поспешно отделился от своих спутников, которые — якобы увлеченные беседой — пошли за нами.

Я повел Бронислава к *хохлу* на Приречной улице, торговавшему отличными медовыми пряниками. Преследователи между тем еще больше к нам приблизилась. Брониславу это не понравилось, но настроения не испортило, и он, демонст-

рируя безграничное презрение к наглецам, принялся напевать скабрезную студенческую песню.

Мы дошли до *хохла*, купили пряников, я даже успел расплатиться, как вдруг в лавочку ворвались четверо вооруженных солдат. Hände hoch!

Минуту спустя туда же втиснулись двое следовавших за нами офицеров, и один, усмехаясь, сказал по-польски:

— Господа, потрудитесь пройти с нами в комендатуру.

Я меланхолически подумал о том, как мудро поступали русские революционеры, запрещая членам своих организаций поддерживать любые контакты с близкими родственниками.

Витковский, я и господин майор

И вот средь бела дня мы идем по людному Крещатику под конвоем... какой позор! Хорошее настроение выветрилось вместе с остатками запеканки.

Бронислав понятия не имел, чем я на самом деле занимаюсь, и, вероятно, полагал, что мои нарушения местного законодательства сопоставимы с его проступком: собираясь совершить "страшное преступление", а именно, пробраться на Кубань в дивизию Желиговского[31], он сменил настоящую фамилию на фальшивую Витковский. Тем не менее, слегка встревожившись, он вдруг шепнул мне:

— А может, лучше сказать, кто мы такие...

Я только успел прошипеть:

— Молчи, если тебе жизнь дорога!

Было, видимо, в моем шипении что-то непререкаемое, так как, изменив своей извечной привычке, брат не стал возражать и умолк.

Идущий за мной немец легонько стукнул меня рукояткой маузера и сердито пролаял: "Ruhig! Still!"*.

Нас ввели в приемную комендатуры, предварительно пролопотав что-то на ухо дежурному писарю, и оставили одних. У стены небольшого помещения стояли друг против друга два диванчика из ясеневого дерева, явно "позаимствованные" в какой-нибудь разграбленной усадьбе; на ближайший из них сразу плюхнулся полковник Витковский, положив на благородную обивку ногу в грязном сапоге. На второй диван скромно, как и подобает безвинно арестованному, присел я.

*Тихо! Молчать! (*нем.*)

Успел только шепнуть Брониславу, что разоблачение для меня — прямой путь на виселицу, как вошел высокий майор. В ответ на его вежливое “Guten Tag” Бронислав кивнул, но не шелохнулся. Я же, увидев приближающегося ко мне с протянутой рукой майора, ответил сдержанным рукопожатием и принялся валять дурака:

— Вы говорите по-английски или по-французски, а то я, к сожалению, в немецком не силен?

Вполне приветливо улыбнувшись, майор заговорил на приятном эльзасском французском, подозрительно косясь на развалившегося на диванчике Бронислава, который немедленно встрял со своим казанским французским. Извинившись, что не встает, он тут же с нарочитым усилием поднялся, жалуясь на боль в простреленной ноге, и представился полковником Витковским. Затем перешел прямо к делу:

— Воевать с вами я закончил несколько месяцев назад, а сейчас направляюсь к родным в Армавир. Надеюсь, господин майор, вы понимаете, что мне необходимо сегодня уехать... Почему меня задержали?

Майор поспешил заверить Herr Oberst’a*, что вскоре все выяснится: на войне, как говорится, недоразумений больше, чем разума. А когда Herr Oberst, якобы удовлетворенный ответом, попытался снова встать, сочувственно показал жестом, что раненому лже-Витковскому менять позу необязательно.

Я приободрился, Бронислав еще больше заважничал, а любезный майор, сосредоточившись на моей персоне, вежливо осведомился, с кем имеет честь по такому малоприятному случаю...

Я отрекомендовался сотрудником крупной русской газеты, не преминув упомянуть, что как раз сегодня встретил в редакции своего давнего знакомого — полковника Витковского, что мы вместе пошли позавтракать, а потом гуляли в превосходном настроении, иногда прерывая беседу студенческой песенкой; проходившие мимо господа немцы, вероятно, приняли какую-нибудь шуточку на свой счет и так оскорбились, что даже привели нас сюда.

Майор терпеливо меня выслушал, ненадолго задумался, а затем спросил:

— Вы лично знакомы с Савинковым?

Безотказный инстинкт подсказал мне спасительный ответ:

* Господина полковника (*нем.*).

— Да, конечно, как и со многими другими членами Временного правительства. Савинков ведь был министром внутренних дел (я сознательно изменил название министерства), впрочем, его я знал и раньше по редакции солидной московской газеты “Русские ведомости”, с которой сотрудничал. Последний раз с господином Савинковым мы виделись в декабре прошлого года в Новочеркасске. Я туда поехал как корреспондент, а у Савинкова были какие-то дела с генералами — организаторами Белого движения.

Мне показалось, что майор, услышав мою ложь, обрадовался и даже повеселел.

— Благодарю вас, дело очень простое, — спокойно произнес он, — но вам придется еще немного тут побыть. Сейчас подадут обед.

Наша взяла!

Не понимая, зачем я все это несу, Бронислав печально качал головой. Он решил, что, рехнувшись со страху, я наивно признаюсь в знакомстве с Савинковым. Ладно, пускай думает, что хочет, лишь бы помалкивал! Я не сомневался, что кто-то из русских, видевший нас с Савинковым вместе, узнал меня на улице и навел на нас с братом немцев. А те, услышав страшное имя от распустившего язык Бронислава, уверились, что к ним в руки просится крупная дичь. Оставалось надеяться, что моей фамилии доносчик либо не помнил, либо не знал.

У немцев в ту пору имелись основания для повышенной бдительности. На минувшей неделе командующий оккупационными войсками фельдмаршал Эйхгорн на улице средь бела дня был разорван бомбой, брошенной украинским эсером Борисом Донским. Тем самым, с которым я познакомился в том же подвале, что и с Татьяной. Во время покушения Донской был тяжело ранен, и его схватили. Неудивительно, что, услышав от русского осведомителя фамилию “всадника, которому имя Смерть”*, немцы связали его с организацией террора в городе.

Похоже, мое “добровольное признание” в знакомстве с этим ужасным Савинковым расположило ко мне майора; к тому же журналистская профессия оправдывала широту круга моих знакомств и связей.

К Брониславу я близко не подходил и радовался, что и его не тянет поговорить. Внезапно я вспомнил о нашем фамильном сходстве. Проверил: ну конечно, мы с ним поразительно похожи — чертами лица, ростом, фигурой...

* У Б. Савинкова есть повесть «Конь бледный», в главном герое которой, террористе, угадывается двойник автора.

О Господи! Незаметно поглядывая на “Витковского”, я убеждался, что наибольшую опасность для меня представляет мой родной брат. И в душе молился, чтобы Провидение хотя б ненадолго лишило его дара речи.

Мой брат Бронислав

Обед подали на столик, накрытый чистой скатертью. На первое был украинский борщ — такой густой, что ложка стояла; на второе котлеты с жареным картофелем и зеленым горошком. Когда я попросил что-нибудь попить, туповатый, но услужливый *гемайн** принес две бутылки пива, которое оказалось превосходным и сильно поправило нам настроение. Витковский с жадностью набросился на еду, поскольку в пути несколько дней питался кое-как или вообще ничего не ел, а об утреннем поросенке обстоятельства вынудили забыть. Выпив последний глоток пива, брат одобрительно заметил: “А они неплохо живут”.

Потом мы покорно и молча сидели до сумерек, пока Витковский, не чувствовавший за собой тяжкой вины, потеряв терпение, не поднял шум. Прибежал солдат, выслушал перечисленные начальственным тоном претензии, махнул рукой и скрылся за дверью. Затем явился невыносимо благоухающий одеколоном лейтенант, выслушал все, что Бронислав имел сказать о воинской доблести и заслугах полковника Витковского и еще что-то о Женевской конвенции, дружелюбно рассмеялся и ответил — почти по-русски, хотя с берлинским акцентом:

— *Нихтчего не понимай.*

И тоже исчез.

Бронислав был уже на грани бешенства, но тут вошел майор и, шутливо подняв руки вверх, миролюбиво произнес:

— Через несколько минут будете свободны. Поскольку уже комендантский час, домой вас проводят.

С детства я помнил: когда гроза кончается и черные тучи уходят за лес, солнце светит гораздо ярче. Подобное ощущение у меня появилось и сейчас.

Был двенадцатый час ночи в оккупированном городе.

От комендатуры до Пушкинской было недалеко, но нам хватило времени поговорить с одним из сопровождающих — как

* Гемайн (от *нем.* Gemein) — рядовой.

оказалось, соотечественником из Острув-Велькопольского. Вторым был попыхивавший вонючей трубкой старый баварский крестьянин, безразличный ко всему происходящему вокруг. Соотечественник язвил по поводу пока еще победоносной Германии — как нам показалось, не с целью провокации. У дверей моего дома, крепко пожав нам руки, он шутливо заметил:

— Вы, пан Витковский, с паном редактором так похожи, будто вас одна мать родила.

— Отец у нас тоже один, — без тени иронии бросил Бронислав вслед солдатам, но не настолько громко, чтобы они могли расслышать.

Перед домом у нас с братом состоялся краткий, но весьма содержательный разговор. Я сказал, что занимаюсь тут некрасивыми и смертельно опасными делами, что реплику соотечественника следует считать серьезным предупреждением, а посему я рекомендую ему порвать со мной всякие — и родственные, и дружеские — отношения, немедленно отправляться своей дорогой и обо мне забыть, не переставая, однако, помнить, что его фамилия — Витковский; настоящая фамилия может запросто привести на виселицу не только меня, но и его.

Бронислав выслушал меня с каменным лицом, помолчал и, протянув на прощание руку, сказал:

— Если не врешь, будь здоров.

Я дал ему денег, поскольку у него вообще ничего не было, и крепко обнял. Как знать, скоро ли нам доведется снова встретиться, да и встретимся ли вообще... Он повернулся и скрылся в тени домов.

Б*егство*

С опаской я переночевал дома, а рано утром, оставив хозяйке квартиры записку, что по торговым делам уезжаю в провинцию, отправился на окраину города к своему верному другу Нетесину. Он согласился с тем, что меня могли выпустить как приманку, а потому не стоит рисковать: нужно спрятаться — но не в городе, а за Днепром. Он знает одно безопасное место на безлюдье, в хибарке знакомого птицелова и отшельника. Туда и отправимся.

Демидова и друзей я оповестил по телефону условной фразой: “У Александра дома пожар”. Запасшись хлебом, водкой и колбасой и прихватив одеяло, я последовал за Нетесиным на реку к его доброму знакомому, рыбаку и барочнику, торгующему речным песком. Тот согласился переправить ме-

ня на другой берег — о том, чтобы перейти по цепному мосту, не могло быть и речи.

День уже был в разгаре, так что на берегу и на воде царило оживленное движение. Патрулировавшие реку немецкие моторные лодки имели обыкновение между двенадцатью и двумя собираться у пристани. Пришлось подождать. Рыбак, убежденный меньшевик, немцев ненавидел — с тем большей охотой он взялся перевезти нас на другую сторону.

Днепр, если смотреть с высокого киевского берега, кажется сонным и мирным, неторопливо катящим свои воды в дальнюю даль. Совсем иные впечатления на середине реки. Быстрое глубинное течение резко реагирует на каждое дуновение встречного ветра, вздымая короткую сердитую волну. Но это пустяк, а вот когда снизу, разогнавшись на хребте степной бури, примчится мощный черноморский выдох!.. Днепр тогда становится злым и неукротимым.

Я, старый опытный водник, никак не ожидал, что буду втягивать голову в плечи всякий раз, когда огромный вал, подбросив лодку вверх, с шумом швырнет ее вниз, окатив нас разъярённой пеной, срываемой ветром с гребня волны.

Так мы качались под ясным небом, сражаясь с течением и волнами, пока внезапно не очутились на зеркальной поверхности едва ли не стоячей, испещренной солнечными бликами воды. Мы — гребцы — с облегчением вздохнули, а социал-демократ Нетесин, отпустив рулевое весло, набожно пробормотал:

— *Ну, слава Богу.*

Немного поплутав по давним, едва заметным следам, мы отыскали в густых зарослях хибарку птицелова. Домик производил впечатление избушки Бабы-яги. Полуоткрытая покосившаяся дверь, дыра в деревянной стене, где, возможно, когда-то было оконце... Вокруг ни души, тихо и пугающе однообразно: все формы и цвета схожи.

Когда мы переступали трухлявый порог, тот же путь, но в обратном направлении, проделала большущая жаба. Нетесин, уступая ей дорогу, не очень естественно рассмеялся:

— Апартаменты свободны, располагайтесь.

Внутри один угол был загромождён самодельными птичьими клетками; оттуда доносился шорох и попискивание крысят. Все пространство сплошь затянуто паутиной, свидетельствующей, что “апартаменты” пустуют не со вчерашнего дня. Рядом с печуркой на одну конфорку несколько пучков лучин, обмотанных проволокой; в том месте, где следовало бы находиться столу, два низких пня, а между стеной и печкой втиснуты нары: две старые обугленные доски, вероятно, выломанные из какого-то полусгоревшего строения. Через дырку

в стене просачивался зеленый полумрак, который, сливаясь с потоком света из-за двери, создавал странное мутноватое освещение: казалось, мы на дне глубокого омута.

— Здесь, конечно, не очень уютно, — сказал Нетесин, — зато безопасно. Мимо никто не ходит, сюда никто не заглядывает, люди побаиваются этого птицелова, подозревают, что он колдун. Словом: хорошо ли, плохо ли — лучше ничего нет, в Лукьяновской тюрьме наверняка было бы хуже. Живите себе тут, пока все не утихнет. Еду вам будут подвозить через день или два, как получится. Нарвите лозы на подстилку, ночи сейчас теплые, только не забудьте от комаров заткнуть окно густыми ветками, — поучал он. — А огонь не разводите, дым нынче штука опасная, увидит кто-нибудь с лодки или с телеги на дороге и сразу решит: самогон. Тут уж никакой страх перед колдуном не убережет, и не надейтесь!

Прощаясь, я попытался сунуть перевозчику деньги. Он не взял. Видимо, оказывал услугу из партийно-идеологических соображений.

Одиночество

<...> Погожим утром начался шестой день моего принудительного “отдыха на природе”. Дрожа в непросохшей одежде, постанывая от ломоты в костях и боли в мышцах, я побрел на берег. Было такое место в кустах, откуда, оставаясь невидимым, можно было созерцать всю панораму: реку, город, небо, солнце.

Нетесина я углядел чуть ли не на середине реки. Лодчонка того же перевозчика быстро скользила по спокойной воде, пересекая реку наискосок.

Нетесин привез мне еду, смену белья, зеркальце, бритву и... печальные новости. Меня, правда, не ищут — ни в квартире на Пушкинской, ни в редакции, — но в городе неспокойно, много арестов, схватили даже ни в чем не повинную невесту Донского. Все это из-за покушения на фельдмаршала Эйхгорна. Дела немцев на Западном фронте — хуже некуда, положение с продовольствием в Германии скверное, люди утрачивают веру в победу, растет недовольство войной; по словам Нетесина, полицейский аппарат якобы уже не справляется с участившимися случаями неповиновения в армии.

— А ваши отряды под Подволочиском и в окрестностях не дают немцам покоя. Громят склады, ликвидируют перебрасываемые с места на место отдельные части. Но и у вас, кажется, большая потеря. В схватке смертельно ранен один из

ваших, говорят, главный партизанский командир. Видать, незаурядная личность — очень уж ваши сокрушаются.

Я с грустью подумал, что, наверно, речь идет о Лис-Куле[32] — о ком же другом так сокрушаться? Если он и вправду погиб, значит, верно говорят: Господь забирает лучших.

За разговорами время пролетело незаметно. Предвкушая, какие меня ждут лакомства, я повесил мешок и рюкзак с продуктами (где должны были быть и дары от Дины и Катруси) на сучки в стене — подальше от крыс — и проводил Нетесина до лодки.

От разразившейся днем грозы вода потемнела. Серая лодка пропала из глаз, не достигнув середины реки.

Следующего посещения мне предстояло ждать три дня.

Мы *с перевозчиком обсуждаем помещичье-кулацкие инициативы*

У всего есть своя мера. Поняв, что мера моей отшельничьей выносливости исчерпана, я решил: как только явится Нетесин, возвращаюсь с ним в город. Пусть подыщет мне какую-нибудь дыру в укромном месте, буду сидеть там тихонько, как мышь, читать, писать... в конце концов, все домишки в Киеве немцы не проверят. Дошло до того, что немецкая тюрьма стала мне казаться менее страшной, чем депрессия от одиночества. <...>

Разбудил меня Нетесин. Он стоял возле моего ложа, глядя на меня с тревогой.

— Вы, часом, не заболели?

Вскочив, я радостно с ним поздоровался и заверил, что чувствую себя превосходно и что, по-моему...

— Ну так поторапливайтесь, — не дал он мне договорить. — Прямо сейчас и отправимся. На Пушкинской все спокойно, и ваш друг Демидов убежден, что немцы вас не ищут. Можно возвращаться.

На берегу ждал знакомый перевозчик. Он сердечно меня приветствовал и посоветовал немного подождать, так как заметил на реке необычно оживленное движение. Мы забрались в кусты и, растянувшись на горячем песке, завели разговор о политике. Рыбак рассказал, что пролетарии ненавидят гетманскую власть, опирающуюся на немецкие штыки. Оценки его были резкими, но дельными и справедливыми. Он презрительно отозвался об организации так называемых *хліборобов*[33], съезд которых провозгласил гетманом Украины "генерала его императорского величества". Ему, как и всем, впрочем, было известно, что "спонтанные" решения этого

съезда были тщательно подготовлены несколькими предприимчивыми польскими помещиками под дружелюбным присмотром немецкого Oberkommando*.

— Будь у *хліборобов* собственная сила, на Украине их бы многие поддержали. Может, собрали бы вокруг себя и других крестьян, не только зажиточных, и даже бедняков. Но силы-то у них не было, вот и пришлось призывать к возврату земель обратно владельцам. Нужно им это? Нет, не нужно — ни им, ни Украине. Панам, ясное дело, было нужно, панам и немцам. Потому как с поместий легче брать, а немцам *треба* пропитание. Вот за это, поверьте, *хліборобы* сгинут вместе с немцами. Нам такие не надобны.

Рыбак рассуждал здраво, чем мне и понравился.

Тогда многие поляки, не только помещики, активно и даже самоотверженно помогали формированию союза помещиков и крестьян, наивно веря, что гетманская диктатура оградит от конфискации польскую собственность и объединит политически зрелые элементы общества для сопротивления анархизму и большевизму (в победу немцев, а значит, и перспективу постоянной помощи в сдерживании напирающего с севера большевизма не верил никто, кроме глупцов, которых, впрочем, тоже хватало). Однако Союз не сумел использовать благоприятную конъюнктуру, обусловленную немецким присутствием, собственную же силу создать *хліборобы* не успели — думаю, вовсе не потому, что это было невозможно. Просто не смогли — поскольку не умели, поскольку не хватило ума совместить защиту классовой собственности со стараниями укрепить новое государство на основах бесклассовой демократии. Многие из них (то есть из помещиков и интеллигенции) даже не сумели воспользоваться несколькими месяцами передышки для спасения хотя бы части собственности, не говоря уж о жизни. Те, кто поверил, что анархия и революция побеждены, заплатили жизнью — своей и своих близких — за наивность и легкомыслие в обманчивой атмосфере местной красной лихорадки, не понимая, что в украинском варианте она столь же смертоносна, как и в русском.

Арест

К счастью, дома на Пушкинской была только прислуга, так что обошлось без расспросов и объяснений. В комнате царил

* Верховное командование (*нем.*).

образцовый порядок. Я проверил свой тайничок под жестяным отливом за окном: все на месте. Протер пистолет, бегло просмотрел лежавшую на столе почту, среди которой была телеграмма от большевички Тани, наивным шифром сообщавшей, что она переправила через границу столько-то "ваших". Все прочие дела я отложил на потом, с наслаждением принял ванну и, отдавшись на волю Провидения, рано лег спать.

Резкий стук во входную дверь и испуганный шепот над ухом заставили меня вскочить.

— Немцы!

Схватив пистолет, я бросился к окну, засунул оружие в тайник, прыгнул обратно в постель и притворился спящим.

— Hände hoch!

На меня наставили маузеры двое здоровенных парней, следом в комнату ввалились еще двое с винтовками; за спиной у них испуганно блеснули глаза моей спасительницы.

Было пять утра.

Я одевался, не торопясь, не выказывая никаких эмоций. Немцы тем временем беспорядочно обыскивали комнату. Один, перетряхивая старые газеты на столе, нечаянно прикрыл Танину телеграмму — там она до конца обыска и пролежала. Господь был милостив: у меня ничего не нашли.

Выходя, я с благодарностью поцеловал руку хозяйке. Она хотела что-то сказать, но, не справившись с волнением, не произнесла ни слова. Подавив рвущееся из груди рыдание, попыталась сделать знак рукой — вероятно, перекрестить меня, — но тоже не смогла.

Я шагал по своей улице, но совсем не так, как десять дней назад бок о бок с псевдо-Витковским. Меня вели по мостовой конвоиры с оружием наизготовку. Привели в Управление разведки и контрразведки, находившееся тоже на Пушкинской. На мне был габардиновый макинтош, и я вдруг сообразил, что в воротнике, вместе с изрядным количеством марок, спрятаны какие-то бумажки. Но какие? Я не помнил, хоть убей.

Меня загнали в какое-то мерзкое помещение и велели ждать. Я бросил макинтош на стул в дальнем углу, как будто он мне не принадлежит. И попытался обдумать ситуацию, хотя думать тут было не о чем. Они оказались умнее нас всех. Что нового за последние десять дней они обо мне узнали? Какие раздобыли материалы?

Ничего не происходило. У меня засосало под ложечкой. В полдень принесли поесть — что-то безвкусное, холодное, попахивающее, скорее, прачечной, чем кухней. Я спросил у солдата, не сможет ли он добыть для меня сотню папирос, и для поощрения показал пять марок. Он живехонько побежал

за разрешением, вернулся веселый, схватил горсть гривен на покупку и пять марок за услуги. Минут через пятнадцать вернулся с папиросами и коробком спичек.

Опять томительно потянулись час за часом. Пройдясь по комнате, я установил, что меня сторожат двое: один в коридоре, второй — снаружи, под окном. Выходил по нужде я в сопровождении хмурого молчаливого штатского и *гемайна* с винтовкой.

В пять дня (через двенадцать часов после ареста) я решил напомнить о себе, изобразив возмущение человека, безвинно лишенного свободы. Выглянул в коридор и чуть не столкнулся нос к носу с мужчиной в форме. По-видимому, я его напугал: он сунул правую руку в карман и явно схватился за пистолет.

— Я хочу поговорить с офицером или хоть с кем-нибудь! Сколько мне еще сидеть невесть за что, не зная чего ждать?!

— В коридор выходить нельзя. Вернитесь, пожалуйста, в комнату, я пошлю за офицером, — услышал я вежливый ответ.

Через несколько минут он вернулся и бесстрастно сообщил:

— Господин лейтенант не желает с вами разговаривать.

В сумерках — наверно, уже в девятом часу, когда на улице стали зажигаться фонари, — кто-то, громко стуча сапогами, вошел в комнату и приказал мне собираться. Я даже не спросил куда.

По пути я быстро сориентировался. Три ландштурмиста[34] и штатский чиновничьего вида в плаще с парабеллумом на поясе вели меня в Лукьяновскую тюрьму. От центра до нее было километров шесть, от окраины — не меньше трех. За городом было темно, чем я и решил воспользоваться, чтобы избавиться от компрометирующих бумажек. Под мышкой у меня была сотня папирос в картонной коробке, завернутой в оберточную бумагу. Сетуя на якобы искусавших меня в приемной блох, я стал свободной рукой то и дело чесать шею под воротником. Когда конвоиры, привыкнув, перестали обращать на это внимание, я без особого труда вытащил из-под подкладки воротника все, что там было. Деньги я сунул в карман, а листочки — под оберточную бумагу, и тут же, открыв коробку, принялся угощать всех папиросами. Коробка пошла по рукам, а я тем временем осторожно рвал упаковку вместе с листочками и клочки незаметно бросал на землю. В Лукьяновскую тюрьму я вошел чистым.

Тем не менее, по непонятным причинам, после получасового ожидания в канцелярии я был прямиком препровожден в карцер.

Крысы и люди

Коменданта тюрьмы я впервые увидел только при освобождении, через пять с лишним месяцев. Пожилой интеллигент, мобилизованный в звании капитана, вероятно, ненавидел свою малопочтенную должность и посему постоянно отсутствовал; замещал его капрал Ганс, худой, какой-то плоский, двухметровый верзила — хам и садист. Это он громко пролаял распоряжение отвести меня в карцер.

Вход туда был из коридора, где горела слабая лампочка. Только ее свет, просачивающийся через забранное частой решеткой грязное оконце в двери, освещал мою камеру. Это была сущая нора: размер — шесть шагов на три; пол то ли бетонный, то ли из плотно утрамбованного щебня; койка — три доски на козлах; под потолком небольшое зарешеченное отверстие, вероятно, окно на уровне тротуара. Все это я успел разглядеть до того, как за мной закрылась дверь. Но заметил я еще кое-что. Пока один охранник на меня орал, другой незаметно бросил на пол камеры какой-то сверточек. Заскрежетал в замке ключ, и я остался один.

Папиросы и спички у меня не отобрали, так что, едва с грохотом захлопнулась дверь и по лестнице глухо протопали тяжелые сапоги, я чиркнул спичкой — посмотреть, что́ уронил немец. Оказалось, завернутый в обрывок немецкой газеты огарок свечи. Я приободрился: все еще не так плохо, если даже в столь страшном месте под вражеским мундиром можно обнаружить добрую душу. Я зажег свечку и тут же краем глаза увидел метнувшиеся в темные углы тени. Крысы! Посветил на стены: у стыка с полом было несколько дырок. Постаравшись как можно плотнее завернуться в макинтош и прикрыв лицо шляпой, я немедленно заснул.

Я всю жизнь боялся крыс. Не только брезговал — боялся, “как баба”, презрительно говорили в детстве у нас дома. Позже я вообразил, что в моих предыдущих воплощениях крысы сыграли прескверную роль. Возможно, они сожрали меня живьем, возможно, съели мой труп, а может быть, во мраке Средневековья меня подвергали пыткам с участием крыс... так или иначе, я полагал, что моя особая чувствительность — отголосок давних мучений, повлиявших не только на состояние нервов, но и на ход мыслей: мне никак не удавалось себя убедить, что крыса — такой же зверь, как волк или кабан, и должна вызывать лишь охотничьи эмоции.

Со своими страхами я боролся всю молодость. По примеру знаменитого Дурова, с успехом дрессировавшего крыс, заставлял себя, постепенно преодолевая страх и отвращение, привыкать к посаженным в клетку зверькам. Иной раз наши

отношения становились настолько интимными, что очередной питомец поселялся у меня в кармане, ползал под кадетским мундиром, а порой, когда я отвечал у доски, высовывал мордочку из воротника — аудитория покатывалась со смеху к удивлению преподавателя, не понимающего причины веселья тридцати балбесов, воззрившихся на своего однокашника, выводящего мелом тригонометрические формулы.

Тем не менее случалось, что утром прирученная крыса впивалась острыми, как иголки, зубами в приветственно протянутую руку, а будучи выпущена из клетки, как безумная носилась по дортуару. Да и ко мне по утрам иногда возвращался страх и омерзение, а от мысли, что еще накануне этот самый зверек сидел в кармане и залезал в рукав, бросало в дрожь. Приходилось начинать дрессировку заново.

В лесной хибарке крысы боялись меня больше, чем я их, потому что все мы были свободны. Здесь же и я, и они находились в заточении, а крысы были голодны и агрессивны.

В первую же ночь меня несколько раз будили шорохи около ступней. Раз я даже отогнал смельчака, пытавшегося добраться до моего уха, окончательно же проснулся от боли в укушенном до крови пальце. Тем не менее я спал; вероятно, обилие впечатлений притупило чувствительность.

Р*азыскивается* В*ензелковский*

Днем меня повели на допрос. В большой комнате рядом с канцелярией сидели два офицера. Один, майор, толстомордый и пузатый, подпоясанный — по обычаю прусских офицеров худшего разбора — ниже пупка. Физиономия у него была глуповатая и могла бы показаться добродушной, если б не бесцветные рыбьи глаза и холодный, проницательный, ненавидящий взгляд. Второй, капитан, тощий, со скучающим выражением длинного лица, с минуту разглядывал меня, словно не имеющую никакой ценности картину на посредственной выставке. Он сидел, повернувшись ко мне боком, правой рукой машинально постукивая по столу.

Началось со стандартных вопросов: как зовут, где живу, где и когда родился и т. п. Я отвечал не задумываясь, очень довольный своей изобретательностью. Родился в Париже, там окончил обычную школу, потом учился рисунку и скульптуре в художественной школе, потом вернулся в Москву на родину матери, жил на Пресне, из Москвы уехал в Петербург, увлекся журналистикой и т. д. и т. п.

Наконец прозвучал вопрос о Савинкове и Донском.

Я ответил, что Савинкова знал, встречал последний раз в Новочеркасске, а Донского никогда в глаза не видел, разве что он назвался другим именем.

В какой-то момент тощий спросил, не знаю ли я некого Вензелковского, бывшего военного комиссара Временного правительства.

Я блестяще выдержал испытание огнем.

– Нет, фамилия мне незнакома, хотя как корреспондент я встречался со многими комиссарами революционного правительства. А фамилии... – я чуть не ляпнул автоматически "Вендзягольский", – нет, такой фамилии не припомню.

Тупой немец не заметил, как в эту секунду я задохнулся, ощутив на шее прикосновение петли...

Пользуясь случаем, я поспешил добавить, что сейчас работаю в солидной русской газете, заведую западным отделом, занимаюсь, в основном, немецкими проблемами.

Майор прошил меня злобным взглядом, но ничего не сказал. А тощий капитан посмотрел презрительно и на довольно приличном польском произнес:

– Может, когда вам наскучат крысы и одиночество, захотите добавить к своим россказням что-нибудь поинтереснее. Время у нас есть.

Тут я позволил себе приподнять правую бровь, выражая сомнение, так ли уж много у нас времени. Майор приказал охраннику меня увести. Я уходил удовлетворенный: во-первых, тем, как ловко их провел, а во-вторых, предвкушая, что, наконец, отдохну – весь допрос я простоял на ногах.

В*раги и союзники*

В полумраке карцера я бы, возможно, не заметил на полу миски с едой, если бы от нее, едва я вошел, не кинулись врассыпную большущие крысы. Я зажег спичку и с омерзением увидел в норах сверкающие огоньки глаз. Как же было их не бояться, если они меня не боялись! Не пожалев супу, я намочил кусок хлеба и разбросал по углам хлебные катышки. Крысы с писком их растаскивали, а я уныло обдумывал, каким способом заткнуть дыры. Теперь я уже не просто опасался, а был уверен, что ночью, посчитав меня горой мяса, эти хищники, расхрабрившись, на меня накинутся.

Наступил вечер. Опять звякнули ключи, за решетчатым оконцем появился охранник с едой. Первым делом он на меня наорал, но, отперев дверь, заговорщически улыбнулся и, понизив голос, спросил, нашел ли я свечку. В ответ я прошептал:

— От крыс спасу нет, кусаются. Может, найдется какая-нибудь деревяшка заткнуть дырки...

Он приложил палец к губам, что-то рявкнул и с размаху захлопнул за собой дверь. Я еще не успел опустошить миску, подкармливая одновременно крыс, как мой благодетель вернулся и молча протянул мне стамеску и огарок побольше прежнего. Окрыленный надеждой, я чуть было не бросился отбирать у крыс ужин.

Издавна известно, что у заключенных не только больше времени, но и больше терпения, чем у людей на свободе. Моя работа — по сравнению с подкопами, на которые уходят месяцы и годы, — продвигалась в бешеном темпе. За несколько часов я соскреб со стены достаточно штукатурки, чтобы основательно зашпаклевать дыры. Когда, заделав последнюю, уже поздно ночью, я рухнул на свои козлы, то с изумлением услышал несущиеся со всех сторон неумолчные шорохи: это скреблись крысы! Последней мыслью, перед тем как заснуть, было: им тоже хватает терпения, но до завтра у меня есть время.

Проснулся я от острой боли в большом пальце ноги. Пошевелился — крысы разбежались. Потом зажег огарки и осмотрел свою работу. Все входы в норы были вскрыты.

Я не мог заставить себя начать все заново. Решил, что утром попрошу у доброго человека бутылки и набью дыры битым стеклом. Надел ботинки, завернулся в макинтош. Намеревался до утра не спать. И мигом заснул. Разбудил меня охранник, к сожалению, не вчерашний; войдя, так на меня заорал, что сомнений не осталось: это враг. Однако в промежутке между воплями, он прошептал на чистом польском языке: “Вот бумага и карандаш, хошь, напиши своим, я или сменщик отнесем. Но с другими держи ухо востро”.

Я попросил принести пустые бутылки. Он предупредил: особенно надо беречься Ганса — может избить до полусмерти. Снова рявкнул на меня по-немецки, а через несколько минут принес бутылки. Опять покричал, хлопнул дверью, задвинул засов.

Я лихорадочно принялся за работу. Дробил на мелкие осколки стекло, сыпал в норы, запихивал туда же штукатурку; потом убрал мусор с пола, а стамеску спрятал между досками. Все делал быстро, опасаясь, как бы не пришел незнакомый надзиратель. И не ошибся. Пришел Ганс. Начал что-то орать — я не понял ни слова, — ушел, хлопнув дверью, куда-то потопал по коридору, нарочито громко стуча сапогами. Не прошло и двух минут, как он снова влетел в камеру, но “застукал” меня понуро сидящим на нарах и, удовлетворенный моим жалким видом,

удалился — теперь надолго. Безмозглому Гансу не пришло в голову, что я заметил, как, уходя в первый раз, он не закрыл дверь на засов, и догадался, что он вернется, рассчитывая застать меня за каким-нибудь недозволенным занятием.

Я написал Демидову, что меня вызывали на допрос, расспрашивали про Савинкова и какого-то Вензелковского, что я сижу в карцере, голодновато, но несчастным себя не чувствую.

И получил ответ, в котором сообщалось, что Дина с помощью своей близкой подруги (великой княгини Ольги, родной сестры царя, по мужу Куликовской) землю — немецкую — роет, добиваясь моего освобождения. А также прилагалось множество теплых слов и благословений.

Под *виселицей*

На четырнадцатый день пребывания в карцере, меня чуть свет вывели в тюремный двор. То, что я увидел, на минуту лишило меня и крепости духа, и напускного высокомерия. На всю оставшуюся жизнь я запомнил, что такое "последняя минута".

На небольшой площадке, обнесенной четырехметровой стеной, стояла виселица. Рядом за столиком сидели на табуретках майор, тощий капитан и еще какой-то офицер. Немного в стороне стоял поп, которого я не сразу заметил. Еще я увидел нескольких солдат с винтовками и Ганса с парабеллумом на ремне.

Господа возле виселицы хищно на меня уставились. Это помогло мне взять себя в руки. И тут привели Донского. От избытка впечатлений в тюрьме я ни разу о нем не вспомнил. Его поставили под виселицей, мне приказали встать напротив, в нескольких шагах от него. Офицеры с грозным видом поднялись; тот, что был мне незнаком, подошел к Донскому и, указывая на меня, спросил на ломаном русском:

— Ты знаешь этого человека? Говори: где вы встречались? Как его фамилия?

Я не сводил с Донского глаз. Казалось, передо мной другой человек, не тот, кого я знал. Лицо обезображено — то ли взрывом бомбы, которую он бросил, то ли побоями. Тело сотрясала дрожь, а может, это были судороги; взгляд, тем не менее, был холодный и презрительный. Не своим голосом он с трудом, но отчетливо прохрипел:

— *Нет, не знаю.*

На этом очная ставка закончилась. По знаку майора солдат набросил несчастному на шею петлю. Подошел священ-

ник, начал что-то тихо говорить, но Донской, склонив голову, деликатно его отстранил. Потом встал на ящик. Через минуту повис. Несколько раз дернул головой, будто вырываясь из петли, тело содрогнулось, и он скончался.

Снова среди людей

В карцер я не вернулся: был отведен в большую камеру, где уже сидели семеро. После моей темницы общество показалось мне чрезвычайно симпатичным.

Самым ярким персонажем был Прекул, бессарабский помещик лет сорока с небольшим, прокурор российского окружного суда, рослый, красивый, светский, при этом умный и легкий в общении. Следующим я бы назвал Ротмистра; фамилию опускаю, поскольку в камере он считался осведомителем; полвека спустя я, если не ошибаюсь, видел его в третьесортных американских фильмах во второстепенных ролях злодеев и бандитов. Но тогда Ротмистр был молодым летчиком и агентом какой-то монархистской организации. Впоследствии я узнал, что у него было много разных работодателей, которым он служил не столько верой и правдой, сколько корысти ради. Ловкий, храбрый и сметливый, с виду *рубаха-парень*, этакий *удалец*, а внутри холодный и расчетливый, готовый продать что угодно тому, кто больше заплатит, он был самым настоящим невропатом. Думаю, ему уже случалось убивать "врагов отечества", то есть демократов, социалистов, либералов и евреев. Я старался держаться от него подальше, хотя на почве кадетского прошлого и дворянского происхождения отношения у нас сложились внешне приятельские.

А вот Красовский, бывший начальник киевской сыскной полиции, в свое время получивший широкую известность благодаря своим сенсационным разоблачениям на процессе Бейлиса, которые сильно помогли оправдать последнего, общительностью не отличался, в общей камере жил отшельником, всегда молчаливый и задумчивый. Лишь однажды, когда на прогулке (мы гуськом ходили по двору) я, заметив пролетающего над нами вальдшнепа, как пристало охотнику, громко прошептал идущему передо мной Красовскому: *Смотрите, вальдшнеп летит*! — тот приветливо улыбнулся и заметил:

— А вы, должно быть, тоже охотник.

С тех пор он охотно беседовал со мной на охотничьи темы и — не столь охотно — на политические, зато часто рассказывал любопытные истории из своей полицейской практики.

Старый еврей Рубин отсиживал срок за идейный анархизм. С языка у него не сходили имена Бакунина и Кропотки-

на: он всех убеждал, что и среди князей есть порядочные люди, которые примыкают к анархистам и даже становятся их лидерами.

Украинцы — двое гражданских и один сечевик, бывший офицер царской армии, крестьянский сын из-под Екатеринослава, — держались вместе, почти все время что-то негромко напевая, а когда знали, что Ганса нет в тюрьме, пели во весь голос, да так чудесно, что невольно забывалось, где мы находимся: душа летела с ними на казацких стругах вниз по Днепру к султанским берегам, и мы даже не замечали, что певцы, вместо того чтобы *бiти ляхiв и рiзати жидiв*, разложив на полу рубахи, бьют вшей.

В одной из соседних камер сидели бывшие министры предыдущего украинского правительства. Иногда вечером из "министерской" камеры доносилось приглушенное хоровое пение, исполненное искренней любви к *неньке Украйне*, что глубоко трогало не только мое польское, но и имперские русские сердца. Когда же кабинет министров заканчивал петь свое, мы все под управлением *сiчового* с чувством распевали украинские думки. <...>

На прогулках мне часто случалось ходить между Голубовичем, бывшим премьером, и военным министром того же правительства Жуковским; если поблизости не было Ганса, мы вполголоса беседовали. Оба были очень симпатичными представителями молодой украинской государственности... молодой или, точнее, незрелой, что проявлялось не только в националистической обидчивости, но и в полном небрежении к политическим и техническим реалиям. Их презрение к "подкрашенному гетманству", продиктованное, скорее, комплексом клановой неполноценности, чем политическим антагонизмом, не отменяло того факта, что "суверенность" их Центральной рады тоже была "подкрашена", притом той же самой немецкой краской. Обоим, воспитанным на революционном романтизме Шевченко, с душами, омытыми с малых лет слезами "Украины, бездетной вдовицы"*, скорее поэтам-импрессионистам, нежели политикам-реалистам, не забывшим обид, нанесенных польскими панами их предкам, нелегко было понять идею нашей общей суверенности. Тем не менее даже эти получасовые беседы украдкой, не то чтобы поверхностные, но и не очень глубокие, упрочали взаимную симпатию и навсегда оставили добрые воспоминания.

* "Плачь, Україно / Бездітна вдовіце!" — строки из поэмы Тараса Шевченко "Сон" (1844).

Нас посещает Дина

Через три месяца моим друзьям разрешили посещать меня и снабжать продуктами. Первой появилась представительница Комитета помощи заключенным – прежде мне неизвестная красивая девушка по фамилии Леклер, полька и киевлянка. Она принесла еду, белье и... слезы в глазах. Вид у меня, кажется, и впрямь был жалкий. Поскольку у Комитета имелись высокие покровители в Oberkommando, визиты красотки повторились еще дважды. И, наконец, я дождался Александру Коссиковскую.

Я обрадовался, как дитя. С трудом удержался, чтобы не расплакаться, не кинуться к этой несостоявшейся венценосной особе, ставшей для меня близким, родным человеком. Между тем Дина, всегда аристократичная, а сейчас подчеркнуто величественная, в шелках и бриллиантах, особенно вызывающе выглядящих на фоне запоров, решеток и всеобщего хамства, покорила солдафонов-тюремщиков. Улыбаясь сквозь слезы, она шепнула, что госпожа Куликовская (из дома Романовых) уже написала про меня кому-то из Гогенцоллернов и что все будет хорошо...

Дина принесла подарки от всех. Пока какой-то юноша, вероятно, волонтер, таскал пакеты в камеру, заметно сникшие жандармы с изумлением наблюдали за этой картиной, но не протестовали. Стоя чуть ли не навытяжку перед нашей femme imperatrice, они и на меня стали поглядывать другими глазами – так смотрит уличный постовой на паршивую бездомную собачонку, которую приласкала проезжавшая мимо в карете элегантная дама. Катруся прислала кучу пончиков (хватило на всю *камеру*), Игорь – пару чесучовых рубашек (как спасение от вшей), Милюков – свой новый труд на тему послереволюционной тактики партии кадетов, а кухарка Теофилия, моя землячка, помня, что я люблю "хворост", – целую шляпную коробку превосходного хрустящего лакомства.

В тот вечер мои сокамерники и кабинет министров пировали. Весь следующий день я был героем двух камер и даже части тюремного коридора.

Конец оккупации и самосуд над Гансом

В нашей жизни не было ничего страшнее, чем появление в камере Ганса. Он требовал, чтобы, увидев его, все немедленно вставали. В какой-то момент нам это надоело, и мы

договорились, что вставать не будем. Когда Ганс неожиданно ворвался в камеру, случайно оказавшиеся ближе всех к двери Прекул и Ротмистр были избиты. Остальных Господь миловал, но оскорбление товарищей все пережили как собственное. И торжественно поклялись отомстить согласно суровым законам войны. Не только за себя. Эльзасец (тот, что в первый день подбросил мне свечку) и житель Познани (тот, что носил мои записки) рассказывали, как Ганс зверски терзает заключенных женщин. Невесту Донского он каждый вечер насиловал, привязав тросом к "табурету пыток" собственного изобретения. А однажды вечером познанец, выводя меня в уборную, шепнул, что Ганс избил эльзасца, подсмотрев, как тот шепчется с Прекулом, и в наказание посадил в выгребную яму (что запрещено тюремными правилами), где бедняга уже не первый час сидит по грудь в дерьме.

Я еще не успел рассказать сокамерникам о беде, постигшей нашего опекуна, как к нам влетел немецкий солдат в сопровождении надзирателя, и они громогласно объявили страшную новость: в Германии революция[35], кайзер бежал в Данию, новое правительство просит союзников заключить мир... словом — это конец.

По тюремным камерам и коридорам пронеслась волна невероятного возбуждения, которую жуткими воплями и угрозами попытался сбить Ганс. Он еще пугал, но мы уже не пугались.

На следующий день начали всех поочередно выпускать. Просьба, с которой Дина обратилась к сестре царя, запоздала: крах Гогенцоллернов изменил ход событий.

Выполняя формальности, связанные с получением обратно своих документов, я впервые увидел номинального коменданта тюрьмы. Он вежливо представился; меня подмывало столь же вежливо в ответ произнести: "Вендзягольский...". Однако я вовремя сдержался; на прощанье мы обменялись рукопожатием.

Ганс стоял у письменного стола и был похож, скорее, на приговоренного к повешению, чем на недавнего мучителя и палача. Случившееся было для него равносильно концу света. Он еще не знал, что это и конец его земного бытия...

Когда стемнело, эльзасец вызвал Ганса к воротам, а познанец его застрелил. По предварительной договоренности, на экзекуции присутствовала вся наша камера, за исключением Красовского. После акта возмездия, который еще больше нас сблизил, мы вместе — вчерашние узники и два охранника — бежали из тюрьмы в ночь, к свободе.

Между тем город уже был охвачен лихорадкой: все спешили что-то унести или увезти. Немцы, убираясь из Киева и с Украины, жадно, но педантично реквизировали все что только можно, вплоть до чернозема с полей. Мобилизованные крестьяне под дулами винтовок грузили на подводы землю — кормилицу своей пшеницы и свеклы, отправляемую в голодный мир. Пока еще немецкие эшелоны на каждом перегоне поджидали только крикливые группы бойцов Украинской повстанческой армии, но уже через несколько дней вовсю заговорили винтовки и пушки, а эвакуация превратилась в рельсовую войну, с каждым днем все более кровавую.

В больничной одежде, с забинтованной головой, в санитарном вагоне немецкого командования покидал родную землю последний гетман Украины Павло Скоропадский. Одновременно к столице со всех сторон стягивались отряды атамана Петлюры[36].

Немецкие войска пытались уклоняться от прямых встреч с петлюровцами; пути отступления они пробивали партизанскими методами. А приказ оборонять город получили российские части, остававшиеся под командованием военного представительства Добровольческой армии на Дону. Вскоре оказалось, что эти монархистские формирования, которые должны были (во имя "единой и неделимой" России) не пустить в город Петлюру, — маленькие, плохо вооруженные отряды, состоящие, в основном, из студентов и гимназистов, не связанные между собой никаким стратегическим планом и не имеющие боевого опыта. Этим защитникам Киева внушили, что они — форпост более серьезных сил, в действительности не существовавших.

На практике это выглядело так: несколько, от силы десятка полтора, обреченных смельчаков открывали огонь из винтовок (в исключительных случаях из огнеметов) по украинским ротам — и через несколько минут погибали под массированным обстрелом противника или от штыков разъяренных сечевиков. Штабы уцелели, героические юнцы были загодя обречены.

Погибло их немало, и не было никого, кто подсчитал бы эти смерти, эти акты героизма и акты отчаяния (что страшнее смерти), когда в последний момент рушится по-детски наивная вера в вождей. Тех же, кому удалось отступить в центр города, переловили, как неоперившихся птенцов, и согнали в здание музея на Думской площади. Молниеносно разнеслась весть, будто все они будут расстреляны.

Мы выступаем в защиту Добровольческой армии

Демидов призвал меня — в рамках нашей "дипломатической" деятельности — попытаться спасти незадачливых добровольцев, схваченных в ходе неудачной акции Добровольческой армии. Он считал, что нельзя их бросать, хотя дипломатическая активность на новом поле больших успехов не сулила.

Снова, как год назад, город опасливо затаился. Даже днем казалось, что улицы полностью принадлежат вооруженным бандам; обычных жителей точно вымело. Ночную тишину раздирали то крики, то внезапная перестрелка неизвестно кого с кем. На Крещатике и на бульваре Шевченко опять запылали зимние костры, возле которых устраивались дикие оргии; верховодили там проститутки в окружении пьяных победителей.

Настал второй день оккупации "своими". Население огромного города было слишком разнородным по национальному и классовому составу и обилию противоречивых мнений, чтобы "освобождение" заслуживало иного, нежели "оккупация", названия. Триумф "своих" отнюдь не обещал покоя и мира. Запасшись нейтральными документами — Демидов своими, я фальшивыми — и уповая на волю Провидения, мы под вечер отправились на Думскую площадь в комендатуру.

Демидов собирался отрекомендоваться депутатом Государственной думы, я — сотрудником русской газеты, пока еще не закрытой. Нам казалось, это будет выглядеть достаточно солидно, однако, когда мы вошли в приемную комендатуры, документы поблекли в наших глазах, а вся затея стала выглядеть бессмысленной попыткой противостоять буре. Толчея, крики и манера поведения *самостийников* ассоциировались с неукротимой природной стихией. Дипломатические демарши подходили этой атмосфере, как пресловутой корове седло.

Мы растерянно присели на какой-то ящик. Шум вокруг не смолкал. На скамейку рядом с нами уселся какой-то малокровный тип и от нечего делать стал прислушиваться к редким фразам, которыми мы с Демидовым обменивались.

— Возможно, как министр демократического Временного правительства ты имел бы больше шансов, — заметил я в какой-то момент.

Наш сосед тут же встал, протиснулся к двери комендантского кабинета и, не спрашивая разрешения, вошел внутрь. Через минуту из кабинета выбежал молодой офицер и на специфическом галицийском русском выкрикнул в пространство:

— *Хто ту е министер?*

Я ущипнул Демидова за ляжку и подтолкнул к *запорожцу*. Нас без промедлений препроводили в кабинет.

Комендант в чине полковника усадил нас в кресла, предложил папиросы и на примерно таком же русском языке осведомился, чем может служить. Игорь обстоятельно изложил нашу проблему. На лице коменданта сохранилась любезная улыбка, но тон стал прохладнее: в ответ мы услышали, что дело очень сложное.

— Попробуйте обратиться прямо в музей к начальнику охраны. Может быть, удастся что-нибудь сделать в порядке исключения... Там людей не меньше двух тысяч, а мы еще не организованы, есть трудности со снабжением, интенданты, сами понимаете... Может, общественность или Красный Крест, или какой-нибудь Комитет подсобит... Пробуйте, я отсюда ничем не могу помочь.

Похоже было, комендант не только пленных пропитанием не в состоянии обеспечить...

Выдать нам письменное направление к начальнику охраны он отказался. Мотивировал это тем, что судьба пленных в руках сечевых стрельцов, а стрельцы — совершенно автономное подразделение вообще и тем паче по отношению к комендатуре, чьи полномочия ограничены. И только лишь "из личной приязни" распорядился выдать нам пропуска, позволяющие находиться на улице после комендантского часа.

Была уже поздняя ночь, когда мы вошли в здание музея. Вот где гремело! По сравнению с обрушившимся на нас грохотом гигантской молотилки шум в комендатуре мог показаться деловитым жужжанием пчелиного роя. У ворот, во дворе и вестибюле толпились сечевики, вооруженные до зубов, возбужденные, громогласные, страшно самоуверенные и весьма недружелюбно поглядывающие на двух подозрительных штатских, явно европейцев и буржуев.

Обстановка была малоприятная, однако у нас не оставалось иного выхода, кроме как продержаться до конца. Видя, что Демидов ужасно устал, я взял на себя роль чичероне. В самом деле, какого черта! Я вовсе не чувствовал себя чужаком в этом бродильном чане, где созревала свобода народа, братство с которым должно стать гарантией нашей и их свободы. Правда, замечу в скобках, представители этого народа могли бы выглядеть посимпатичнее, менее декоративными, больше похожими на настоящих военных, но какое это имеет значение, если я ощущаю глубокую солидарность с ними?!. И это ощущение придавало мне уверенности.

— *Хто тут старшый?* — крикнул я на ломаном украинском с польским акцентом тоном управляющего имением.

И правильно сделал. Шум вокруг нас слегка утих, даже как будто стал менее агрессивным, и сразу несколько человек поспешили вежливо осведомиться, что нам угодно.

— Мы к коменданту, — бросил я сухо.

Не спрашивая — очевидно, из доверия к братьям-демократам — ни документов, ни пропуска, нас целым гуртом сопроводили в большой зал, где уже было много просителей, в основном женщин. Мы доложились озабоченному молоденькому офицеру.

Он с неприязнью оглядел нас с головы до ног и, немедленно перейдя на крик, вопросил:

— Кто вам разрешил сюда войти?!

Демидов, смерив молодого человека пронзительным взглядом, негромко, но внятно произнес:

— Нам никто не запрещал. Мы — представители демократической общественной организации и хотим побеседовать с господином комендантом.

Закусив губу, видимо, чтобы сдержать рвущееся с языка трехэтажное проклятие на языке Шевченко, чубатый *стрілець* нехотя указал рукой на соседнюю дверь и вошел в нее первым. Подойдя к сидевшему за столиком щуплому офицерику, с виду еще моложе его, он стал что-то нашептывать тому на ухо. Несколько офицеров и солдат, обернувшись, уставились на нас, отпуская в наш адрес не слишком лестные замечания. Мы притворялись глухими. Наконец худосочный юнец выскочил из-за столика и, с ненавистью на нас глядя, угрожающе заорал на ломаном украинском языке, смахивающем больше на тарнопольский[37] польский, чем на запорожский русский:

— Я прикажу вас арестовать!.. Чего вы тут вынюхиваете?.. Здесь тюрьма, а не музей!.. Документы!..

Мне еще никогда не случалось видеть такого большого начальника, закатывающего такую истерику. Предъявив документы, мы снова услышали вопли типа: “Какое еще временное правительство, мы не признаем большевистских правительств... Какой министр... Какой *русский голос*... здесь, в столице свободной Украины...” Риторические вопросы, будто вылетавшие из уст плохого оратора на сходе, сыпались еще долго. Я знал: чем дольше и громче юнец будет кричать, тем скорей выдохнется, что будет лучше для нас и нашего дела. Поэтому мы не пытались его прервать. Видно было, что малого понесло: он ярился, брызжа слюной сыпал угрозами, насмехался над “могуществом” Москвы, Берлина и прочего мира, а когда всех победил, обессилев, внезапно сник и умолк.

И тут я нанес удар с неожиданной стороны:

— Да, да... К сожалению, все это правда, — со вздохом произнес я, словно бы про себя, но так громко, чтобы слышно было во всем зале.

Если бы тогда кто-нибудь, приставив мне пистолет к виску, потребовал объяснить, что означает это "все" и к чему относится эта "правда", я не сумел бы толком ответить. Однако тон мой был столь убедителен, а не блещущие умом слушатели так ошарашены, что почти все понимающе закивали, и атмосфера разрядилась. Чтобы добить их, я светским тоном осведомился:

— Вы позволите закурить, пан комендант?

Я никак не ждал, что результат дурацкой выходки окажется столь быстрым и эффективным. Присутствующие, как всякие неврастеники, мгновенно преобразились, сделались любезны и участливы, в особенности пан комендант. Почти все повытаскивали папиросы и спички, а я до того обнаглел, что подсунул коменданту под нос свой портсигар, и он, еще не сообразив, что делает, уже брал из него папиросу.

— Вы поляк?

— Ну.

— Значит, говорите по-польски?

— Разумеется!

И мы с этим очень усталым и не очень уравновешенным молодым человеком завели спокойный, едва ли не дружеский разговор. Вскоре он усвоил, что Демидов был товарищем министра в правительстве первой и последней истинно демократической, а вовсе не большевистской, российской республики и что "Русский голос" — как и "Союз возрождения России"[38], который мы здесь представляем, — поддерживает суверенитет и полностью признает законы свободной Украины. Покончив с разъяснениями, мы приступили к вопросу о пленных.

Комендант снова разгорячился, однако границ приличия не переступил:

— Эти люди стреляли в нас, убивали наших солдат от имени единой и неделимой России, они лютые враги Украины.

— Господин комендант, — вступил в разговор Демидов, — судите тех, кто их послал, а не этих юнцов, иногда прямиком со школьной скамьи, которые еще не научились критически мыслить, отличать патриотизм от демагогии и вообще оперировать политическими понятиями. Для них существует только приказ командира. Поймите же наконец: их ввели в заблуждение, им сказали, что вы тоже большевики и коммунисты.

В ответ на это несправедливое обвинение по залу пронеслось громкое националистическое "уууууу...". (Обвинение,

впрочем, было не столь уж несправедливым: сторонники национальной идеи, вне всяких сомнений, являлись противниками российского большевизма, хотя массы, несмотря на националистические лозунги, психологически были расположены к принятию типично большевистских практических решений.)

Порешили на том, что дело каждого пленного будет рассматриваться в индивидуальном порядке, причем будет учитываться, исполнял ли тот всего лишь приказ или является убежденным врагом украинского государства. Кроме того комендант согласился, чтобы Комитет помощи приступил к выполнению своей задачи: снабжению пленных продовольствием, одеялами и теплой одеждой.

Прощаясь, я не удержался, чтобы, пожимая коменданту руку, не спросить шутливо:

— *А як там буде у нашім Львові?*

— *Ми з-під Тернополя.*

Значит, я угадал.

Возвращение

Пришло, наконец, время возвращаться домой. Пока — поскольку родное гнездо было еще занято чужими — под словом "дом" подразумевалась вся, отныне независимая, Польша[39].

Запасшись всевозможными пропусками и удостоверениями — польскими, немецкими, русскими, украинскими (разумеется, на чужое имя), — 18 декабря 1918 года, облитый слезами, расцелованный и благословленный крестными знамениями двух вероисповеданий, я втиснулся в темный поезд-призрак, направляющийся в Голобы[40]. Что будет за этими Голобами, пока никто не знал.

Не успел я найти себе место, как из окон, в которых отсутствовали стекла, повеяло холодом — по неизвестным причинам мы тронулись на час раньше обещанного. Мне повезло — это был последний пассажирский поезд, идущий на запад. Несмотря на все непредвиденные помехи и сложности, в моей жизни не было другого такого же счастливого путешествия.

Состав то останавливался на несколько часов в поле, то на полной скорости проскакивал крупные станции. Мы пересекали линии различных "фронтов", сетью которых была тогда опутана вся Украина, проезжали через территории белых, красных, зеленых... В зонах, контролируемых регулярными украинскими частями, могли действовать банды вооруженных крестьян, с помощью винтовок и пушек возвращавших себе право на чужую землю, отнятую у них гетманскими старостами.

И никогда не было известно, кто нас встретит на следующей станции.

Ясным зимним днем поезд вдруг начал так резко тормозить, что с верхних полок посыпались чемоданы и корзины, а затем, после отчаянных судорог, к ужасу ничего не понимающих пассажиров состав покатил назад, с каждой секундой все быстрее. Как потом выяснилось, наши кости (а то и головы — это уж кому как суждено) остались целы только благодаря самообладанию машиниста. А дело было так: машинист издали увидел мчащийся нам навстречу одинокий паровоз, мгновенно затормозил, дал задний ход, разогнался до скорости смертоносного паровика, а когда два локомотива столкнулись (толчок был несильным), с ловкостью мастера своего дела перепрыгнул в кабину безумной машины, перекинул рычаги и пригнал состав с двумя паровозами на ближайшую станцию.

Дикий локомотив был пущен на наш поезд какими-то повстанцами, которым со страху померещилось (или им кто-то сообщил), будто к станции приближается карательный бронепоезд, чтобы свести с ними счеты: накануне здесь был подчистую вырезан небольшой немецкий гарнизон, готовившийся к эвакуации. Возбужденные вчерашние победители от радости, что мы — не немцы, не стали проверять документы. Больше всего я боялся, что кто-нибудь прицепится к пропускам, выданным центральной властью. Большевистский лозунг "Вся власть — местным Советам!" был тогда особенно популярен и рьяно воплощался в жизнь всяческими народными избранниками: это было рефлекторным проявлением автономной суверенности (часто на самом низком территориальном уровне) и безнаказанности. Вообще-то, между большевиками и антибольшевиками особой разницы не наблюдалось, разве что они эпизодически друг в друга стреляли. Однако могли и, объединившись по самой нелепой случайной причине, стрелять в кого-то третьего, как в общего врага.

Наш поезд выпустили со станции без проволочек.

Сказка быстро сказывается... но вот путь (особенно, когда ты подвластен случаю) растягивается надолго. И вообще неизвестно, кому что на роду написано... Впрочем, даже в те страшные времена немало счастливцев добирались до цели живыми и невредимыми.

В Голобы мы прибыли поздней ночью 22 декабря 1918 года. Темно, холодно, заснежено, пусто, людей не видать и не слыхать. Одни мы, кучка присягнувших на верность свободе, на границе собственного государства... Уже в поезде мы сдру-

жились; руководство группой взял на себя Стефан Бенецкий, последний при мне киевский комендант ПОВ-Восток. Особенно заботливо он опекал нескольких милых, красивых и очень юных барышень, горячих сторонниц ПОВ. Всю дорогу звучали легионерские и патриотические песни, не обошлось и без шутливых флиртов; все это помогало коротать время. Правда, с едой дело обстояло плохо. Однако все мы, знававшие и худшие времена, вместо питательных калорий поглощали — не столько легкими, сколько душой, — бодрящий воздух свободы и, несмотря на пустые желудки, не горевали.

*Кулиг**

В опустевших полуразрушенных Голобах Бенецкий, как и подобает истинному предводителю, умудрился быстро найти средство передвижения: среди ночи перед нами, как из-под земли, появились три пары *розвальней*. Это были простые низкие и широкие сани, выстланные соломой, сверху прикрытой мешками от сечки. Следуя указаниям руководителя, мы расселись по ним и двинулись вперед. Разрыв в железнодорожных путях составлял километров пятнадцать. Лошадки бежали бойко, располагая к веселью, однако пан Стефан строго-настрого запретил шуметь. Мы мчались среди каких-то зарослей, и только скрип полозьев да покрикиванье возниц нарушали ночную тишину, выдавая наш тайный кулиг.

Протащить через границу оружие сумели только мы с Бенецким: он — в пакете с минералогическими образцами, я — в буханке хлеба. Пан Стефан с барышнями сел в первые сани, я — в последние с парнями, вооружившимися какими-то палками: по словам возниц, в окрестностях было неспокойно. Нас предупредили, что возле заброшенного кирпичного завода, неподалеку от нашей лесной дороги, орудует банда русских дезертиров, которые нападают на проезжих. Власти еще бездействуют, и грабители, пользуясь безнаказанностью, обнаглели до такой степени, что почти открыто используют кирпичный завод как базу. Но, поскольку накануне нападение было совершено на другой дороге (близ кирпичного завода люди ездить опасались), мы, посовещавшись с возницами, решили, что бандиты предпочитают промышлять там, где больше прибыль, и ехать надо именно мимо кирпичного.

* Старопольская масленичная забава — катание на санном поезде с песнями и плясками.

Дрожа от холода, рискуя на поворотах вылететь из саней в сугроб на обочине, мы неслись по извилистой дороге в тусклом свете бледной луны. В воздухе бесшумно и меланхолично парили снежные хлопья.

Далеко позади, на востоке, небо то тут, то там озарялось вспышками, а тишину время от времени нарушал идущий словно из-под земли глухой протяжный гул или одинокий, короткий, не связанный со вспышками на небе рык. Это сверкала и гудела Украина, поджигая города и деревни своей земли, убивая людей ради своего будущего, сводя вековечные счеты, искупая грех переяславского соглашения[41].

То ли из-за голода и холода, то ли из-за неверия в торжество разума на этой благодатной земле, будущее Украины (к которой я питал братские чувства) не казалось мне той ночью ни ясным, ни оптимистичным. Целый год я изнутри наблюдал за происходящими там переменами. На моих глазах развалилась Рада, возглавляемая борцами за свободу — едва ли не святыми идеалистами; промелькнули, будто на кровавом карнавале, украинские большевики в масках и костюмах, прикрывающих московских вожаков; завершилось правление гетмана-генерала с немецким режиссером за спиной; настала демократия Петлюры — апостола идеалистической веры в народ; но ни на одном из этих этапов не установилось достаточно прочной связи с народом, который, будто штормовой ветер, нес по бушующим волнам кораблики правительств, вынужденно составленных из дилетантов. На мачтах менялись флаги, а стихия, безразличная к цвету знамен, жила своей жизнью. Ни красное знамя с серпом и молотом, ни сине-желтый флаг с золотым трезубцем не завоевали народных сердец. Море бурлило, флаги взвивались и обвисали, буря не унималась, не подозревая, что в скором времени ее сменит страшный штиль, который последует за кровавым насилием и гибелью четверти населения.

Но это и есть Украина.

Не Россия, не Польша, не панская, не интеллигентская, а мужицкая, черноземная — от подкарпатского *Слава Боху* до *Слава Боху* на подкавказской Кубани; украинская Украина в эпоху загадочного неспешного созревания идей и людей.

Внезапно передние сани остановились.

Мы приблизились к ним, я подбежал к пану Стефану. Оказалось, мы находимся в нескольких сотнях метров от кирпичного завода и с той стороны донесся винтовочный выстрел. Действительно в мглистой серости снежной ночи за кустами что-то маячило. Бенецкий приказал мне пересесть в передние сани и ехать шагом, забрал у меня пистолет, вооружил им кого-то из молодых людей, и они вместе исчезли в кустах.

Мы тронулись медленно, стараясь двигаться вровень с Бенецким и его товарищем, которые заслоняли нас от кирпичного завода, притаившегося уже довольно близко, зияющего черными провалами в стенах. Наши защитники перемещались за кустами, готовые неожиданно ударить неприятелю во фланг. Я смущенно подумал, что впервые в жизни попал в положение охраняемого барана. Однако уважение к дисциплине и привычка к повиновению заставили отогнать неуместные мысли.

Мы еле ползли вперед. Дорога подошла совсем близко к кирпичному заводу. Вдруг раздались винтовочные выстрелы, затем короткая серия выстрелов из пистолета и следом хриплый вопль:

— *Стой, не то убью!!!*

В ответ заговорили наши два пистолета. Для бандитов, видимо, неожиданно. С неприятным чувством я — зная, сколько в обойме патронов и что запасных нет, — считал выстрелы.

Стало тихо. Мы с тревогой высматривали своих. В одном месте дорога резко, чуть ли не под прямым углом, повернула в сторону от кирпичного завода. Именно в этот момент из густых кустов вынырнул и повалился на сани Бенецкий; ткнув возницу кулаком в спину, он прошипел: “Гони!”.

Молодые люди во вторых и третьих санях успели испытать весь набор соответствующих чувств, когда вокруг них зажужжали пули. Впрочем, обстрел продолжался недолго. Бандиты, хорошо знакомые с топографией местности, поняли, что вряд ли сумеют попасть в цель, и отступились.

Мы возбужденно делились впечатлениями (вместо хлеба и колбасы).

Небо на востоке начало светлеть, и уже можно было различить, как наши барышни с восхищением смотрят на пана Стефана.

В конце декабря 1918 года, после четырех с лишним лет отсутствия в родном краю, я приехал в Варшаву...

Комментарии

1. Борис Викторович Савинков (1879—1925) — политический деятель, революционер, писатель, террорист, один из лидеров партии эсеров, участник Белого движения.

2. Павел Николаевич Милюков (1859—1943, Франция) — политический деятель, историк и публицист. Лидер демократической (кадетской) партии, министр иностранных дел Временного правительства. В Киеве в мае 1918 г. начал переговоры с германским командованием, которое рассматривал как по-

тенциального союзника в борьбе с большевиками; поскольку переговоры не были поддержаны большинством кадетов, сложил с себя обязанности председателя ЦК партии; в ноябре 1918 г. эмигрировал в Турцию, а затем в Западную Европу.

3. Лавр Георгиевич Корнилов (1870—1918) — генерал от инфантерии; один из руководителей Белого движения на Юге России, главнокомандующий Добровольческой армией.

4. Антон Иванович Деникин (1872—1947, США) — политический и общественный деятель, писатель. один из основных руководителей Белого движения, командующий Добровольческой армией (1918—1919), главнокомандующий Вооруженными силами Юга России (1919—1920), активный политический деятель русской эмиграции.

5. Юзеф Клеменс Пилсудский (1867—1935) — первый глава возрожденного польского государства (Вторая Речь Посполитая), основатель польской армии, маршал Польши.

6. Владимир Дмитриевич Набоков (1869—1922) — юрист, политический деятель, один из организаторов и лидеров Конституционно-демократической партии; отец писателя Набокова.

7. Сечевые стрельцы — одна из первых регулярных частей армии Украинской республики (УНР) (1917—1919). Сечевики защищали правительство УНР во время большевистского восстания в Киеве (январь 1918-го), в марте 1918 г., когда Киев был отбит у красных, поддерживали порядок в городе. После провозглашения режима Украинской рады (форма государственного устройства Украины в апреле—декабре 1918 г. во главе с гетманом Скоропадским под протекторатом Германии), отказались служить новому правительству. Стрельцы также воевали против возглавляемых Деникиным войск Белого движения.

8. Алексей Максимович Каледин (1861—1918) — генерал от кавалерии, 1 июля 1917 г. избран атаманом Всевеликого Войска Донского, возглавлял на Дону борьбу с большевиками.

9. Михаил Васильевич Алексеев (1857—1918) — генерал от инфантерии, активный участник Белого движения, Верховный руководитель Добровольческой армии.

10. Иван Павлович Романовский (1877—1920) — генерал-лейтенант, видный деятель Белого движения на Юге России, один из организаторов Добровольческой армии.

11. Автор называет Политсоветом Донской гражданский совет (декабрь 1917 — февраль 1918) — объединенный орган руководства Белым движением на всей территории бывшей Российской империи, возглавлявшийся триумвиратом: генералами Алексеевым и Корниловым и атаманом Калединым. Эсеров в Совете представляли Савинков, Вендзягольский и Мазуренко. Семен Петрович Мазуренко (1868—1937) — видный деятель Всероссийского крестьянского союза, украинский социал-демократ.

12. Юг России (*также* белый Юг, в советской историографии иногда “Деникия”, “Доброволия”) — территории, в 1919—1920 гг. подконтроль-

ные белогвардейской Добровольческой армии, а затем Вооруженным силам Юга России (ВСЮР).

13. Речь Посполитая — федерация Польского и Великого княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 г. и ликвидированная в 1795 г. путем раздела между Россией, Пруссией и Австрией.

14. Игорь Платонович Демидов (1873—1947, Париж) — журналист, общественно-политический деятель; после Октябрьской революции вошел во Всероссийский национальный центр — антибольшевистскую надпартийную организацию (1918—1920), руководил работой отделения Центра в Киеве.

15. Создание Украинской народной республики было провозглашено Центральной радой 20 ноября 1917 г.; власть Рады продержалась недолго — в конце января 1918 г. к столице УНР подошли большевистские войска под командованием Муравьева, Центральная рада бежала, Киев был взят красными, и туда 12 февраля переехало украинское советское правительство, созданное в Харькове в декабре 1917 г.

16. После взятия Киева красными (8 февраля 1918) в городе был установлен режим террора; командующий войсками Муравьев приказал "беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и врагов революции". Михаил Артемьевич Муравьев (1880—1918) — офицер царской армии, левый эсер, командир отрядов Красной гвардии и Красной армии, создатель "батальонов смерти"; в июле 1918 г. был объявлен врагом народа и убит (или застрелился) при попытке ареста.

17. В феврале 1918 г. представители Центральной рады УНР, подписав сепаратный мирный договор с Германией и Австро-Венгрией, обратились к ним за военной помощью в борьбе с Красной армией; в марте Киев был оккупирован немцами. В конце апреля Рада была упразднена, гетманом Украины при поддержке оккупационных войск был провозглашен генерал-лейтенант Скоропадский. Павел Петрович Скоропадский (1873—1945) — лейтенант царской армии; гетман Украины (29 апреля — 14 декабря 1918).

18. Лукьяновский тюремный замок (построен в 1859—1862) — памятник истории; в Российской империи Лукьяновская тюрьма считалась образцовым учреждением; в настоящее время — следственный изолятор.

19. Польская военная организация (ПОВ) — подпольная организация, созданная в 1914 г. по инициативе Пилсудского с целью освобождения польских территорий из-под власти Российской империи. Занималась преимущественно саботажем и сбором разведывательных данных; политическое руководство осуществлялось Польской социалистической партией (ППС). В 1918 г. Киев посетила тайная миссия ПОВ, состоявшая из сторонников Пилсудского, впоследствии крупных деятелей Второй Речи Посполитой.

20. Мейендорфы — баронское семейство прибалтийских немцев.

21. Избранный на Первом Всероссийском съезде военных поляков в Петрограде (май 1917) Верховный польский военный комитет сформиро-

вал три польских корпуса, сражавшихся с немцами и большевиками; после обретения Польшей независимости (ноябрь 1918) часть бойцов вошла в состав Войска Польского.

22. Анджей Струг (1871—1937) — писатель, общественно-политический деятель, революционер, член ППС. Михал Сокольницкий (1870—1967) — политический деятель, дипломат, историк, член ППС, один из организаторов и руководителей ПОВ. Болеслав Венява-Длугошовский (1881—1942) — генерал, дипломат, политик и поэт; президент Польши в изгнании (25.09—26.09.1939; его кандидатура была отвергнута Францией и Великобританией). Богуслав Медзинский (1891—1972) — политический деятель, публицист, один из руководителей ПОВ. Тадеуш Шатцель (1891—1921) — полковник, офицер разведки, дипломат и политик.

23. Леопольд Лис-Куля (1896—1919) — один из самых талантливых офицеров Войска Польского, любимец Пилсудского, кавалер ордена Virtuti Militari.

24. Имеется в виду договор (17 августа 1610) Семибоярщины с гетманом Жолкевским о призвании королевича Владислава на российский престол.

25. В конце XVIII в. (1772—1795) произошли три раздела территории польско-литовского государства Речи Посполитой между Прусским королевством, Российской империей и Австрийской монархией; здесь речь идет о первом разделе 1772 г.

26. Речь идет о сильнейшем взрыве на военных складах в районе Звинец (6 июня 1918), во время Первой мировой войны служивших базой для снабжения Юго-Западного, Южного и Румынского фронтов. По официальной версии правительства Скоропадского, там находились огромные партии боеприпасов и взрывчатых веществ, которые после самовозгорания сигнальных ракет детонировали. Неофициальные версии, будто к делу причастны то ли большевики, то ли подпольная ПОВ, не подтвердились.

27. Владимир Константинович Коростовец (1888—1953, Лондон) — журналист, политический и общественный деятель. Служил в Министерстве иностранных дел (1912—1917), в ноябре 1917 г. вернулся на Украину, где организовывал оборону фамильных имений.

28. Бронислав Вендзягольский (1876—1941) — военный и политик, офицер царской армии, участник Первой мировой, Гражданской (на стороне белых) и советско-польской войны, депутат сейма Второй Речи Посполитой. В 1939 г. арестован НКВД, скончался во время транспортировки на Урал.

29. Речь идет о вооруженном антиправительственном выступлении 25—31 августа 1917 г. под руководством Л. Г. Корнилова (в частности, с целью устранения Советов на фронте и в тылу). Переворот не состоялся: по приказу Керенского Корнилов был смещен с поста Верховного главнокомандующего; с помощью верных Временному правительству частей мятеж был быстро подавлен.

(Ниже приведен фрагмент из не вошедшей в настоящую публикацию части “Дневников”. В Петроград Кароль Вендзягольский, тогда председатель ревкома 8-й армии, отправился по распоряжению Савинкова.)

30. Ягодная наливка или хлебное вино с пряностями, выдерживаемые до готовности в натопленной печи.

31. Люциан Желиговский (1865—1947, Лондон) — польский генерал и политический деятель, служил в царской армии, после революции — один из организаторов польских национальных частей в России.

32. Лис-Куля погиб позже — в марте 1919 г. в бою под местечком Торчин.

33. Союз хлеборобов-собственников (помещиков и крупных крестьян-землевладельцев).

34. Ландштурм (*нем.* Landsturm) — резерв вооруженных сил, который созывается только на время войны и имеет вспомогательное значение.

35. В ноябре 1918 г. в Германской империи произошла революция, в результате которой была создана демократическая парламентская Веймарская республика (1919—1933).

36. Симон Васильевич Петлюра (1879—1926, Париж) — лидер украинского националистического движения во время Гражданской войны. После разгона Центральной рады возглавлял Киевское губернское земство и Всеукраинский союз земств; примкнул к восстанию против гетманщины; в 1919—1920 гг. — глава правительства (Директории) и главный атаман войск УНР.

37. Тарнополь (сейчас Тернополь) — основанный в 1540 г. город, центр Подолья; принадлежал в разное время Польше, Австрии (Галиция), Российской империи, Украине (1918—1919), СССР; с 1991 г. — районный центр на Украине.

38. Союз возрождения России (СВР; 1918—1920) — антисоветская коалиция политических партий (народные социалисты, правые эсеры, кадеты, меньшевики-оборонцы).

39. Формально началом истории независимой Польши (Второй Речи Посполитой) считается 11 ноября 1918 г.

40. Голобы — поселок на Волыни. Волынь — область на северо-западе современной Украины; в 1921 г. ее восточная часть вошла в состав Украинской ССР, а западная — в состав Польши.

41. Переяславское соглашение 1654 г. между посольством царя Алексея Михайловича и гетманом Богданом Хмельницким оформило объединение территории Войска Запорожского с Русским царством.

Эдвин Эрих Двингер
Между белым и красным

Фрагменты книги

Перевод с немецкого, вступление и комментарии Анны Кукес

Об Эдвине Эрихе Двингере и его книге

Эдвин Эрих Двингер — фигура противоречивая. Кто он: немецкий патриот, разделявший взгляды национал-социалистов, или русофил, переживший русский плен в Сибири, антисоветчик, всю жизнь сочувствовавший Белому движению? Немец или русский? Удивительные зигзаги совершала его жизнь, из крайности в крайность кидала его судьба! Вся его жизнь прошла "между"! — между белым и красным, между Германией и Россией, между гуманизмом и фашизмом, между Западом и Востоком, между цивилизацией и дикостью. О такой жизни следовало бы написать книгу. И Двингер написал, и не одну. Без труда можно найти совсем не "странные сближения" в биографии и творчестве Двингера с жизнью и творчеством его современника Эриха Марии Ремарка, если вспомнить литературу о "потерянном поколении". Есть и кое-что, что позволяет сравнить автобиографические записки Двингера о Гражданской войне в России и особенно о сибирских лагерях для военнопленных даже с рассказами Варлама Шаламова и прозой Александра Солженицына.

Книги Двингера, в том числе "Между белым и красным", переиздавались в Германии несколько раз тиражом более двух миллионов и переведены на четырнадцать языков. Несмотря на то что Двингер едва не стал нобелевским лауреатом по литературе, сегодня он в Германии почти забыт.

После своего первого появления в 1930 году книга "Между белым и красным" имела, можно сказать, мировой успех. Говорили и писали тогда, что Двингер навсегда спас от забвения события Гражданской войны, что он задокументировал страдания немецких военных и гражданских пленных в России после окончания Первой мировой войны и в период Гражданской. Двингера называли хронистом одной из величайших "мясорубок" XX столетия. Именно на это сочинение автор возлагал надежду вечной славы, поскольку на какое-то время ощутил себя если не жрецом, то миссионером и толкователем истины. Ведь в этой книге Двингер впервые воплотил свое, как он считал, писательское и человеческое предназначение: напомнить всем, что человек — не животное, напомнить о человеческом достоинстве

© Edwin Erich Dwinger
© Анна Кукес. Перевод, вступление, комментарии, 2017

каждого индивидуума, а еще — напомнить о кровопролитии начала XX века, предостеречь человечество от повторения подобного. Первую часть своего предназначения Двингер осуществил: книга "Между белым и красным" была опубликована, но, увы, как мы прекрасно знаем — человечество не услышало предупреждения и предостережений автора.

Книга "Между белым и красным" — это записки очевидца, переживания участника, хроника "хождения по мукам". Это автобиографический очерк, так сказать, не причесанный, не приглаженный. Его автор, напомним, — еще не профессиональный писатель, он пишет, как умеет и как чувствует и помнит, предпочитая отшлифованной литературной форме живые эмоции и рожденные только что мысли и сомнения. Не оттого ли в книге так часто встречаются многоточия, так часто меняется время глаголов с прошлого на настоящее.

Эдвин Эрих Двингер родился 23 апреля 1898 года в Киле на севере Германии. Его отец, немец, был морским офицером. Мать же Эдвина Эриха была русской. Ее семья переселилась в Германию в 1868 году. Она научила сына русскому языку и привила любовь к русской культуре и истории. Умерла она в 1914-м, незадолго до начала Первой мировой войны. В 1915 году Двингер добровольцем ушел на войну, был принят сержантом в драгунский полк Его Величества короля Румынии Карла I и отправлен на Восточный фронт. Молодого человека толкнул на такой поступок, с одной стороны, горячий юношеский патриотизм, с другой — желание взбунтоваться и убежать от сытой и слишком стабильной повседневности кайзеровской Германии.

В 1915 году шестнадцатилетний драгун успел заслужить железный крест II степени, был ранен и с другими товарищами из его эскадрона попал в русский плен. В русском военном госпитале он перенес операцию, австрийский хирург спас от ампутации ногу. После выздоровления Двингер и его пленные товарищи были отправлены в Сибирь, в один из лагерей для военнопленных. Здесь он и узнал о том, что в России произошла революция 1917 года.

В лагере молодой человек перенес тиф, от которого заключенные умирали сотнями каждый месяц. Выжив после тифа, Двингер с товарищами был отправлен еще дальше на восток, в лагерь под Иркутском. Потом их перевезли еще восточнее — в лагерь под Читой, недалеко от границы с Монголией. Узники были до крайности измучены и доведены до отчаяния болезнями, голодом, тяжелым климатом, побоями, тоской по родине, одиночеством. Обо всем этом Двингер впоследствии напишет в своих очерках.

В 1918 году Двингер предпринял первую, неудачную, попытку побега. Двое его товарищей, бежавших с ним, были застрелены, Двингеру удалось незаметно вернуться в лагерь. Во время большевистского восстания в Чите появилась новая возможность бежать, но белые быстро снова заняли город. Царские генералы долго не признавали Брест-Литовского мира, заключенного большевиками, и пленные немцы оставались в плену, теряя всякую надежду скоро вернуться домой. Война с Германией, тем не немее, была закончена, и Германия признала свое постыдное поражение. Извес-

тие о капитуляции германских войск обострило у немецких заключенных ощущение бессмысленности собственного существования.

Весной 1919 года Двингер снова бежал из лагеря. С помощью одного крестьянина добрался до Читы и укрылся в доме гражданских пленных из Восточной Пруссии. Оттуда бежал далее на запад. С этого начинается книга "Между белым и красным".

В результате этого побега Двингер оказался офицером сибирской армии Колчака, воевал на стороне белых против большевиков, снова попал в плен. Всего Двингер провел в русском плену пять лет и вернулся в Германию в начале лета 1921 года. Все, что он пережил после ранения и до того, как в 1921-м пересек снова литовско-немецкую границу, описано в двух книгах — "Армия за колючей проволокой" (1929) и "Между белым и красным" (1930).

В 1921 году после удавшегося побега и возвращения в Германию Двингер долго восстанавливал здоровье в санатории, потом обосновался в деревне Альгой в Баварии, стал землевладельцем, занялся сельским хозяйством и не переставал оказывать помощь своим фронтовым товарищам, вернувшимся, как и он сам, из русского плена. В своей усадьбе в Альгое он открыл что-то вроде реабилитационного центра для ветеранов войны и переживших русский плен. В 1921 году появился его первый очерк о русском плене "Великая могила". В 1926 году был опубликован его первый роман "Корсаков".

В 1929—1932 годах вышла трилогия "Германские страсти": три больших очерка о "хождениях по мукам" немецкого солдата в русском плену и о возвращении домой — "Армия за колючей проволокой", "Между белым и красным", "Мы зовем Германию".

Первая из книг трилогии посвящена Эльзе Брандстрем, Сибирскому Ангелу, как ее называли военнопленные, комиссару Международного Красного Креста. Двингер познакомился с ней зимой 1916 года в лагере для военнопленных в селе Тоцкое в Оренбургской области, где сотни пленных ежедневно умирали от голода, холода, тифа, дизентерии и побоев. Эльза Брандстрем спасла жизнь тысячам заключенных в сибирских лагерях. Ее светлый образ проходит лейтмотивом через всю трилогию как образ хранителя, помощника, спасителя, наряду с образами старших товарищей и сестер милосердия, опекающих молоденького пленника, сына полка.

В предисловии к трилогии Двингер писал: "Мы — военнопленные — как никто видим великое и мелкое в человеке. Мы как никто знаем, чтó составляет гордость в человеке и в чем его стыд. Мы знаем, на какие зверства способен человек и как он бывает богоподобен. Мы узнали свой народ и другие народы, мы знаем, как человек может страдать и как он может быть счастлив. Чтобы страдать, нужна идея. Страдать имеет смысл за идею. Как и жить имеет смысл во имя идеи. В этом сама суть жизни. В этом заключается высокое, достойное, гордое человеческое страдание. Пусть же наше страдание станет последним, какое испытывает человечество. Пусть никогда более никто не испытает такого. Не я один, все мы страда-

ли ради того, чтобы предупредить и предостеречь человечество. Только тогда эти страдания имеют смысл. В этом случае мы страдали не зря, ради этого строило страдать".

В 1960-х годах в обеих Германиях его произведения все больше стали восприниматься как наследие национал-социализма, автора открыто обвинили в сотрудничестве с нацистами. Тут он, увы, не одинок — вспомним Кнута Гамсуна, Рихарда Штрауса, Освальда Шпенглера, Лени Рифеншталь, Мартина Хайдеггера или, скажем, Герберта фон Караяна.

Двингер умер 17 декабря 1981 года. После его смерти, в 1990-х, в уже объединенной Германии, благодаря усилиям его вдовы Эллен Двингер некоторые из его книг, в основном ранних, были переизданы.

В 1995 году в предисловии к переизданию "Армии за колючей проволокой" Эллен Двингер сочла нужным обратиться к читателям: ее муж Эдвин Эрих Двингер видел свою человеческую и писательскую миссию в том, чтобы напомнить человеку, что он Человек. Собственно, этими словами мы и хотим объяснить причину публикации, с которой вам предстоит познакомиться.

1919

В Читу прибыли уже на рассвете.

— Поторопиться бы надо, — пробурчал Иван, — в этих краях светает скоро...

Он пнул в бок каблуком свою мохнатую монгольскую пегую кобылку, и она потащилась дальше. Шкура ее была мокра, от нее поднимался пар с едким запахом пота. Так мы и ехали дальше, будто окутанные белым облаком.

Вот въезжаем на первую улицу, по виду — деревенскую. Справа возвышаются, похожие на широкие короба, сибирские крестьянские дворы, окруженные частоколами из круглых бревен. Копыта наших лошадей гулко стучат по замерзшей песчаной дороге, по цвету словно в конном манеже. Вторая улица уже совсем городская. Дома придвигаются один к другому, частоколы исчезли.

— Иван, как звать эту...

Я замолкаю на полуслове: перед нами вырастает часовой с белой повязкой на рукаве.

— Тьфу ты, черт! — Иван зло сплевывает.

— Стой! — кричит часовой. — Документы!

Даем ему наши бумаги. Я стискиваю ногами бока своей, тоже пегой, лошадки. Не дай Бог, что не так... Слова доктора Бергера проносятся у меня в голове: "В первые дни нашей свободы мы за каждым патрулем, который только нам попадется, готовы будем бежать, как собака за хозяином, потому что успели привыкнуть к тому, что у нас за спиной штыки на каждом шагу..."

— Куда? — бросает часовой.

— Так на базар, — отвечает Иван, — за провиантом, и сей же час обратно в деревню.

Часовой настойчиво шуршит нашими бумагами, как будто хочет с ними поговорить, молча отдает их обратно и равнодушно пропускает нас дальше. И не подумаю я за ним бежать! Хотя доктор Бергер, конечно, мудр и прав.

Третья улица.

— Как звать эту улицу, Иван?

— Ну, это... Как ее... Это Александровская, кажись так...

Я резко останавливаю лошадь.

— Тогда нам пора расстаться. Это тебе за то, что был провожатым.

Он неспешно пересчитывает деньги и прячет их в карман тулупа. Я спрыгиваю на землю, разминаю застывшие от долгой езды ноги.

— Будь здоров, Иван! — я протягиваю ему руку.

— И вам желаю здравствовать, сударь! — Он забирает у меня поводья моей лошади, поправляет упряжь, немного медлит. — А шила-то в мешке не утаишь!

— О чем это ты?

— Ну, как же, — спокойно отвечает он, — восемь дней ехал подле вас одной дорогой. А вы, значит, один из этих немцев, незваных гостей, что... Да ладно, плевать! Доброго вам пути домой, сударь...

И он скачет прочь. Я долго смотрю ему вслед. Итак, первый этап пути пройден. На востоке, над Китаем, встает солнце.

* * *

Приходится торопиться: еще до наступления дня мне нужно найти убежище. Я осторожно проскальзываю, как тень, от двери до двери, бормоча себе под нос:

— Александровская, нумер девятый. "Старые валенки продаете? Почем отдадите? Рубь с четвертью..."

18,17,16... Черт, как же быстро светает! В домах уже слышен утренний шум. Вот, наконец, девятка на воротах. Стучу. Жду. Снова стучу. Сердце колотится, так же громко, как стук в ворота.

Легкие шаги за воротами. "Сезам, откройся!" — судорожно пролетает у меня в голове.

— Чего изволите? — слышу я чей-то ясный молодой голос.

— Старые валенки продаете? — выговариваю я моему Сезаму.

— Да... — звонкий голос становится глуше и слегка дрожит, — почем возьмете?

— Рубль с четвертью, — выдыхаю я.

Деревянные запоры со скрипом отмыкаются.

— Входите скорее! — произносит голос по-немецки.

И чья-то маленькая рука тащит меня через коридор и вталкивает в комнату, где укромно и тускло мерцает свечка.

Дрожа всем телом, облокачиваюсь на стол. Свечка бросает свет на лицо как будто той самой девушки, что поила, кормила и выхаживала меня, когда я, полумертвый от ран, попал в плен к казакам...

Какое неожиданное сходство! Поразительно! Не могу унять дрожь, измучен дьявольски. Бросаю обе руки на стол и беспомощно роняю на них голову. Нет сил сдержать слезы.

— Простите, — выговариваю я наконец и ищу глазами ее лицо в сумраке комнаты.

— Не надо! — тихо восклицает она, опершись щекой на руку и энергично мотая головой с двумя косами. — Не говорите об этом!

— Да как же! Надо, а иначе вы же Бог знает что подумали бы...

Я рассматриваю ее пристально. Юная, белокурая, лет восемнадцати. Слезы все еще застилают мне глаза, все расплывается.

— Нет же, нет, я вовсе не нюня, — оправдываюсь я, — просто это сходство... Вы так похожи... А после восьми дней пути чтобы расчувствоваться... Малейшего потрясения достаточно... А еще я четыре года не сидел на лошади... Старые раны, знаете ли... И вообще... Столько всего пришлось пережить за эти годы... А тут свеча в полумраке... Совсем как... дома! Вот что означает этот крошечный огонек, что еле теплится. Однако же когда силы на исходе, одна только эта искорка способна спасти от отчаяния. Пока она горит, достанет сил выстоять! Тогда только осознаешь, что́ довелось преодолеть, через что пройти. И даже этот огонек потом угаснет, но и то уже хорошо, что он был, что он согрел, и сам себе кажешься сильнее, нежели...

Я умолкаю и хлопаю себя по лбу. Будто пробуждаюсь, прихожу в сознание.

— Что же это я такое несу? У меня, верно, жар...

Она на шаг приближается ко мне, робко улыбаясь.

— И вовсе это у вас не жар. Так со всеми бывает... Говорите же, говорите, вам это нынче нужно... Так со всяким случается, кто сюда добирается. И всякий тоже и рассказывает. Так оно и должно быть после всего, что вам довелось...

— Но я же совсем не это собирался вам сказать! Право же, ничего такого не случилось бы, если бы... Ежели бы четыре года назад не попал я в плен и не был бы доставлен в штаб дивизии. Я тогда был тяжело ранен, вместе с сотнями прочих

пленных попал в загон для скота. Один молоденький кадет все кричал "Хильдегард! Хильдегард!" До конца дней моих не забуду этого имени и его крика. Он звал свою Хильдегард, пока не испустил дух. Уже и я собрался было последовать за ним, но тут вошла в загон русская девушка. У нее было ваше лицо, ваши волосы... У нее был при себе лишь один кувшин с молоком, и она выбрала меня... Ее лицо до сих пор у меня перед глазами. И вот нынче, когда я вошел в эту комнату и свет свечи упал на ваше лицо...

Я смиренно пожал ей руку, хрупкую, будто фарфоровую.

— Это было словно знамение! — смутился я.

— Меня зовут Мария, — отозвалась она.

В этот момент вошла в комнату сухопарая седая женщина, невысокого роста, с лицом, сплошь покрытым мелкими морщинками.

— Маменька, — заговорила девушка, — вот, новый прибыл!

Женщина протянула мне обе руки с восклицанием:

— Господи, да вы ведь еще совсем мальчик!

— Да что вы? — я беспомощно улыбнулся. — Неужели все еще мальчик? Меня так звали четыре года назад... Я думал, с тех пор...

— Вы что же, еще в 1915-м попали в плен? — испугалась женщина.

— Именно так. В Курляндии, после освобождения Восточной Пруссии.

— Восточная Пруссия? — повторила она, и строгие глаза ее приобрели новое выражение, так не подходившее к ее жесткости и сухости.

— Мы все тут из Восточной Пруссии, — медленно проговорила она, — нас депортировали тогда, во время отступления. Но проходите же, устраивайтесь. Снимайте шинель, здесь тепло.

Я следую за женщинами в крошечную комнатку, куда сквозь окошко уже заглядывает утро. На столе кипит самовар, разложены хлеб, яйца и немного мяса. Мария протягивает мне пару кусков хлеба своими хрупкими руками. Ее мать усаживается за стол подле меня. Мария не сводит глаз с моего лица. И то ли от этого, то ли оттого, что я невредимым преодолел первый этап моего пути, — от волнения я не могу проглотить ни кусочка.

— Простите меня, — с трудом выговариваю я, — есть пока не могу, только пить, пожалуйста...

В то утро я с удивлением узнал, что в этом доме, кроме двух дам, уже мне знакомых, обитают еще трое лесничих. Все пяте-

ро — с дамами — гражданские пленные из Восточной Пруссии, депортированные сюда казаками. Фрау Томас, седовласая дама, ведет хозяйство. Мария — дочь лесничего инспектора из Гольдапа. Тринадцати лет попала в плен вместе с родителями. Ее мать и отец умерли в одной из сибирских тюрем, и фрау Томас, сидевшая с ними в одной камере, взяла осиротевшую девочку к себе. Они зовут друг друга маменькой и дочкой.

* * *

После завтрака они приводят меня в комнату, где у стены стоит большой шкаф. За шкафом в стене — дверца, ведущая в темную комнатку без окон.

— Вот ваше убежище, — объявила фрау Томас, — днем вы можете, ни о чем не тревожась, ходить по всему дому. Но ночью вам следует удалиться сюда. Могут неожиданно прийти с проверкой.

Мария зажигает свечку на столе подле кувшина, женщины выходят и не без труда задвигают дверь снаружи шкафом. В углу — широкий матрац с подушкой, покрытые лошадиной попоной. Я ставлю свечу на пол и бросаюсь на матрац. Сколько лет я не спал на приличном матраце. Последнее время мне служили ложем два казачьих мешка из-под овса, набитые опилками.

Кто-то теперь спит на этих мешках? Мои товарищи — я вижу каждого из них перед собой. Вот доктор Бергер что-то штудирует за своим столиком перед портретом жены. Маленький лейтенант Виндт, коренной берлинец, занимается спортом в чем мать родила, сопровождая каждое свое упражнение непристойными шутками... И Ольферт, кадет Ольферт, из "добровольно завербовавшихся на войну", сидит на кровати и тихонько поглаживает свои руки.

Думаю о них, и сам себе кажусь эдакой пружиной, вырвавшейся из механизма и разбившей оковы! Четыре года влачил я их, эти оковы, — тяжкие, мучительные, унизительные. И вот они пали. Задыхаясь от счастья, меня переполняющего, ловлю ртом воздух, ощупываю темный пол вокруг меня. Помню этот экстаз, захвативший меня, когда после долгих лет плена вырвался я на свободу. Эти ночи в степи... Ноги немели от холода в стременах, все тело ломило от многочасового непривычного пребывания в седле...

Какой бескрайней представляется земля после плена! И как взволновали меня своей неведомой опасностью вольные степи после тесного, душного загона! Только вперед, Иван! Нет, не оглядывайся, даже если вдруг услышишь мой стон. Это не от боли...

Итак, первый шаг сделан. Я вырвался из моего узилища. Теперь с каждым часом силы во мне будут прибавляться. Да, прибавляться! Это я выкрикнул громко.

Свобода! Свобода! Слышите ли вы, как гремят фанфары, как рокочет это слово! Ведом ли этот грохот тем, кто не пережил того, что довелось пережить мне, нам... Еще пару раз промелькнуло в темноте передо мной девичье лицо...

И я уснул.

* * *

Вечером я познакомился с лесничими. Двое постарше, Люкнер и Пернер, уже дослужились до лесничих-мастеров, а Геннат, что помладше, еще был младшим лесничим. Одного взгляда на них довольно, чтобы понять: это обитатели леса. Они крепки и коренасты, словно восточно-прусские дубы, и носят длинные пышные бороды. Стоит им заговорить, кажется, будто это ветви скрипят и шумят на ветру. Глядя на них, я вспомнил лесника, что недавно умер в нашем лагере. Это он без своего леса умер, говорили врачи. Должно быть, на эти плечи, плечи лесников, груз лет, проведенных в неволе, давит куда сильнее, нежели на наши...

Мы сидим за столом. Передо мной лежит пачка сигарет. Люкнер купил их специально для меня. Лесники сами курят короткие трубки. Я пью золотистый чай, курю в задумчивости.

— Ну, рассказывайте! — раздается, наконец, скрипучий голос Люкнера.

— Да стоит ли, право, — отнекиваюсь я, — все это еще слишком свежо... Кстати, совсем оказалось не трудно. Однажды я уже пытался бежать, правда, на восток. В этот раз я хотя б знал, как это делается...

— И все же, — тихо произносит Мария.

— Ну, нашел я одного часового, тот свел меня с крестьянином из деревни, тот выправил мне документ, будто я его брат, которого расстреляли белые. Иван и сам собирался в Читу, и за две сотни рублей взял и меня с собой. Однажды вечером я прикинулся русским солдатом, а я ведь знаю русский язык, и вышел за ворота. Крестьянин ждал в деревне с парой лошадей и провиантом, и тем же вечером мы по большому тракту прибыли в другую деревню. И целую неделю тащились от одной деревни до другой, пока не добрались до Читы...

— Неужели так просто? Будто в детской сказке? — засмеялся Люкнер, высокий, костлявый, с огромными сильными ручищами и мохнатой бородой во всю грудь, похожей на мохнатый половик из кокосового волокна. — А как в самом деле? — переспросил Люкнер. — Мы же знаем, каково оно...

Я густо покраснел.

Мне на помощь пришла фрау Томас:

— Откуда у вас наш адрес и пароль, голубчик?

— Мне его передал связной. Один молодой швед... Только вы не бойтесь, я был осторожен, я нигде их не стал записывать, выучил наизусть. И с провожатым моим расстался прежде, чем он мог узнать, куда я направляюсь.

Пернер, широкий, приземистый, коренастый, с добрым открытым лицом, облегченно кивнул:

— Всем бы быть такими осмотрительными, а то, неровен час, отправят нас на каторгу...

Мария улыбнулась мне, как если бы слово “каторга” означало что-нибудь доброе, а не страшное.

* * *

Неделю я провел в доме среди этих людей, приходя в себя. Все они были бесконечно добры ко мне.

Старик Люкнер что ни день таскал мне сигареты — где он только брал их! Фрау Томас выспрашивала о моих любимых блюдах, дабы побаловать меня за обедом. Добряк Пернер бегает по каким-то местным комитетам, чтобы выхлопотать мне денежное пособие. Геннат всякий день приносил мне газеты.

Лишь одно угнетало меня все это время: вокруг все были столь добродетельны, великодушны и благочестивы, что мне было чертовски трудно свыкнуться с этим! Я полагал, что все мои тяготы остались за колючей проволокой, однако все то, что тяготило в неволе, здесь, за пределами узилища, принимало иные формы и выражалось по-другому, но совсем не исчезало. Не знаю, как описать это разительное противоречие между моим лагерным бараком, где были одни мужчины, и этим тихим уютным домом, который в целомудрии и добродетели содержали две женщины. Оттого-то я почти всегда молчал, старался ничего не рассказывать о себе, все больше спрашивал, чтобы узнать о них. Терпение, только терпение, скоро снова в путь.

Вчера все же пришлось поведать о моем лагере. Я был краток и щадил слух моих хозяев, не рассказывая им всего, что довелось пережить в плену. О двух моих товарищах — добром медведе Поде и моем вахмейстере Шнарренберге — я вовсе умолчал. Слушатели мои были весьма удивлены, узнав, что я поладил с комендантом нашего лагеря господином Ференики и что лучший мой друг сержант Зейдлиц перешел на сторону русских и нынче квартирует здесь в Чите под командованием казачьего атамана Семенова.

* * *

На другое утро я вошел в комнату, когда Мария одна сидела у стола и штопала мою шинель. Я неловко, с шумом, придвинул к столу стул и сел напротив нее.

Впервые я с ней наедине. И что мне делать? Мой опыт общения с девушками, ей богу, беднее некуда. Когда я в 1914-м в Германии последний раз видел молоденькую барышню, я был еще мальчишкой, и разве я мог тогда еще что-нибудь об этом знать... Я шел добровольцем на войну, и подобно таким же, кто по своей воле рвался воевать за императора и отечество, с патриотическим воодушевлением мечтал только о великом самопожертвовании на благо родины.

Ныне я другой! Не она ли первая девушка, на которую я гляжу уже глазами мужчины? Она уже не подросток, у нее нет уже неуклюжих длинных рук и костлявых плеч, о которые можно уколоться...

Я восхищенно осматриваю ее все пристальней. Маленькая изящная нога, стройное, налитое тело, светлые волосы тяжелым узлом уложены на затылке. Несколько лет я видел только бритые солдатские головы... Как хочется запустить пальцы в этот белокурый узел, ощутить эти волосы, их густоту, а еще больше хочется распустить ей волосы по спине, коснуться их губами...

Изнутри меня жгло что-то незнакомое. Что это, господи? Бросало то в жар, то в холод. Совершенно новое неведомое чувство. В лагере, признаюсь, доходило порой до крайности: я едва не испытывал нечто подобное к молоденьким смазливым заключенным... Но нет, и сравнивать нечего, теперь это совсем другое! Что теперь делать? Надо что-то сказать! Иначе... Бог знает, на что способен мужчина, когда его изнутри так жжет?

— Последняя женщина, что я видел, прежде чем попасть в лагерь, — заговорил я хрипло, — была молодая медицинская сестра в лазарете, русская, Лида Урусова. В Москве это было. Она была так добра ко мне. Всякий вечер на прощание целовала меня в лоб и приговаривала “Спать! Спать!” А я был совсем еще мальчишка, очень слаб и так ей благодарен... И мне ужасно хотелось дотронуться до нее, особенно до ее груди... Но я так и не решился ее об этом попросить. Она бы, вероятно, и позволила... Но Бог знает, что подумала бы обо мне...

Мария глядела в пол, и лицо ее выразило явный испуг, отчего исчезла ее привычная мягкость и кротость. Она привстала и собралась было спасаться бегством.

— О нет, не надо, пожалуйста, — взмолился я, — не уходите, прошу вас! Я только хотел принести мою кепку, там у ме-

ня подкладка отрывается, если бы вы и ее могли бы подшить...

Я бросился вон. Но никакой кепки ей не принес. А вместо того рухнул на мой матрац, сгорая от стыда. И вышел снова не раньше, чем услышал в комнате голос фрау Томас.

* * *

Вечером за общим столом я, наконец, осмелился осведомиться у моих хозяев об их прошлом. Старики молчали, нахмурив лоб. Заговорил молодой Геннат:

– Мне не довелось сделать ни единого выстрела, – признался он, – ни одного... Но я был связным, я передавал сведения, трех лошадей загнал до смерти, помнится. Я их первый заметил, казаков! Мне тогда в лесничестве выдали лучшую лошадь, и я помчался. Через час добрался до первого немецкого поста, а там – молодой лейтенант и восемь солдат. Я им говорю: "Скорее, идемте со мной, казаки наступают, они же там камня на камне не оставят!" А лейтенант, молоденький такой, румяный, кровь с молоком, от ярости даже заплакал. "Чем, – говорит, – я вам помогу? Нас всего девять человек, а там целая армия. Помогите лучше вы нам, толку будет больше, отвезите кому следует нужное донесение". Ну, я и повез. И целую неделю так и скакал от поста к посту, все донесения перевозил. На восьмой день схватили меня казаки. "Ну, пошел, – говорят, – на сборный пункт!" Кого я только не встретил на этом сборном пункте: туда всех моим друзей и знакомых согнали. На дворе ранняя осень, люди босиком, в легкой одежде, теплых вещей никаких. Тысячами отрывали прямо от полевых работ, от уборки урожая, в чем были, так и согнали, даже не дали зайти в дом переодеться или молока для грудных детей с собой захватить...

Лицо рассказчика, молодое и добродушное, мрачнеет, становится злым.

– Вот, не вру, Бог свидетель, детей малых гнали в Россию босыми и в одной рубашонке. Мы шестьдесят дней тащились в вагоне для скота на восток, и ни разу нас не накормили приличным обедом, зато изрядно угощали кнутом. Только в Москве, спустя два месяца после начала пути, нас первый раз как следует накормили. Да только там из вагонов вышли уже не люди, а призраки, живые мертвецы. У них хватило сил, только чтобы отстоять тарелку жидкого супа, детей накормить. Мария была тоже среди тех, для кого пришлось с боем добывать миску супа. Ей тогда тринадцать лет было, она почти умирала с голода... Из Москвы повезли дальше, в лагерь. Тысяч одиннадцать уже нас набралось в то время. В лагере –

тиф, разумеется. Половину выкосил. А когда эпидемия прошла, нас распределили по деревням, по-русски выражаясь, погнали по этапу через голые степи в разные стороны. Вам это знакомо, кадет?

Я кивнул.

* * *

По ночам я часто просыпаюсь. В паре дней пути отсюда стоит в степи барак, а в нем — двадцать пленных: юрист, банкир, фабрикант, офицер, учитель. И у всех дома остались жены и дети. Пять лет уже живут они в этом бараке и ходят за колючей проволокой, как медведи в клетке, и существование их так же печально и монотонно, как у зверей в неволе. Разве не заслужил любой из них свободы более моего? Отчего судьба сжалилась именно надо мной?

* * *

Вчера впервые вышел в город. Люкнер мне сказал, что с моим паспортом это почти безопасно, надо только осторожно выходить из дома и обязательно возвращаться домой.

Когда я у входной двери выжидал удобного момента, чтобы покинуть дом, вошел Геннат, будто ждал меня.

— Кадет, — он многозначительно мне подмигнул, — если собираетесь в баню, будьте осторожны. Там ничего не стоит подхватить сифилис.

— Благодарю вас, Геннат, но в баню я не собирался.

Через две-три улицы я оказался почти в центре города. Я с трудом переводил дух и еле волочил ноги, как после долгой болезни. Ну надо же, я, еще вчера военнопленный, и на свободе, среди незнакомых и свободных людей, волен идти куда захочу!

Город напоминал большой гарнизон. На улицах и площадях толпились шумные солдаты с белыми повязками. Гражданское население выглядело подавленным и запуганным. Штурмом берут полевые кухни, чтобы за пару колчаковских рублей поесть мутно-серой похлебки. Лавки и магазины пусты, а в ресторанах, чайных и лабазах полно казачьих офицеров, все громко судачат о политике. Караульные участки битком набиты оружием, везде виднелись пулеметы, кое-где из окон домов с тоской бессмысленно пялились какие-то бледные женщины с ярко накрашенными глазами.

На вокзале вообще не видно было ни одного гражданского лица. Патрули лежали прямо на земле вокруг винтовок, сложенных пирамидой. На железнодорожных путях, как застывшие динозавры, стояли шесть зловещих бронепоездов:

справа, слева, спереди и сзади, и у всех дымили короткие, толстые, закопченные трубы. У каждого поезда спереди красовалось написанное белыми буквами название. Имена были схожие: “Разрушитель”, “Мститель”, “Карающий”, один из них звался “Атаман”, это хоть и отличалось несколько от прочих названий, однако звучало так же грозно.

Взгляд мой особенно притягивали женщины. Одна только их походка мне, изголодавшемуся, кружила голову. А если иная из них мне улыбалась, я, кажется, краснел до самых ушей и со смущением и неловкостью ощущал, как возрастает во мне вожделение, как переполняют меня силы и чувства, которые приходилось мне волей-неволей подавлять четыре года в лагере... Как, словно стихия, разрушая все преграды, рвутся наружу желания, влечения, мучившие меня все годы моего заключения.

На мое несчастье, занесло меня все-таки в баню. Как во сне вошел я внутрь и потребовал отдельной комнаты. Явилась банщица — крепкая, ядреная девица, налитое тело прикрыто лишь тонкой сорочкой и белым передником. От пара и влаги ткань липла к коже, так что банщица казалась голой.

В предбаннике стоит диван. Продавленный. Понятно отчего. Здесь, в Забайкалье, продавленный диван в бане — дело обычное. Я сбрасываю с себя одежду, как будто она на мне горит.

— Осторожно, голубчик, — пропел вдруг где-то у меня в голове голос Генната, — сифилис. Ничего не стоит заразиться.

Господи, четыре года я держался, сопротивлялся, боролся, и что же теперь... Неужели?

Но вожделение меня парализует, я слабею от одного взгляда на округлые пышные формы полуголой банщицы... Я как больной... Стоит только позвать, и она придет... А тут еще этот диван... Как я протянул эти четыре года среди мужчин, измученных одиночеством, вынужденных довольствоваться похабными картинками и сальными пошлостями? Эти непристойности, эта похабщина бушует теперь у меня в крови и мелькает перед глазами! Во что я превратился! Ведь я был другим! А теперь я будто отравленный, и мне необходимо средство, чтобы остудить этот жар, снять этот угар!

Я только успел вымыться, как банщица явилась сама.

— Ну, голубчик, — она засмеялась и закрыла за собой дверь, — я тебе нужна? Тридцать рублей с тебя, авансом...

* * *

— Если бы не чехи, — заявил за ужином Люкнер, — быть бы нам давно дома.

— Как это? — удивился я.

— Мы, гражданские пленные, да и многие военнопленные тоже уже находились на пути к дому в европейской части России, и тут пришли эти чехи, захватили нас и уволокли обратно в Сибирь. Кабы не они, уже с год были бы дома, — продолжал Люкнер.

— Объясните, будьте любезны!

— Объясняю. Начну издалека. Об этом лучше знать. Не повредит. Еще в 1914-м среди военнопленных отобрали тех, кто в силу национальности своей мог быть дружественно настроен к Антанте. Этих отобранных решено было в целях пропаганды поместить в особый лагерь и там склонить на сторону Антанты. Это вам известно, не правда ли?

— У нас был такой отбор на перевалочном пункте в Москве на станции Угрешская. Меня самого едва не отправили в такой особый лагерь, я ведь родом из Шлезвиг-Гольштейна.

— Таких отобранных было много. Большинство из них — чехи. Едва ли можно упрекнуть их в том, что они перешли на сторону противника. Кто не был свидетелем их борьбы за свободу Богемии, не смеет презирать их. Они хватаются за любую возможность создать собственное независимое государство. Они поспешили по первому же зову присоединиться к "русским братьям", тем более что Россия давно поддерживала их движение через партию "кадетов"... Так вот, из этих чешских солдат составили целый корпус и отправили на фронт. Этот корпус считался одним из лучших в российской армии, ибо сражался за идею, за свободу. Но когда после красной революции старые друзья лишились всякой власти и влияния, отношения между "братьями" заметно расстроились. Чехи и после заключения мира рвались сражаться с немцами, а русские, подписав мир в Брест-Литовске, требовали полного прекращения боевых действий и разоружения чешского корпуса.

Добро, решили чехи, плевать на новую власть, отправимся во Владивосток, а оттуда переберемся с божьей помощью на Западный фронт. Разделились для надежности на группы и разбрелись от Пензы до Иркутска. Белым генералам это было на руку, чешский корпус как контрреволюционный взяли под свое крыло белогвардейцы.

— И вот так вся Сибирь за одну ночь стала белой! — подхватил я. — Да, помню, наш лагерный комендант Ференики мне рассказывал.

— Теперь чехов ничего не стоило сподвигнуть снова примкнуть к Антанте и опять идти войной на немцев. Чехи бы так и пошли походом на Германию, но в ту зиму Германия пала, Австрийская империя развалилась, и появилась их соб-

ственная независимая Чешская республика. Поэтому что толку чехам оставаться в чужой стране? Они бы немедля отправились восвояси, если бы не были так нужны Колчаку и белым. Их всеми силами пытаются удержать, любыми отговорками — разве можно упустить такую силу!

— Вот таково нынче положение, — заключил Пернер, — и чем дело кончится — Бог весть. Одно ясно: нас всех, пленных из Германии, которые собрались уже было вернуться на родину, будут удерживать здесь, чтобы нас снова не послали воевать на Западный фронт. Ладно, это еще можно понять, война есть война, мы бы поступили так же. Но вот чехи... Воевать они уже не воюют, их разоружили и отправили комендантами или интендантами в лагеря для военнопленных, где они всю свою национальную ненависть и злость направили теперь на бывших своих союзников. Они обворовывают лагерные кухни и лазареты, выдают заключенных русским за малейшую провинность, обращаются с заключенными, как с крепостными, короче, ведут себя, как барские притравленные гончие, которых охотники выпустили на добычу. Почти все офицеры их бывших полков что ни день подвергаются порке, побоям, пыткам, унижениям... Постыднее же всего вот что: в Австрии испокон веку проживали те, что носят фамилии Дворжак, или Седлачек, или Оничек. Это по большей части старые добрые венцы или жители Верхней Австрии. Кроме имени своего, они ни слова по-чешски не знают и в душе давно уже такие же немцы, как мы с вами... Так вот, именно этим достается более других: их специально выискивают и отправляют под чешский трибунал с вопросом "Ты чех?". И тут уж никакие клятвы и никакая правда не поможет: их обвиняют во лжи и сопротивлении, бросают в подвал с крысами, истязают плетками до мяса, бог знает еще какими муками и пытками принуждают отречься от собратьев своих и снова идти на них с оружием. Этих немцев, чья вина единственно в том, что деды и отцы их носили фамилию Дворжак или Седлачек, погибают на каторге, замученные до смерти.

* * *

За ужином мы все снова сошлись за одним столом. Говорили о России и о Сибири. Старый Люкнер хмурился. Мария в задумчивости глядела в окно.

— Россия... что ж Россия, известное дело, — заговорил Пернер, — здесь спокон веку человек ценится недорого. Не дороже водки, чая, сахара... Взгляните только, как здесь власть обходится с народом. Нет, тут уж, как говорится, до чего доросли... И это вечное воровство! Ладно, если от бедности, от нищеты, это еще можно понять, ибо не знают, Гос-

поди, что творят. Но когда воруют миллионами, да еще по злому умыслу, осознанно. Вот это уже совершенно омерзительно. Однако я хочу продолжить там, где закончил Геннат. Вам следует знать. Понемногу мы, благодаря нашему порядку, преодолели эту азиатчину, основали наши комитеты, собрали одежду, деньги и белье, распределили это все по совести. И тут началось это воровство! Полезли эти жулики! От последнего лагерного надзирателя до губернатора! Надзиратель стащил, что плохо лежало, до чего дотянулся, что попало под руку, будь то бутылка молока для грудного ребенка, молока, от которого жизнь этого ребенка зависела. Но этого жулику мало: ему подавай надежный источник достатка. Он стал угрожать, что перешлет в другой лагерь. О, эти мерзавцы прекрасно осведомлены, какие семьи и какие друзья хотели бы остаться вместе, чтобы вообще выжить в заключении. Каждый месяц поборы — десять, а то и двадцать рублей с головы, и, если кто не мог уплатить или отказывался, — разговор короткий: как фамилия? Отрывают от жены и детей, в вонючий вагон для перевозки скота, кишащий вшами, и вон! — в другой лагерь, бог весть куда, навсегда и бесследно...

Чиновники средней руки — те поумнее, у них методы тоньше, изысканней. Те за каждую выправленную бумажку, за каждую печать, за каждую закорючку свою по пяти рублей требуют. Не думайте, однако, что эти пять рублей вам гарантируют успех вашего прошения или иного дела. С вас раз десять еще сдерут по пяти рублей, прежде чем ваше прошение или иной документ, перекочевав из одного стола в другой, а то и из мусорной корзины в другую, дойдет наконец до вышестоящих властей. Вот вам и еще один надежный источник дохода для алчного чиновника. А ведь нам приходится снова и снова подавать прошения и носить им деньги, ибо без письменного прошения мы не получили бы даже самого необходимого.

Ну а губернаторы, те уж воруют там у себя, наверху, согласно своим масштабам. Требуют, например, чтобы пожертвования, собранные в Германии для нас, пленных, проходили через их губернаторские руки, и при этом четверть этих денег прихватывают себе. За возможность проживания в одной из деревень в их губернии назначают поборы с каждой головы в семье, раз в месяц, от рубля до двадцати пяти. А вот теперь сосчитайте, хотя бы примерно: в Сибири нынче проживают без малого тридцать тысяч гражданских пленных из Германии и Австрии. Солидная сумма получается, как думаете, а? Нам еще повезло: генерал Семенов, под чьим командованием мы тут нынче обитаем, весьма скромен: мы платим ему с головы (хотя и без того за немалые деньги снимаем этот дом у хозяина) по тридцати руб-

лей губернского налога за проживание, по пятнадцати рублей — взноса за проживание в городе, по десяти рублей — надбавку за всеобщее подорожание, коему, якобы, мы стали причиной, по пяти рублей — взносы в фонд контрреволюции, по три рубля — за паспорта и пропуска, чтобы разрешалось нам ходить по улицам, и по рублю — за убытки во время проверок.

Он умолк и нервно закурил свою трубку.

— Это все правда, Пернер, — миролюбиво проговорила фрау Томас, — но мы не станем жаловаться. Уже недолго осталось потерпеть. Как только в Германии...

— Именно, в Германии! — горько подхватил Пернер, вскидывая голову и глядя на меня. — В Германии теперь тоже революция и контрреволюция! И это вместо того, чтобы объединиться и всем миром закончить и преодолеть, наконец, эту войну! Неужели и немцы сошли с ума? Вчера снова пришла телеграмма о новом путче, не знаю уж, кто ее послал, хотел бы только знать...

— В Сибирь их всех, этих бунтовщиков, — злобно рявкнул Геннат, — тут бы скоро научились держаться вместе и мирно жить! По-братски бы...

Старик Люкнер с шумом отодвинул стул и тяжело встал. Казалось, он сейчас заговорит, и его будет не остановить, но он вместо того молча вышел прочь.

— Да хватит вам! — взмолилась Мария, — знаете же, что Люкнер этих разговоров не выносит.

* * *

Мне удалось расспросить фрау Томас о Марии.

— Я ее не понимаю, — признался я, — какая-то в ней остается загадка...

— Не обижайтесь на нее, — очень серьезно попросила фрау Томас, — и ее не обижайте. Не ее вина, что ей довелось столько пережить. Вся ее жизнь...

— Смерть родителей, — подхватил я, — или было еще что-нибудь?

— Было, — отвечала фрау Томас, — и раз уж вы спросили... Будьте с ней осторожны, берегите ее, как если бы она была из стекла. Вы, как я вижу, влюблены в нее. Я вас понимаю. После того как четыре года просидишь взаперти в окружении одних только мужчин... Но мой вам совет: откажитесь от этой влюбленности, вырвите ее из себя с корнями...

— Но почему? — остолбенел я.

— Я скажу вам почему, юноша. Поверьте мне, я старая женщина, я знаю, я видела. Мария никогда впредь не будет ни с одним мужчиной. Жизнь ее слишком искалечила, слишком жес-

токо с ней обошлась. Для нее все кончено, все уничтожено. Вы, вероятно, никогда ее до конца не поймете, но я понимаю.

— Так ее?..

— Да. В пятнадцать лет. Во время пересылки. Один казак.

* * *

Мне надо побыть одному. Никого не хочу видеть. Весь день бестолково шатаюсь по городу.

Ближе к вечеру я в изнеможении опустился на скамейку на вокзале. Спустя немного времени ко мне подсел какой-то человек. Он заговорил со мной, и я даже обрадовался: его болтовня отвлекла меня от мучительных мыслей о Марии, которые крутились у меня в голове.

— Вы не здешний? — поинтересовался незнакомец, сереньский, малозаметный горожанин, который, однако, мог бы быть прежде из богатых купцов.

— Да, я тут проездом, — подтвердил я.

Шпик, должно быть, подумалось мне.

— Боже мой! — воскликнул человек. — Так вы, верно, немало удивлены тому, что видите в городе?

Я не успел ничего ответить, как он продолжил:

— Так вы от Колчака? Скажите: Колчак знает, что?..

— Что? — осторожно переспросил я.

— Ну, как, ну, вот все это... — ожесточенно зашептал незнакомец, — нет, я вовсе не хочу сказать, что атаман Семенов плох, или, вернее, был плох, или неправ в чем-то... Однако же он совершенно превратился в марионетку японцев. Они купили его с потрохами и сделали своим орудием...

— Я не поклонник семеновщины, — успокоил я собеседника, — говорите все, что считаете нужным...

— Да что тут скажешь! Армия Семенова мала и, чтобы выжить, пускается во все тяжкие и бесчинствует до крайности. Эти зверства будут стоить атаману головы, вот увидите. Видали вы на вокзале бронепоезда? Это семеновские поезда, его самое грозное оружие! Всякую неделю выезжают в губернию... Не приведи Господь, если иная крестьянская община или деревня не поставит атаману вовремя провиант, замешкается с другой поставкой, сей же час высылают один из этих поездов, командируют пару офицеров, и тогда — Господь, отец наш небесный! Старосту деревни изрубят на куски, перед всем селом расстреляют каждого десятого мужчину. И пусть только попробуют возмутиться, бунтовать! Тогда уж жди такой беды, что и словами не опишешь. Оттого процветает у нас доносительство. Что ни день — обыски. Никто уже не верит своим соседям, никто не уверен, что завтра будет жив. Контрразведка свирепствует. Мы зовем ее Белой ЧК.

Его продолговатое лицо, похожее на огурец, принимает иронично-горькое выражение:

– Нынче, видите ли, слава богу, обыски и облавы только по ночам... При свете дня более не расстреливают. Арестованных по доносу отправляют к безумному барону Унгерну-Штернбергу в Даурию. По-семеновски это называется "послать в горы". Увы, героическая пора атамана Семенова миновала безвозвратно. Кто он теперь? Развратник, бабник, дамский угодник. Сожительствует по-царски с одной еврейской актрисой. Справедливости ради надо сказать, однако, что она одна имеет на него влияние и спасает обреченных на смерть, ее он слушает. А армия его тает, как снег на солнце. Что ни день дезертируют целые полки, переходят на сторону красных партизан, скрываются в лесах. И в один прекрасный день...

Он осекся, вздрогнул и замолчал. Из-за угла появилась толпа каких-то серых людей в грязных обносках: когда-то это были немецкие военные мундиры, австрийские гимнастерки, китайские шинели на вате. Они устало тащились через вокзал. Голые ноги болтались в дырявых башмаках, на спинах – узелки со всякими инструментами. Их сопровождали два семеновских офицера – чистеньких, подтянутых, элегантных. Эполеты блестят на солнце, начищенные шпоры звенят.

А вдруг Зейдлиц среди них?

– Военнопленные, – глухо проговорил мой собеседник, – ремесленники. Портные, плотники, столяры, сапожники, шорники... Из лагерей собрали умельцев и посылают их на фронт. Латать армию, сшивать ее по кусочкам.

Среди них не оказалось ни одного знакомого лица. И Зейдлица не было.

По дороге домой я вдруг осознал, какой опасности подвергались лесничие, укрывая меня в своем доме. Не дай бог, кто-нибудь донесет на них в контрразведку, в эту Белую ЧК. Что тогда?

Я бросился домой. Нет, я не допущу, чтобы они погибли из-за меня, теперь, после стольких лет отчаяния и бед. У меня есть три дня. Через три дня, значит, я...

* * *

В полдень Люкнер, взволнованный, прибежал домой из города.

– Началось белое наступление! – провозгласил он. – Уфу взяли. Генерал Каппель почти догнал поезд Троцкого...

– Жаль! – вздохнул Пернер.

– Мне пора поторопиться, – заметил я, – иначе пропущу все самое интересное.

— Вы уезжаете? — удивилась фрау Томас.

— Конечно, — отвечал я, — не могу же я вечно жить здесь за ваш счет. Не удерживайте меня, мне надо ехать. Я каждый день подвергаю вас опасности.

— Вздор, — прорычал Люкнер, — и месяца не пройдет, все уляжется, вот увидите. Красные будут повержены и забыты. А белые, кстати, пока побеждают, добры и любезны.

— Вы полагаете, все изменится так скоро? — усомнился я.

— Уверен, — подтвердил Люкнер, — что делать красным? Колчак — великий полководец и вождь, новый Наполеон, как говорят его офицеры. Да еще ему помогают союзники, на его стороне иностранные войска: англичане, французы, американцы, японцы... Поистине, весь мир вместе с ним ополчился на большевиков. Взгляните на карту...

Он достал атлас и разложил на столе карту Российской империи.

— Вот, глядите. Здесь на востоке стоит Колчак. Под ним вся Сибирь до самого Урала, даже включая Урал. На юге — генерал Деникин. Он вместе с донскими казаками контролирует юг России — богатейший регион империи. На севере — генерал Миллер, а его поддерживает сильная английская оккупационная армия. И они готовы идти на Москву. А на западе стоит Юденич, уже нацелившись на Петроград. Юденич — царский генерал с мощной артиллерией и также с иностранными войсками. Кольцо, плотное. Неразрывное кольцо. Убедились?

Убедился. Такое кольцо, кажется, прорвать невозможно. И все же...

— Не думал, что у большевиков так скверно идут дела, — признался я, — значит, прав был старик Ференики... Но мне все равно надо ехать. У меня есть на то причины. Не отговаривайте меня, мне и так тяжко.

* * *

Последний день прошел в хлопотах и приготовлениях. Фрау Томас зашнуровала мне узелок в дорогу, и я вскинул его на плечи, как настоящий русский мужик. В узелке были краюшка хлеба, пара белья, сахар, чай и коробка с жиром для обуви, особенно ценная вещь. На пояс мне, как герою старинной баллады, повесили жестяной чайник.

— Как подумаю, — заговорила фрау Томас, беспокойно сжимая руки, — как подумаю: вот вы снова бросаетесь в эту дикую степь, в самую гущу этой кровавой революции! Мы вот уже на это не способны, мы слишком опустошены. Мы сидим и ждем, когда же нас кто-нибудь заберет домой. Но я вас понимаю... Вы молоды, так молоды... и четыре года взаперти...

— Да, — отвечал я, — после такого все едино, лишь бы вырваться на свободу!

Она кивает задумчиво, морщинки у нее на лице становятся глубже.

— В вас еще осталось что-то солдатское. А мы — гражданские пленные... может быть, поэтому страдания так опустошают нас, что ничего больше не остается... Вы — понятное дело, вы шли на войну, шли воевать, знали зачем и за что... И зачем, зачем только бывает эта гадкая война! Неужели в мире не найдется никого, кто бы нашел в себе силы и мужество, встал и сказал бы... — Она смолкает на минуту, успокаивается и продолжает: — Нынче я уже стала спокойнее... Но поначалу, когда умер мой муж... Скончался на сырой земле, на голой земле, а подле него одна женщина в это время рожала... Первые дни я выла, как зверь, не умолкая. Меня уже собирались отправить в сумасшедший дом. Русские, они не поняли, отчего я так вою... Люкнер уговаривал меня успокоиться и замолчать, чтобы меня не отправили куда-нибудь, откуда не возвращаются. Но когда проживешь с человеком тридцать лет душа в душу, и вот он покидает вас в самую тяжкую пору вашей жизни... И тело его просто вышвыривают из вагона по пути неведомо куда, и бог весть, где лежат его останки. Как, впрочем, и многих других несчастных. И вот я думаю о нем и понимаю, что нет нигде на свете его могилки, куда могла бы я прийти помянуть его, мне лишь остается вспоминать его лицо, его сильные добрые руки и его гибель, растерзанного, измученного на голой земле, на холодных камнях. Я тогда готова была покончить с собой, много раз пыталась свести счеты с жизнью, однако Люкнер и Пернер не сводили с меня глаз, сторожили меня, как верные псы...

Она глубоко вздыхает, проводит рукой по лбу, как будто прогоняя скорбные мысли.

— Ну да, мы пережили и это, — продолжает она уже спокойно и бодро, — страдания укрепляют дух, делают нас сильнее. Знать бы, чего ради выпадают эти испытания на нашу долю, во имя чего мы так страдаем. А что, в газетах нет ли чего нового о Германии?

— Ничего, фрау Томас. Все те же беспорядки. Большевики надеются, что из этого выйдет революция.

— О нет, Господи, только не это! Этого ведь не будет, правда же?

— Нет, — уверяю я, — совершенно исключено!

— Не дай бог... не дай бог... Для нас, гражданских пленных, это катастрофа: мы бы уже не перенесли этого! А нас так тянет в отечество наше, мы так тоскуем по нашему немецкому порядку, после всей этой здешней грязи, бесправия, во-

ровства, тоскуем болезненно, надрывно... И вот... Нет, только не это. Нам, право же, так немного надо, мы привыкли к самой скромной жизни, нам бы только вернуться к нашему порядку. К порядку, чистоте и справедливости...

— Мы вернемся к этому, — снова заверил я, утешая ее, — а если что, то создадим все заново. Мы — военнопленные, мы — сила, нас сотни тысяч, нам нечего терять, а воля к свободе и жажда справедливости — это более чем... чем что бы то ни было. Конечно, вы можете назвать экстазом вот это стремление построить новую жизнь, но назад пути нет...

— Да! — воскликнула фрау Томас. — И мы, сибирские пленники, желаем того же. Мы страдаем здесь в окружении врагов, но война есть война... И мы больше не станем жаловаться... Но эти русские... Вы слыхали о депортации баронов и всей балтийской знати? Из Курляндии, Лифляндии, Эстонии? Нет? Мы встретились в Симбирске, когда Россия уже была под большевиками, и мы надеялись скоро отправиться домой. Все балтийские дворяне были арестованы и депортированы в Сибирь. И вот это скорбное шествие мы и видели... Сначала шли старики, обросшие длинными бородами. Один в сюртуке, серый от пыли. Другой в зеленом охотничьем костюме, заляпанном глиной, в рваных сапогах, из которых торчали в кровь разбитые пальцы. Следом тянулись те, кто помоложе, в гвардейской форме. Эполеты и аксельбанты оборваны, ордена срезаны. Это те ордена, что они заслужили, сражаясь во славу России. И вот теперь эта же Россия предала их. У одного мужчины лицо было пересечено глубокими шрамами. Все они были белокуры и голубоглазы. Но каков же был взгляд этих голубых глаз! В них не осталось ничего человеческого. Это были уже не люди, а стадо измученных, затравленных до смерти зверей...

Солнце палило. У них дрожали пересохшие губы. Никто не давал им и глотка воды. Через каждые сотню шагов кто-нибудь из них падал наземь. Подле нас упал один еле живой старик, на него тут же накинулись трое конвоиров, удары нагайками посыпались на его голову и спину. Он со стоном поднялся на ноги и потащился дальше. Следом шли женщины и дети. Да, да, это графини и баронессы, чьи лица были как будто из фарфора. Череда молоденьких барышень, лет по семнадцать, мученицы с растрепанными белокурыми волосами и ликом мадонны. На руках они несли своих младших братьев, маленьких графов и баронов. Измученные дети плакали и цеплялись за старших сестер, за изодранные юбки своих матерей. Молодым девушкам приходилось хуже всех: с них не спускали глаз бесстыжие конвоиры, на каждом шагу сыпали в их адрес сальные шуточки и оскорбительные скаб-

резные слова, даже порой давали волю рукам, при этом постоянно хохотали. Несчастные пленники шли, как во сне, иногда даже с закрытыми глазами. Завершали шествие несколько телег, груженных коробками, ящиками, запачканными матрацами и постельным бельем, по ним видно было еще, что они сшиты из тяжелого шелка. На одном из матрацев молодая графиня кормила грудью свое новорожденное дитя.

И знаете, кадет, мы тогда глядели на этих людей и видели, будто в зеркале, себя самих. Ибо и нас, гражданских пленных, тогда так же гнали по этапу через всю Россию.

* * *

Когда я уходил, все собрались у двери проводить меня. У старика Люкнера на глазах были слезы.

— Будь здоров, парень! — пробормотала его кокосовая борода.

Пернер пытался скрыть свою нервозность и огорчение, суетясь вокруг меня.

— Ничего не забыли? — тревожился он.

Геннат рад был бы ехать со мной.

— Поклон от нас нашей Германии, — попросил он, — и скажите там, что мы скоро вернемся, что мы все скоро снова будем вместе.

Фрау Томас взяла руками мое лицо и смущенно поцеловала меня в лоб.

— Немецкий мальчик... один... в этом диком русском мире...

Мария только молча пожала мне руку.

* * *

И вот я еду на запад. Документы мои, судя по всему, в полном порядке. На вокзале я без труда раздобыл билет до Иркутска. Перед самым отправлением встретился мне тот молодой шведский связной, который сообщил мне некогда адрес лесничих в Чите.

— Я бегу на запад и вынужден скрываться, — объяснил я, — хочу просить вас только отправить надежным способом на родину мои дневниковые записи.

— Непременно, — согласился отзывчивый швед, — всякую неделю уходит курьер в Петроград. А оттуда — напрямую в Берлин.

И вот я уже сижу в вагоне четвертого класса. Окно разбито, на полу — грязь. Вокруг меня толкутся мужчины и женщины в пестрых головных платках и желтых телогрейках, давно не мывшиеся, нечесаные. Мужчины курят самокрутку с махоркой, отчего в воздухе висит запах паленой резины. У нас под ногами, среди мешков и ящиков, снуют дети разного воз-

раста и пола. Они воинственно кричат, разделившись на две партии и играя в белых и красных. А ведь детям положено играть в салочки или прятки.

Мои соседи вопят не менее пронзительно, нежели их отпрыски. В этом гаме не все можно разобрать, однако смысл в целом ясен. Подле меня сидит мужик с пшеничного цвета бородой.

— Зря вы браните белых, — вещает он, — где белые — там порядок, известное дело. А красные придут — ограбят, все заберут подчистую: и лошадей, и телегу, и коров уведут. Все загребут, а платить и не подумают. Белые лучше, белым все из-за границы доставляют, и уж они коли чего берут, так бумажками расплатиться не забудут...

— Именно, что бумажками, — прорычал кто-то подле, — на них же ничего не купишь.

Напротив меня крепкая, породистая, крестьянская баба в самом соку, с носом острым, похожим на нож, страшно возмущается и кричит:

— И я должна жить с этой свиньей? С этой пьянью! С этим козлом вонючим! С этим сукиным сыном! Скорей бы красные пришли, тут же разведусь с ним! У них с этим быстро! Раз — и все, холостой!

Один молодой парень в изношенной форме, с какой-то паршой на голове, тощий и заморенный, трясет головой. Измученный, раздавленный человек, должно быть, только что с фронта, сбитый с толку, ничего не понимающий.

— Все пропало, все кончено... — бормочет он беспомощно, — мы погибли, мы разбиты, Господь от нас отвернулся. Все кончено... Красные ли, белые — один черт, пропали мы... Прóкляты мы, прóклятый народ... Что теперь делать? Остается лишь терпеть да страдать... Так сказано в писании...

В Верхне-Удинске я увидел первые японские войска. Желтолицые, похожие на обезьян, укутанные в толстые меховые тулупы, они молча и неподвижно, словно под гипнозом, глядели в костры, где рдел уголь. На плоских маленьких лицах поблескивали щелочки глаз, выдавались курносые короткие носы с широкими ноздрями, изогнутые губы. Порой кто-то из них издавал странный, резкий, отрывистый, короткий гортанный или носовой звук, будто крик птицы.

— У, волки желтые! Торчат тут! — рявкнула крестьянка. — Тянут соки из бедной нашей России. Гиены! Стервятники! Трупоеды, вот они кто!

* * *

Утром я проснулся на Байкале. Дорога на Иркутск шла по берегу озера. Я поймал себя на том, что гляжу в сторону запада

и вспоминаю деревеньку Голустное, где нам, военнопленным, довелось как-то работать.

* * *

В Березовке я достал мой второй кусок хлеба, развернув старую газету. Чтобы скоротать время, я прочел эту газету от начала до конца. Там значилось, что Британия окончательно решилась оказать помощь антибольшевистскому движению, поставить оружие, патроны, обмундирование для двух сотен тысяч человек. Кроме того, решено послать на подмогу белым офицерам два батальона — из Эссекса и Гемпшира — и целую канадскую дивизию, а также сотню инструкторов для подготовки кадровых военных.

Далее писали, что в Омск для борьбы с большевиками прибыл генерал Жанен, который возглавит в качестве главнокомандующего все союзные войска и одновременно будет командующим войсками французской интервенции. Вместе с Жаненом в Омск приехал и генерал Стефаник, первый военный министр только что провозглашенной независимой Чехословацкой республики. Стефаник будет командовать чешским корпусом и поведет чешских легионеров против Троцкого.

Вот это новости. Если оно так, то разгром большевиков — всего лишь вопрос времени.

* * *

В Иркутске я принужден был покинуть поезд. Следующий поезд на запад — лишь через пару дней.

— Ну прощай, братец! — я похлопал по плечу мужика с пшеничной бородой и стал проталкиваться вперед.

Перед знакомым мне красно-белым зданием вокзала шатались без дела чешские легионеры — круглые, сытые, свежие, в новенькой форме, тепло одетые, с лицами здоровыми, довольными и весьма надменными. С удивлением заметил я, что они не отвечают на приветствия белых офицеров. Иные даже с нескрываемым презрением и с явной издевкой поворачивались к белогвардейцам спиной.

Где бы переночевать? Я вынужден экономить деньги, а посему последую примеру моих попутчиков: узелок под голову и укромное местечко на полу в здании вокзала. И доброй ночи.

До самого вечера я слонялся по городу. Туда-сюда переходя по мосту над Ангарой и вдоль реки. Мост носил следы артиллерийского обстрела, как и многие дома в городе. Некоторые крыши разворочены снарядами, стены развалены. Десятки немецких военнопленных трудились в городе, разбирая руины. Я долго стоял и глядел на них.

– Эй ты, чего уставился! – крикнул мне тощий ефрейтор, похожий на моего Хачека.

Я вздрогнул и спешно отошел. Эх, товарищи мои...

К вечеру вокзал был забит людьми до отказа, на полу не было ни единого свободного места. Я искал глазами среди моря человеческих тел и голов в надежде найти, куда приткнуться.

– Эй, братец, давай-ка сюда, – услышал я глубокий грудной голос, – тут хоть и тесно, ну да ты худенький паренек, уместимся.

Это был мой старый знакомый из вагона с пшеничной бородой. Подле него крестьянка с острым носом, ворча, подвинулась в сторону, солдат-фронтовик – в другую. Я со смехом втиснулся в щель между ними, подложив под голову вместо подушки узелок.

– Спасибо, братец, теперь есть где переночевать, – обратился я к бородачу.

Быстро стало тепло в здании вокзала. Три-четыре сотни человек лежали, тесно прижавшись друг к другу. Я обнаружил, что лежу на пересечении двух проходов перед большим роскошным алтарем. Не оттого ли именно здесь крестьяне улеглись теснее всего? Я поднял глаза и увидел улыбающийся лик Богоматери, а перед ней – маленький красный огонек лампады. Вечная лампада... Вечная?.. С этими мыслями я уснул.

* * *

Меня арестовали. Так стремительно, что я не успел ахнуть. И не успел даже осознать, что схвачен. Однако теперь в участке, куда меня посадили вместе с двадцатью другими, у меня предостаточно времени, чтобы посидеть, подумать и понять, где в моих расчетах ошибка. Лихой Брюнн, помнится, в таких случаях говаривал: “Да чтоб мне провалиться!” Но я-то проваливаться не спешу, я еще поборюсь.

Когда объявили поезд, я собирался вместе с моими попутчиками отправиться дальше в Омск. У каждого вагона стояли патрули и проверяли документы. Я показал свои, совершенно уверенный, что мне ничто не грозит.

– Где контрштамп? – рявкнул патрульный.

– Что... Как... Что за штамп?

– Так, так. Не знаешь, значит. Никому не разрешается покидать город без этого штампа, – строго объявил патрульный и, повернувшись к другому, добавил: – К остальным его!

– Да где же можно получить такой штамп? – не унимался я.

– Скоро узнаешь, – ухмыльнулся патрульный, – ну, давай. Пошел, не задерживай!

У входа в вокзал в оцеплении патрулей толпились люди: мужчины и женщины, торговый люд и ремесленники, крестьяне и солдаты.

– В чем дело, братец? – обратился я к одному молодцу в изношенной военной форме.

– Да черт его знает! – пугливо озираясь, отвечал тот.

Его слова меня крайне расстроили, и больше я спрашивать не стал.

Часа два мы простояли без толку на одном месте. Потом появился снова патрульный, а за ним, безбожно ругаясь на чем свет стоит, шагала крестьянка с острым носом, моя попутчица.

– Кнута захотела, сучья дочь! – взревел на нее патрульный, – а ну к остальным, пошла. Живо!

И мы все, как усталое стадо, тупо побрели по городу. Напрасно я себя успокаивал. Разве у меня не идеальные бумаги? И разве в России бумага не решает все? Все напрасно! Это Россия! А в этой стране одного часа довольно, чтобы само здравомыслие потеряло всякий смысл.

Дорога наша лежала мимо того моста, который восстанавливали заключенные немцы. И тот же самый ефрейтор крикнул:

– Да не тот ли это парень, что пялился на нас вчера, как осел?

Я опустил глаза и поспешил пройти мимо, чувствуя укол в сердце.

Тот самый парень, подумал я со стыдом, вчера еще такой высокомерный и уверенный в себе.

В караульном участке приткнуться было некуда, пришлось сесть прямо на пол. По стенам стаями разгуливали черные тараканы. Несло мочой и сырыми портянками. Востроносая баба, не умолкая, сыпала бранью, повторяя то и дело “Твою мать...” До чего же странно было слышать такое ругательство от женщины и матери! Не могу представить себе, чтобы Мария могла бы выговорить такое.

* * *

Неделю просидел я в камере с двадцатью другими узниками. Раз десять просил вызвать офицера и всякий раз слышал в ответ: “Потерпишь, сопляк!” Документы мои у меня забрали. Что меня ожидает, я не представлял.

Востроносая баба взяла меня в приятели.

– Боже мой, скорей бы пришли большевики, – талдычила она, – что эти сукины дети с нами сделают? Чего ждать от этих гнид!

– Да что с нами может случиться? – успокаивал я. – Со дня на день выдадут нам эту печать, и поедем дальше своей дорогой.

– Ой, ой, – стонала она, – если бы я только...

— Только что?

— Не твое собачье дело, поповский сын! Продать меня хочешь? — возопила она в ответ. — Отвяжись ты, вошь куриная! Крыса ты монастырская!

Да, никому теперь не весело. Сиди вот и гадай: перемелет тебя эта мельница или пощадит?

До чего же я, однако, отвык от толпы, от тесного загона, от неволи, от грязи. Когда я только что вырвался из заключения, подобная обстановка показалась бы мне раем. Но после того как я провел время в Чите в доме у лесничих и вернулся к нормальному человеческому бытию...

Мои товарищи по несчастью происходили из всех возможных сословий этой необъятной империи. Здесь были и простые крестьяне в лаптях, и отставные солдаты в высоких сапогах, и ухоженные сытые купцы в лаковых ботинках. Иные общительны и разговорчивы до глупости. И я, уж не знаю с чего такое везение, был избран в исповедники и принужден был выслушивать их признания. Все они полагали, что виноваты в чем-то перед белыми, и за эту-то вину сюда и угодили. И всякий из исповедовавшихся надеялся, что я эту их вину оправдаю, но при этом боялся, что на него донесут.

— У меня сын примкнул к красным, — шептал один крестьянин, — не потому ли я здесь?

— Я однажды продал красным мешок зерна, — признавался торговец.

— Я приветствовал красных как освободителей, когда они вошли в наше село, — бормотал один мелкий землевладелец.

— Да я мужа моего, этого ублюдка гусарского, сто раз бы красным отдала, чтобы они его... — рычала востроносая.

И каждый после этих слов глядел на меня умоляюще и ждал, что скажу я:

— Ах нет, вы вовсе не виноваты, не может быть, чтобы за это вас сюда...

Поначалу я рад бы их утешить, потом притих. Весьма вероятно, именно поэтому каждый из них сюда и попал. А я? Я-то почему здесь?

Ну вот, уже ловлю на себе первых вшей.

* * *

Каждое утро вызывают кого-нибудь на допрос. Сегодня вызвали востроносую бабу, кривого крестьянина, мелкого землевладельца, отставного солдата и последним — меня.

Нас привели к пустой камере и велели ждать. Внутрь втолкнули только востроносую. Вскоре она вышла оттуда, обреченно повесив голову и бормоча:

— Сукины дети!

— Стой здесь! — рявкнул на нее охранник, — следующий...

— Ну что? — тихо спросил я.

— Да подавись ты своими вопросами, поповское отродье! — вскинулась на меня баба.

Ой-ой-ой, подумалось мне, плохи наши дела.

Кривой крестьянин, которого вызвали следующим, вышел с сияющим видом.

— Мне поставили печать! — провозгласил он и исчез.

Никто и не подумал его более задерживать.

Я опустился на пол, облокотился спиной к отштукатуренной стенке. У меня совсем нет сил, я устал. И спина разболелась.

Вышел кулак-землевладелец и молча, с кислой миной, пристроился к востроносой бабе. Отставной солдат, напротив, с сияющим видом отправился вслед за кривым крестьянином, на свободу.

— Василий Сябрев! — вызвал старший.

Я встал и пошел на допрос.

За столом сидел офицер. Глаза острые, как нож, жесткий подбородок, вид брутальный. Рядом с ним — писарь.

— Ты — Василий Сябрев из Борсы? — коротко, отрывисто спросил офицер.

— Да, — отвечал я, — Василий Сябрев.

— Вот и славно, — отреагировал офицер, — наша контрразведка разузнала в одной деревне, что ты — один из тех красных, которых мы давно уже ищем, и что по тебе могила плачет. Вот здесь значится: Василий Сябрев по приказу атамана Семенова подлежит немедленному расстрелу как опасный красный мятежник. Атаман Семенов, очевидно, до тебя еще не дотянулся, ну да мы это исправим, будь уверен. Один раз тебе повезло — ты сбежал, второй раз такого счастья не жди. От нас не сбежишь. Готовься: через три дня на рассвете...

— Ваше высокородие! — взвыл я.

— Увести! — бросил офицер, — в особую камеру, к тем, другим... Марш!

— Ваше благородие! — не унимался я. — Это ошибка... честное слово...

— Давай! — зарычал старший. — Шевелись, сукин сын, не слышал?! Не задерживай!

Сопротивляться было бесполезно. Двое патрульных подхватили меня под руки, пихнули к востроносой матерщиннице и кислому кулаку.

— В городскую тюрьму их! — крикнул старший нам вслед.

* * *

Настоящая каторжная тюрьма. Голые стены сочатся сыростью и покрыты плесенью. Под потолком крошечное зарешеченное окошко. В углу — ведро с парашей, переполненное гниющими нечистотами. Вокруг меня — совершенный сброд: жулики, дезертиры, шлюхи. Среди этой очаровательной компании — два интеллектуала: один с университетским значком, убежденный большевик и агитатор, и второй в форме чиновника — растратчик и фальсификатор векселей. Ну и кулак с востроносой.

Большинство из них принимают свою судьбу, как только русские умеют принимать судьбу и держать удар: молча, стоически. Жулики играют в карты, дезертиры болтают о немецком фронте, толстый кулак монотонно молится, востроносая матерится, большевик изрекает короткие лозунги. Одна только певичка из варьете, которая шпионила на красных, крутя романы с белыми офицерами, голосит, не умолкая: “Я не хочу умирать! Не хочу, чтобы меня расстреляли, да еще весной!”.

— Заткни глотку, подстилка офицерская! — рычит востроносая.

Господи, что теперь с нами будет? Мне рассказывали о таких тюрьмах мои товарищи, военнопленные. Иные проводили в таких заведениях по нескольку лет. Из такой тюрьмы только два выхода, и оба — вперед ногами. Либо тебя тут забудут, и суждено тебе здесь сгнить среди испражнений и вшей. Либо тебя расстреляют в тюремном дворе. Третьего не дано.

Я затосковал по моей каморке у лесничего. Затосковал даже по нашему бараку в забайкальских степях, где я и мои товарищи провели четыре года. Как же так могло получиться? Ведь казалось, что мой побег устроен безупречно! Все были уверены, что этого Сябрева давно схватили и расстреляли! Его уже успели похоронить и оплакать, кому положено. И вот, пожалуйста: он, оказывается, сумел сбежать, до сих пор жив, и за ним по-прежнему охотятся. И теперь белые ликуют, потому что решили, что Василий Сябрев опять у них в руках. И уж теперь они выполнят приказ атамана Семенова. Выходит, что даже брат Василия — Иван, мой провожатый — ни о чем не догадывался. Бумаги были в полном порядке. И вот на тебе! Если бы не замели меня на вокзале, быть бы мне давно в Омске, где никто бы уже меня не стал искать.

Как глупо! Что толку теперь гадать, к чему эти “если бы” и “но”! Как сбежать — вот в чем вопрос! Путь только один: сказать всю правду! Меня тогда, скорее всего, запихнут в другую каторжную тюрьму, а потом засадят в очередной лагерь, на-

поминающий преисподнюю, но если я пережил Тоцкое, то преодолею и все остальное. Никак по-другому мне жизнь свою не спасти.

А между тем всякий день стали дюжинами забирать из камеры заключенных, уводить "без вещей". И когда один поинтересовался, почему ему нельзя взять с собой его пожитки, ему отвечали со смехом:

— Ни к чему они тебе, дурень, не понадобятся больше!

Прошел мой первый день в тюрьме. Осталось мне два утра, на третье меня обещали расстрелять. И расстреляют, если не выкручусь! От этой мысли холодный пот выступал у меня на лбу и по спине бежал озноб.

* * *

И я выкрутился. В пять часов пришел офицер с очередным расстрельным списком, и я прорвался к нему.

— И ты туда же? — с издевкой спросил он. — На тот свет торопишься? Это легко устроить.

— Ваше высокородие, — выдохнул я, — я желаю сделать важное признание!

— Это все говорят в последний день! — засмеялся офицер.

— Но это правда! Заклинаю вас, отправьте меня на допрос, но только к офицеру, который говорил бы по-немецки.

— По-немецки? — насторожился офицер. — Так это имеет отношение к немцам, твое признание?

— Имеет...

— Ладно, я посмотрю, что можно сделать, — обещал офицер и обернулся к охране, — а этих вон отсюда, вперед!

Вопли и мольбы, удары и проклятья. Я закрыл глаза, забрался в самый темный угол камеры и заткнул уши. Когда все стихло, в камеру не вернулись шестеро заключенных.

Стало просторнее. Но в полдень привезли новых подозреваемых. Кулак по-прежнему молился, востроносая материлась, агитатор произносил речи. Как на митинге: "Мы должны взять с собой и самоё смерть и нашу революционную энергию. Ибо энергия есть сила. И любая мысль, родившаяся в нашем уме, пойдет на пользу пролетариату..."

* * *

В десять меня вызвали на допрос к молодому, красивому офицеру с добрыми глазами.

— Вы Сябрев? — спросил он.

— Нет, — поспешил ответить я, — я Сябрев только по документам. Василий Сябрев из Борсы. На самом деле я немецкий военнопленный офицер...

— Немецкий военнопленный офицер? — повторил он и от удивления шагнул назад.

— Да. Документы на имя Василия Сябрева я купил у одного крестьянина. Если вы мне не верите, задайте любой вопрос по военному делу, я отвечу.

— Вы кавалерист?

— Кавалерист. Драгун, — подтвердил я.

Он задумался.

— Как проходит обучение кавалерийских лошадей старше третьего года?

Я просиял. О, тут я специалист!

— Если лошади снова обрели соответствующую выправку после трех аллюров с выпрямленным корпусом, тогда задние конечности лошадей следует усиленно тренировать с помощью общего аллюра и бокового хода...

Я продолжал, пока офицер сам меня ни остановил.

— Ладно, — засмеялся он, — однако я мало чем могу помочь вам, сожалею. Даже если все, что вы говорите, правда, вас могут принять за большевистского шпиона. Мы таких уже немало изобличили, тоже из бывших военнопленных.

— Ваше благородие, — взмолился я, — мой прежний комендант в лагере штабс-капитан Ференики из забайкальских казаков хорошо меня знает. Он теперь служит под командованием атамана Семенова. Если бы вы написали ему, что я здесь, или еще лучше послали бы телеграмму, я все расходы беру на себя, деньги у меня есть, он непременно ответил бы и подтвердил, что я...

— Хорошо. Это выход. Ваше имя и название лагеря?

Я все назвал.

— Комендантом лагеря был штаб-капитан Ференики, — прибавил я, — ныне служит при штабе атамана Семенова в Чите.

— Я распоряжусь, — отвечал офицер, — и смогу оттянуть ваш расстрел на неделю. Но ежели к тому времени ответа не последует... Простите, на том власть моя закончится...

— Я уверен... ваше благородие... все получится... только не забудьте...

— Не забуду, не тревожьтесь. Кстати, я бывал в Германии, в российском посольстве. Весьма ценю ваш народ...

И он простился и вышел. Наконец-то одно человеческое лицо среди этих звериных рож!

Окрыленный надеждой, вернулся я в свою вонючую конуру. Верно, моя радость написана была у меня на лице, потому что маленькая чернявая певичка из варьете, поглядев на меня, кинулась мне на шею и едва не задушила в объятиях со словами:

— Скажи ему! И про меня скажи! Ты и меня можешь спасти!..

Я с трудом освободился из ее объятий и отвечал, что, увы, помочь ей не смогу и не знаю, кто бы смог.

Она не верила, бросалась ко мне снова, предлагала себя в качестве вознаграждения, говорила, что я могу делать с ней, что хочу, только бы...

— Двинь ты ей разок в смазливою ее рожу! — посоветовала востроносая матерщинница, — подстилка офицерская! Потаскуха!

* * *

Вот уже два дня я пребываю в крайнем напряжении, в тревожном ожидании. Шагаю по камере, перешагивая через лежащих моих сокамерников, которые, дожидаясь приговора и глядя в глаза смерти, чрезвычайно быстро теряют человеческий облик.

Сегодня утром меня должны были увести на расстрел. Вместе со мной кулака и востроносую. Какая-то заминка вышла, и кулак, и баба по-прежнему в камере. Всего теперь в этой камере шесть на семь метров содержатся двадцать восемь человек. Есть почти не дают, хотя, впрочем, это, может быть, и к лучшему, ибо наша камера напоминает чумной барак. Параша переполнена и льется через край. Даже по нужде никого не выпускают.

Сегодня в полдень привезли двух военнопленных — немца и австрийца. Их можно узнать по остаткам военной формы. Также было видно, что обоих жестоко били. Младший, австриец, горько плакал. Когда их втолкнули в камеру, оба повалились на пол.

— Почему вас сюда? — спросил я, присаживаясь к ним.

— Ты тоже?.. — немец поднял на меня глаза.

— Да, прусский драгун. Из Шлезвиг-Гольштинии.

— Пехота. Я из Бремена, — отвечал немец, — портовый рабочий. Женат. Двое детей. А товарищ мой из Вены. Художник-декоратор.

— Ну и?

— Из лагеря мы. Комендант — редкая сволочь. Заставлял нас в мороз минус сорок часами стоять на снегу. Многие ноги отморозили до кости. Сквозь строй гонял. Шпицрутенами стегал.

— Это такой низенький с длинными висячими усами?

— Точно! — изумился бременец.

— Знаю такого...

— Ты там тоже был?

— Да, в 1916-м. Ну, рассказывай дальше!

— Пришли красные. Русские солдаты — и те на него показали, он же со всеми скотски обращался. Красный трибунал. Нас спрашивают: имеете, что сказать про него? Мы и выложили все, как было, от всего барака, как доверенные лица. Расстреляли его... Но красным пришлось бежать, белые наступали. Пришли белые и спрашивают, кто, значит, на коменданта донес? А солдаты испугались за свою жизнь, и нас вдвоем выдали как двух единственных обвинителей...

В голове у меня стучало, как молотом.

— Можно ли вас как-нибудь спасти? — спросил я.

— Нет, никак не спасешь, — сухо отвечал немец.

Маленький австриец разрыдался, трясясь всем своим измученным отощавшим телом.

— А эти все здесь? — прибавил немец, — это всё?..

Я молча кивнул.

Бременец устроился на полу и осмотрелся. Кулак заунывно молился, стоя в луже. Востроносая тихонько сыпала проклятиями себе под нос. Маленькая шлюха висла на шее у дезертира, умоляя его спасти ей жизнь. Растратчик, что подделывал векселя, хныкал, как ребенок. Агитатор вещал из угла ясным, твердым голосом: “Мы должны преодолеть границы времени и пространства с помощью нашей идеи и веры. Переломить время — значит обрести бессмертие. Кто владеет ключом ко времени, тот вооружен и сам инженер своей жизни...”

— Неужели я здесь проведу свои последние часы? — спросил немец, бледнея.

* * *

Я всякий день приставал к жандармскому офицеру с вопросом, нет ли для меня новостей?

— Нет, никаких! — с издевкой отвечал тот. — Зря надеешься, молокосос, лежать тебе в сырой земле, как другим!

И это Россия? Неужели Россия? Вот один изо всех сил старается мне помочь, другой же лишь смеется над моим несчастьем и уже потирает руки, готовясь поставить меня к стенке. О да, такова она и есть — эта земля!

Нынче утром забрали обоих военнопленных. “Без вещей”. На прощание они отдали мне свои военные жетоны и записные книжки. Генрих Хардерс имя портового рабочего из Бремена. И Бальтазар Имменкофлер — это художник из Вены. Когда мы прощались, меня душили слезы. Я не сдержался и бросился им на шею. Наша германская кровь, вдали от родины-спасительницы, в жестоком враждебном окружении, яростно требовала еще раз, пусть в последний, по-братски прижать сердце к сердцу.

Австриец посмотрел на меня такими глазами, что я содрогнулся.

— Там, в отечестве, меня уже более четырех лет ждет моя жена, — он плакал, — и трое маленьких детей, которые меня никогда больше не увидят. Я столько вынес, столько пережил, и вот теперь... теперь...

И он закрыл лицо руками, как будто все еще не мог осознать, как все это могло с ним случиться и что его ждет.

Немец держался жестче.

— Меня утешает хотя бы мысль о том, что и скотина-комендант сдох так же. Как мы теперь.

Через что же должен пройти человек, чтобы перед смертью он не мог найти даже более достойного утешения, чтобы умереть с миром и без злобы?

* * *

Все мои надежды пошли прахом. Я едва не помешался.

Тот самый гвардейский офицер, что допрашивал меня и обещал помочь, явился снова с известием, что от атамана Семенова не пришло ни строчки по моему поводу. Офицер был подавлен, избегал глядеть мне в глаза и с сожалением объявил, что завтра меня все-таки расстреляют.

Не может быть! Повторите! Я не верю! Это сон! Кошмарный сон! Неужели он сейчас произнес это так ясно и четко! Господи! Да как же такое может быть!

Востроносая, как гиена, шныряла вокруг меня. Видно, поняла, что произошло, или прочитала по моему лицу. Она торжествовала:

— Брось метаться, поповский сын, пойдешь с нами!

И она всем своим видом старалась показать, что надеяться мне больше не на что.

Ох, уж лучше бы я остался в лагере! Я бы теперь мой барак, мои мешки с сеном вместо матрацев почитал за счастье! Жил бы себе и радовался, что вообще жив! Валялся бы себе с утра до вечера на соломе, курил бы, водку пил! Поди плохо. Кормили скверно? Да, паршивый был рацион, и еще много чего было не так, но хотя бы к стенке на ставили! И зачем только я все это бросил? Черт дернул, не иначе!

Ну нет! Ну уж, извините! Правильно я сделал, что сбежал! Ей богу, правильно! Надо было сбежать из этого болота, где я и другие опускались, зверели и превращались в бессмысленный тупой скот. Такой исход ничем не лучше расстрела.

Как я труслив и малодушен! “Я бы жил!” Да разве это жизнь! До чего же не хочется умирать! Так не хочется, что готов влачить это жалкое скотское существование, лишь бы

остаться в живых! Я еще так мало жил, я так молод. Меня же все называют мальчишкой.

* * *

Там в лагере, в Тоцком, я тоже всякую минуту мог умереть. Но там я не знал, когда наступит мой час, мне его никто не определял так беспощадно и окончательно. Всегда оставалась надежда, пусть даже она была бессмысленна. Нас были сотни тысяч, остались тысячи, из этих тысяч должен же был кто-то уцелеть, не всех же нас должны были пустить под нож. Кто-то ведь оставался. Жил, как умел, и надеялся. Нельзя же никому запретить надеться.

Но здесь...

И вот еще что важно: там меня окружали товарищи, такие же солдаты, как я, — Под, Зейдлиц, Шнарренберг. И даже посреди этого кошмара мы умудрялись поддерживать друг друга с почти отеческой любовью, на какую способна не всякая женщина и мать. Здесь же вокруг меня преступники: жулики, растратчики, убийцы. Они ненавидят любого, кому в жизни повезло чуть больше, чем им. И здесь не говорят на языке моей родины, на котором говорил мой старина Под...

В Чите я купил часы. Старые дешевые карманные часы из никеля. Теперь они лежат передо мной на нарах, и я слежу глазами за стрелкой. Как она быстро крутится, эта маленькая черная палочка... Никогда не думал, что она будет бегать с такой скоростью...

Уже скоро. Осталось мне совсем немного.

Востроносая вдруг вспоминает о Колчаке.

— Царский выродок! — начинает она в свойственной ей манере. — И чего только ему надо? Вернуть прежние времена? А его офицеры, эти белые скоты! Им чего надо, сукиным детям? Опять нас пороть и сильничать, как раньше? Дочерей наших срамить да брюхатить? Холера вас побери, потаскуны проклятые!

Большевик шагает из угла в угол.

— Товарищи, — звучит его ясный твердый голос, — поставьте на место икон портреты ваших вождей! Религия есть опиум! Питайтесь силой ваших вождей. Лишь эта сила способна пробудить к жизни новую эпоху!

Кулак воет по-собачьи.

— Господи боже мой, отец наш небесный, — причитает он, — смилуйся надо мной грешным, помилуй и спаси!

* * *

Шаги за дверью. Штыки звякнули друг о друга.

— Смирно! — рявкнул кто-то в коридоре.

В дверях явился Зейдлиц.

Я, словно во сне, подошел к нему и протянул ему руку. Он крепко пожал мою руку и произнес звонким голосом, который я так давно не слышал:

— Ну и влипли же вы в историю!

— Меня что, отпускают?

— Да, пойдемте, — засмеялся Зейдлиц.

Мы вышли в коридор, где я прислонился к стене. Зейдлиц одет был в форму русского офицера. Когда я видел его в последний раз, он носил еще немецкий драгунский мундир.

— Ну, рассказывай, как ты сюда попал? — заговорил Зейдлиц, впервые обращаясь ко мне на "ты". Мне это "ты" показалось настоящим подарком.

Я рассказал ему все с того дня, как я покинул дом лесничих в Чите и до того, как меня арестовали. Он слушал молча, не перебивал, иногда его тонкие губы, еще более строгие, чем прежде, подрагивали, как будто в улыбке.

— Вот как, — сказал он, наконец выслушав меня, — а у нас вот какие новости. Четыре дня назад вызывает меня внезапно Ференики. Вы, говорит, только подумайте: наш сержант или кто он там, наш Вениамин, арестован в Иркутске, они держат его за шпиона и собираются расстрелять. Поезжайте, говорит, немедленно и разберитесь. Телеграмму-то я уже послал, но бог знает, какому черту там вожжа под хвост попадет!

— Значит, я не ошибся в нашем коменданте! Но как ты меня отсюда вытащишь?

— Ты поступаешь под командование генерала Семенова, он требует тебя к себе, в свою контрразведку...

— А потом?

— Об этом позже, — коротко отвечал Зейдлиц.

Час спустя восемь охранников выстроились справа и слева от двери. Из караульной явился офицер, по-товарищески улыбнулся мне, громко объявил двенадцать имен. Моего среди них не было.

Мы прижались к стене, пропуская осужденных. Певица из варьете цеплялась за колени офицера, выкрикивая "Господин офицер! Господин офицер!" Он толкнул ее коленом в грудь и рявкнул:

— Увести!

Толстый кулак не мог идти сам, у него подкашивались ноги, охрана тащила его под руки. Он молился одними губами, у него не было сил издать больше ни единого звука.

Востроносая материлась на чем свет стоит:

— Да, отравила я его, отравила, этого сучьего сына, этого кобеля проклятого! — орала баба в лицо офицеру. — Так и

знайте! И всех бы вас отравила! Всем вам туда дорога, белые сволочи!

Несгибаемый большевик шагал прямо и твердо, и его восклицание "Да здравствует мировая революция!", пусть и негромкое, как-то отчетливо прозвучало среди этого ора и стенаний.

И я должен был быть среди них. От этой мысли силы оставили меня, я стал цепляться за стену и почти сполз на пол, хорошо Зейдлиц подхватил. В висках у меня стучало, в горле стоял ком.

Зейдлиц стоял с каменным лицом, стиснув зубы.

— Зейдлиц... — выдохнул я, — ты...

— Не я, — отвечал он резко, — это Ференики...

* * *

Мы ехали на восток. Одни в купе второго класса. За окном тянулся Байкал. Наступала весна.

— Ты мне так и не сказал, что я буду делать в Чите, — напомнил я.

— А ты не догадываешься?

— Нет, — притворился я.

— Ференики ожидает, что ты перейдешь на сторону белых.

Я вздрогнул.

— Так я и думал!

— Разве тебе это будет трудно? — удивился Зейдлиц.

— Трудно, — тихо отозвался я.

— Не понимаю. Хорошо, допустим, я — офицер, профессиональный военный, это моя работа. Но и ты должен бы... Я готов примкнуть к ним по моему офицерскому призванию. А тебя разве не влечет к ним твоя кровь, твое происхождение?

— Возможно, — согласился я, — но, может быть, это все скоро кончится...

— Но ты же индивидуалист, ты же хочешь победы, главенства, господства духовного начала? Ты же не атеист?

— Нет, — твердо отвечал я.

— Тогда что с тобой? — недоумевал Зейдлиц.

— Мы можем вызвать к жизни нечто, что нам самим неведомо. Надо ли это делать?

— Нет, — согласился мой товарищ, — этого, пожалуй, делать не следует. Однако добрый консерватор ничуть не хуже доброго революционера. Прогресс не должен доставаться слишком легко, ибо только в борьбе рождаются идеалы. Необходимо противодействие, иногда оно помогает больше, чем поддержка. Допустим, это нечто новое — хорошо, в чем

лично я сомневаюсь. Тогда через борьбу оно станет еще лучше, чище и сильнее. Не довольно ли тебе этого?

Я молчал, опустив глаза. Я вдруг увидел перед собой агитатора – прямого, упертого человека, одержимого своей идеей. Зейдлиц теперь напоминал моего сокамерника, когда проповедовал новую жизнь, новую эпоху, зарю нового человечества...

– Ты – человек совершенно особенный, – заключил Зейдлиц, – однако, будь уверен, Ференики спас тебя от смерти не для того, чтобы ты симпатизировал красным. Ференики, да и я тоже, – мы не из тех, кто станет что-либо делать ради чьих-то прекрасных глаз. Если ты не примкнешь к нам, он пошлет тебя в лагерь, а то и вовсе на каторгу. Выбирай, что тебе больше по душе...

– Бог с тобой, Зейдлиц! И не думал я симпатизировать большевикам. Я ненавижу коллективизм, я индивидуалист по природе своей. Это разделяет меня с ними навеки. Но ты пойми, такой человек, как я, всегда встанет на сторону угнетенных и обездоленных. За эти недели я такого насмотрелся...

– Я тебя прекрасно понимаю, – заверил Зейдлиц, – если бы ты провел три недели в тюрьме у красных, ты навидался бы того же самого, поверь мне. Тогда тебе легче было бы примкнуть к нам. Ох, Ференики, он хитрец, он знает тебя, видит насквозь! Не напрасно он послал меня спасти тебе жизнь в последнюю минуту. Ты теперь размяк, стал покладист, кроток...

* * *

Проехали Березовку. Здесь, помнится, я читал газету. А что, Зейдлиц, правду ли пишут?..

– Это уже устаревшие сведения, – отвечал Зейдлиц, – это еще из того времени, когда у власти находились эсэры и зеленые, Временное правительство, директороия, то есть меньшевики. Когда Колчак прогнал их прочь, еле удалось направить генерала Жанена нам в поддержку.

– Отчего так? – удивился я.

– Они думают, что Колчак желает стать единоличным правителем, независимым от Антанты. А этого они из прежней дружбы с левыми – Керенским, Милюковым, Авксентьевым – никак не могут допустить. Они вовсе оставили бы нас без помощи, если бы Колчак не объявил первый пункт Конституции...

– Почему?

– Потому что интервенты желают видеть в России только одно правительство, подчиненное им, как то, что возглавлял Керенский. И чтобы Россия не зналась с японцами. Потому что им нужна Дума, которую можно купить. А царя-то ведь не купишь!

— Не понимаю...

— Скоро поймешь, — отрезал Зейдлиц, — раскрой глаза пошире.

— А что с чешскими легионами? Стефаник добился чего хотел?

— Нет, и у него ничего не вышло. Они больше не хотят воевать за чужую страну. Устали. Чешский корпус утратил всякую ценность и силу как военное подразделение. И превратился в обузу. Он теперь, как каторжная цепь, висит у нас на ногах. Чехов определяют теперь охранять вокзалы и железные дороги и конвоировать пленных и заключенных. Скверно это...

— Да, я кое-что слышал об этом, — подтвердил я, — это самое скверное...

* * *

Наш вагон остановился напротив разобранных путей. Здесь трудился целый взвод военнопленных. Я поднял окно и высунулся наружу.

— Кому сигарет? — крикнул я.

Один долговязый немец из пехоты указал на охранников: заключенных плотным кольцом окружали десять чешских легионеров.

— Идите сюда! — позвал я.

— Нас бьют за это! — крикнул в ответ немец.

Я бросил ему целую пачку папирос, но она до него не долетела. Ее подобрал один из чехов и, ухмыляясь, засунул себе в карман.

— А ну верни! — выкрикнул я.

— Щас тебе! — вяло огрызнулся тот в ответ.

Я впился пальцами в оконную раму. Знает ли этот человек, что означает сигарета для заключенного? Конечно, знает! Сам ведь был военнопленным! Что же он так поступает?

Немцы удивленно подняли головы, на секунду оторвавшись от работы.

— Бей немецких псов! — зарычал унтер-офицер, главный среди надсмотрщиков.

Кольцо охранников тут же сузилось, и ружейные приклады заплясали по спинам заключенных. Один артиллерист упал на землю, его сапогами заставили подняться. Шестьдесят рук снова судорожно принялись за работу, дрожа от голода и бессильной ярости. Тридцать лиц мрачно уставились вниз, серые от боли.

— Оставь нас в покое, из-за тебя нас вон как! — крикнул мне длинный немец и плюнул в мою сторону.

* * *

В Верхне-Удинске раздавали листки со срочной новостью: “Взят Стерлитамак!”. Я попросил Зейдлица разъяснить мне положение. Он развернул карту и показал мне:

— Вот Стерлитамак. Еще один значительный шаг вперед...

— А что вообще происходит на фронте? — поинтересовался я. — В каком направлении идет наступление?

— Фронт образуют три армии, — объяснял Зейдлиц, — первая еще Временного правительства, эсеров, социал-революционеров. Эта армия носит название Сибирской. Штаб-квартира ее в Екатеринбурге, цель — отвоевать Пермь. Вторая — Западная армия со штаб-квартирой в Челябинске. Недавно отвоевала Уфу. Третья — Оренбургская армия, держит под контролем южное направление. Сибирской армией руководит генерал Гайда.

— Чешский легионер?

— Именно. Загадочная личность. В прошлом — чуть ли не полковой лекарь. Записался в легион, взлетел до полковника, а потом Колчак повысил его до командующего армией, в благодарность за то, что Гайда усмирил чехов во время мятежа. Я ему не доверяю. Далее: Западной армией командует генерал Ханжин, из надежных царских генералов. Южную, Оренбургскую, армию ведет казачий атаман Дутов, бесстрашный кавалерист. Кроме этого, на реке Тобол действует еще самостоятельный корпус генерала Каппеля. Он молод и собирает под свое крыло всех, кто желает сражаться за белых. У него целый офицерский полк кавалеристов и еще один — артиллерийский.

— Спасибо. Мне теперь многое ясно. Но какова цель?

— Уфа и Пермь отвоеваны. Следующими должны быть Симбирск и Казань. Потом Нижний Новгород и, наконец, Москва.

— Неужели получится, Зейдлиц?

— В этой стране ничего невозможно рассчитать, — медленно отвечал мой товарищ, — да и не пророк я.

* * *

По прибытии в Читу Зейдлиц взял маленький юркий экипаж, каких много на улицах российских городов. Мы прибыли в штаб атамана. В молчании прошли в писарскую комнату. Послышались шаги, очень знакомые, шаркающие. Ручка двери подскочила кверху. На пороге стоял Ференики, широкий, массивный, громоздкий.

— Ну что? — со смехом обратился он ко мне. — Эх ты, государственный преступник! Шпион? Беглец? На этот раз чуть было не попался совсем, с концами, а?

— Господин капитан! — я бросился к нему и схватил за руки.

— Ну добро, добро, полно, будет! Давай без сантиментов, братец. Ты мне лучше скажи, что мне с тобой дальше делать, а? На каторгу тебя отправить? Обратно в лагерь вшей кормить, чтоб ты там совсем помер с голоду или от тифа с дизентерией? Или что?

Штабс-капитан подмигнул мне с намеком.

— Или к вам в полк, господин капитан, — промямлил я.

— Молодец! — басом зарокотал капитан, как церковный орган. — Быть тебе в моем полку, парень! Свезло тебе! Чудом жив остался и в полк попал! Однако ж придется все-таки тебя наказать, чтобы впредь от своего капитана не бегал. Зейдлица я произвел в лейтенанты, а ты, дружок, оставайся-ка покамест прапорщиком.

Нас с Зейдлицем поселили на квартире у почтмейстера. Отвели лучшую комнату — гостиную с парадной мебелью и иконами в красном углу. Хозяин всякий раз набожно крестился и смиренно опускал глаза, входя в комнату и приближаясь к образам.

Напротив икон на стене висело зеркало — старинное, изрядно помутневшее. Я долго разглядывал себя в этом мутном стекле, как будто знакомился с самим собой. Я не узнавал себя в этом парне в зеленом казачьем кафтане, высоких юфтевых сапогах, с широкими золочеными прапорщицкими эполетами, с кожаным ремнем для ношения оружия через всю грудь. Я ли это — с кривой казачьей саблей на боку? Четыре года я с ужасом следил за смертоносными ударами таких сабель.

Никогда в жизни не было мне так чудно смотреть на себя самого, как в тот день.

* * *

Зейдлицу подчиняется новый отряд, который он должен обучить, как кавалерийский офицер. Я тоже у него в подчинении и в обучении. Среди наших рекрутов иные бравые ребята из крестьян и вольных казаков, иные — пассивны и равнодушны ко всему, а есть и такие, которых Ференики называет прокрасившимися. Эти последние — их, пожалуй, одна десятая часть из всех, — ненавидят белых и предпочли бы перейти на сторону красных. С нами же они против своей воли, и Ференики задался целью выбить из них “красную заразу”. Зейдлиц со всеми холоден, суров, справедлив и четок. И удивительным образом преуспевает в образовании рекрутов, благодаря такому своему поведению. Совершенно особенно он обращается как раз вот с этими, что нас ненавидят. Делает вид, что не слышит, как они с ненавистью называют нас погаными немцами. Я бы так не смог. И добиваться таких результатов и успеха тоже не умею.

Второй частью этой сотни под общим командованием капитана Ференики руководит молодой лейтенант Константин фон Конгрин – увлеченный, пылкий, немного экзальтированный. Он покорил сердца своих подчиненных тем, что умеет рывком и мгновенно укротить любую горячую, непокорную лошадь. Он махом вскакивает ей на спину, дает шпоры, не то как настоящий казак, не то как мексиканец какой-то. Один удар плеткой, и животное покоряется ему полностью. Точно так же, к счастью, не применяя силы, он "укротил" и своих солдат. Я ожидал, что "прокрасившиеся" люто возненавидят его первого, а вместо того они его любят, а Зейдлица всего лишь боятся. Я часто думаю: неужели в России с лошадьми и с людьми следует обращаться одинаково, вот так вот на немецкий манер, чтобы их укротить и приручить? А что, если на немецкий манер не выйдет?

* * *

Зейдлиц часами сидел недвижно у окна, прижавшись лбом к стеклу. Причина мне неизвестна, уж и не знал, что думать. Однажды я не выдержал.

– Ты о Германии тоскуешь, Зейдлиц? – тихо спросил я.

Его так и передернуло, он вздрогнул всем телом, как от резкой внезапной боли или отчаяния.

– Не спрашивай об этом! – отрезал он.

– Не могу не спрашивать! Мы же товарищи со времен лагеря в Тоцком! Разве не ты всегда поддерживал меня, говоря о нашем отечестве?

Он встал.

– Тогда, – горько и едко бросил он, – тогда мы еще не знали, ради чего страдаем. Или верили в то, ради чего мучаемся. А ныне что? Газеты пишут, что в Мюнхене хозяйничают коммунисты! Совсем как здесь! И домой нельзя, приходится оставаться здесь... Ради чего!.. Чтобы свою кровь...

И он застонал, как раненый, и в глазах его отразилась такая тоска.

– Там, там... там каждый из нас пригодился бы... ради нашего порядка, нашей чистоты и нашего мира... А вместо того мы здесь... И больше ничего!

Он подошел ко мне вплотную, стиснув челюсти, как от боли.

– Пора понять вот что: лучших из нас нет более в живых, они пали, их забрала война. А на их место пришла бессмысленная чернь, всякое отребье, полагающее, что настал их звездный час. Да и здесь – то же самое. И мы должны в чужой стране... за деньги... как какие-то ландскнехты... наемники!

Он осекся, тяжело дыша.

— Зейдлиц! — взмолился я, гладя его по волосам.

Он оттолкнул мою руку, как будто она его обожгла.

— Оставь! — крикнул он. — Я уже не дитя! И никогда более не спрашивай меня об этом! Я не в силах об этом говорить, пойми же, Господи! Довольно того, что я служу здесь, в этой стране, а между тем она чужда мне, мне нет до нее никакого дела! Я всякий день должен наблюдать коррупцию, эту звериную жестокость, это скотство, рабство, продажность... Я верил! Верил, что нам легко все удастся. Ты офицер, убеждал я себя, это главное, это твоя суть, твой стержень... Но я немец, я прусский немец. Я способен бороться только за идею, но не за деньги! Я не умею быть наемником!

— Но не ты ли сам утверждал, что мы здесь боремся за индивидуализм, за преобладание личности над массой, против коллективизма, против власти масс?..

— Утверждал! — горько подтвердил мой товарищ. — Но в это верим лишь мы двое, только мы из тысяч. Пожалуй, еще Ференики и Конгрин верят в то же самое. Но прочие... Никто не относится к своей службе всерьез. Никто не думает о своей великой задаче, о том, что мы боремся за сами основы нашего мира. Им бы только карманы набить. Погрязли в распутстве, разврате, чревоугодии, корысти, и все на Бога надеются...

Он взял фуражку и открыл дверь.

— Прости, если я был резок, но мне опротивела эта семеновщина, я ее возненавидел.

* * *

Вчера приехали Ференики и Конгрин. Мы одолжили у почтмейстера самовар и весь вечер прокутили. Конгрин привез бутылку шнапса.

— Мы, как русские, пьем, — извиняясь, сообщил он, — потому что трезвыми жить уже не умеем.

У него замечательное солдатское лицо, румяное и цветущее, движения быстры и молоды и напоминают бег жеребенка.

Зашел разговор о Семенове и японцах. Ференики сердился и с горьким упреком стучал кулаком по столу.

— Совершенно ясно, что наш атаман — только орудие японцев, — негодовал штабс-капитан, — у него одна цель — передать японцам все земли до самого Байкала. А японцам выгодно, чтобы земли были заселены как можно меньше, тем ценнее для них эти области. Поэтому они подло поддерживают это семеновское Белое ЧК. И если в Сибири узнают, что японцы кормят нашего атамана с руки с тем, чтобы он подготовил им территорию для нашествия... Одно уже ясно: они же сами первые больше всех травят, доносят, разводят тут

шпиков, и на них же наводят такой страх, что любой из них на мать родную донести готов!..

— У вас есть доказательства? — бросил Зейдлиц.

— Пока нет, курья твоя башка, — рявкнул в ответ штабс-капитан, — но я их найду!

— Кстати, вчера опять сорок человек отослали к Унгерну-Штернбергу в Даурию, — добавил Конгрин, которого все называли Костей.

— Погодите всего неделю, — продолжал Ферени̇ки, — я вам докажу! А они между тем и на корейцев уже замахнулись, разве не так? И их решили истребить, всякую неделю — аресты безо всяких оснований! Устроили бойню! И зачем же это, а? А я вам скажу зачем! Для своих территорию освобождают! Я никогда этим захватчикам не доверял. Наконец и другие прозревают! Знаете что? Никому из них — будь то англичане, американцы, французы — нет нужды нас спасать, плевали они на нас! Им надобно совсем другого!

— А я всегда говорил! — выкрикнул Костя. — А меня еще называют пессимистом!

— Ни во что больше нет веры, — сокрушался Ферени̇ки, — одни деньги да нажива!

— Именно поэтому единственный, кто в состоянии спасти Россию — это Колчак! — воскликнул Костя. — Он один никогда ни за что никому России не продаст. Вот скажите мне, чего вам хочется: монархии, полного возврата назад, крепостного права? Нет, вам надобна золотая середина: демократия, Государственная дума! Кому же не хочется середины! Только демократия означает продажность!

Он обернулся к Зейдлицу.

— Вы знаете Колчака? Слышали о нем?

— Слышал, — отвечал Зейдлиц, — только не знаю, правду ли...

— У него лик Наполеона, — как зачарованный произнес Костя, — не черты, нет, но выражение... От него исходит такое сияние, что все покоряются ему... Я как-то говорил с ним во время автономного управления. Он позволил мне высказаться, а сам при этом не сводил с меня своих черных глаз. Я сделался как будто пьян, и речь моя лилась рекой... — Костя вскочил и воздел вверх руки. — Ах, братец, — возопил он в экстазе, — он такой человек, каких я прежде не встречал! Я люблю его! Люблю его! — И добавил еле слышно: — Он мой царь...

Он бросился к окну, прижался лбом к стеклу и умолк.

* * *

Вот что мне сегодня пришло в голову: несчастье России в том, что попытки установить в стране коммунистический миропоря-

док ускользнули из рук теоретиков-экспериментаторов и попали в руки активно действующих идеологов. Хладнокровные расчетливые экспериментаторы прекратили бы свои опыты, как только осознали бы научным разумом несостоятельность и нежизнеспособность экспериментов. Пожалуй, и года бы не прошло, как осознали бы. Но, увы, ученые упустили науку, и она попала в руки к Ленину и его сподвижникам, а этих вела уже не наука, но вера. Наука превратилась в религию, в идеологию, а за нее религиозные фанатики пойдут на смерть.

Так вот это и есть великое несчастье, что большевизм пошел по такому пути. Большевизм мог бы осчастливить тех, кто гонится за призраком, гонится до тех пор, пока этот призрак сам себя ни изживет, и не станет ясно, что это всего лишь призрак и что в действительности он невозможен. Этот фантом, эта химера — разве они не столь же стары, как само учение Христа, как само человечество? В конце концов, большевизм, доведенный до абсурда, закончился бы тем, что эти постоянные беспокойные бунтарские игры были бы навсегда стерты из умов тех, кто заигрался.

Но вот теперь он вырвался на волю и стал опасен! И никому не приходит в голову, что назад уже пути нет, что большевизм в России миновал свою точку невозврата и уже сам собой не прекратится. Все, верно, полагают, что он скоро сам себя изживет и отменит либо примет какие-то разумные, умеренные формы, а то и вовсе по доброй воле сдастся. Как иначе можно объяснить столь вялое участие Англии, Франции, Японии, Америки? Отчего не предпринимают они ничего серьезного и решительного, дабы уничтожить большевизм? Они надеются на скорый благоприятный исход, на то, что все разрешится и кончится само собой.

Верил и я в это еще полгода назад.

Теперь же сомневаюсь.

* * *

Мы на литовской земле. Россия осталась позади. Здесь на каждом шагу заметно, что эта республика только что появилась на свет. Наши английские паспорта не доставили никаких сложностей, а впрочем, нам, вероятно, просто повезло. Литовцы выделили нам купе второго класса и даже, по нашей просьбе, заперли дверь. Кажется, в этом краю британцев носят на руках, как отцов-основателей.

В поезде Бергер почти без чувств падает в кресло. Я спешу на помощь, он же отмахивается:

— Пустое... Я просто не верю своему счастью... — шепчет он, и голос его звучит совершенно особенно, как никогда прежде.

Я иду на свое место и укладываюсь молча на лавку. Никто не помешает теперь... Я закрываю лицо руками и уношусь мыслями в прошлое, в пережитое... Из темноты возникают и проносятся мимо пустыни и березы, лошади и люди... Грузный массивный Ферeники, прямой сухопарый Зейдлиц, молоденький подвижный Костя, Петров с его огненно-рыжей казачьей бородой, нежное, мягкое, почти девичье личико Ильи, изысканные французские остроты графа, полные тоски, неземные глаза Луки, иконописный лик Любы, как у мадонны...

Я люблю тебя, Россия, думаю я на прощание, люблю вопреки всему...

Никогда в жизни не забуду твой запах, эту чудную смесь из мокрой овчины, свежего ржаного хлеба и сырой дубленой кожи.

И, наверное, всегда буду тосковать по тебе!

* * *

Просыпаюсь в Вильно.

— Видали новую русскую пропаганду? — внезапно спрашивает Бергер, — свежий плакат?

Всю дорогу он лежал, отвернув лицо, уткнувшись узкой своей головой в сиденье.

— Видал, — тихо отзываюсь я.

И ни я, ни Бергер никогда не забудем ни одного из этих плакатов. Все это навсегда врезалось в нашу память.

Этот лозунг торчал на последнем российском вокзале подле кассы, чтобы никто не проглядел его. Изображен был могильный курган, на нем разбросаны несколько стрел и щитов, на щитах — имена всех вождей контрреволюции, от Корнилова до Колчака. “На могиле контрреволюции” — значилось на плакате. Краснов, Каледин, Дутов, Юденич, Деникин, Миллер. Между щитами валяется царская корона и регалии погибшей империи: расколотый орел, затоптанные ордена, эполеты и аксельбанты, разорванные в клочья высочайшие указы, обрывки горностаевых мантий и огромная бочка водки. Высоко в облаках парит салютующий генерал Янин, верховный главнокомандующий войск интервентов. Справа на коленях в полном облачении усердно молится совершенно пьяный поп, слева отчаянно рыдает зажравшийся буржуй в глубоком трауре...

* * *

Мы решили выйти из поезда на последней литовской станции. Нам не прорваться теперь в Германию через запертую границу и толпу любопытных. Мы накинем на плечи наши одеяла,

вскинем на спину наши узелки и пойдем пешком, через какую-нибудь тихую лазейку проберемся в наше отечество. Мы вернемся домой, как будто мы два путника, что ушли в поход в леса и вот возвращаются снова в город, отдохнув на природе.

Вирбаллен... Вечер, тихий мягкий майский вечер. Выходим из поезда, идем в город через прохладный лес. Идем дальше молча. Лес расступается, впереди — городок.

— Эйдкунен, доктор, — тихо объявляю я.

— Так мы уже?..

В это мгновение мы обнаруживаем поблизости пограничный столб, черно-белый, нагретый солнцем. Мы устремляемся к столбу, прислоняемся к нему усталыми спинами, стоим неподвижно.

— Давайте заночуем сегодня в этом лесу, доктор?

Бергер кивает.

— Для таких как мы, путников, что возвращаются домой, следует открыть санаторий, как думаете, доктор? Тихое место, где бы мы шаг за шагом, без лишних потрясений, снова становились людьми...

Мы расстелили наши одеяла и улеглись на них. Лес потемнел, взошла луна. Мы, широко раскрыв глаза, глядели на звезды. У меня задрожали губы, пальцы сами впились в родную землю.

— Благодарю тебя за эту мысль, — вдруг произносит Бергер.

Первый раз он заговорил со мной с тех пор, как мы оказались на немецкой земле. И впервые обратился ко мне на "ты"...

Комментарии

Радола Гайда (настоящее имя Рудольф Гейдль) (1892—1948) — чехословацкий военачальник и политический деятель, участник Гражданской войны в России.

Антон Иванович Деникин (1872—1947) — русский военачальник, политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист. Участник Русско-японской войны, Первой мировой войны. Один из основных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, его лидер на Юге России (1918—1920), командующий Добровольческой армией (1918—1919), главнокомандующий Вооруженными силами Юга России (1919—1920), заместитель Верховного главнокомандующего Русской армии адмирала Колчака (1919—1920) и его официальный будущий преемник на посту Верховного правителя России. От вступления в должность отказался. С апреля 1920 г. — эмигрант, один из основных политических деятелей русской эмиграции. Автор воспоминаний "Очерки русской смуты" (1921—1926) — фундаментального историко-биографического произведения о Гражданской войне в России, вос-

поминаний "Старая армия" (1929—1931), автобиографической повести "Путь русского офицера" (издана в 1953 г.) и ряда других произведений. Скончался в 1947-м в больнице Мичиганского университета и был похоронен на кладбище в Детройте. Американские власти похоронили его как главнокомандующего союзной армией с воинскими почестями. В 1952-м по решению белоказачьей общины США состоялось перенесение останков генерала Деникина на православное казачье Свято-Владимирское кладбище в городок Кесвилл, в штате Нью-Джерси.

Александр Ильич Дутов (1879—1921) — русский военный, казачий ата́ман, главнокомандующий Южной армией белых, герой Белого движения, атаман Оренбургского казачества, генерал-лейтенант (1919). Убит в Китае агентами ЧК.

Пьер-Тибо-Шарль-Морис Жанен (1862—1946) — французский военный деятель и дипломат, участник Гражданской войны в России. С весны 1916 г. возглавлял чрезвычайную французскую военную миссию в России при Ставке Верховного главнокомандующего русской армии. В 1918 г. главнокомандующий Антанты маршал Ф. Фош назначил генерала Жанена Верховным командующим войсками Антанты в России. Основной задачей Жанена была эвакуация войск Чехословацкого корпуса во Владивосток и отправка их в Европу для пополнения сил союзников на Западном фронте. С ноября 1918 г. — начальник французской военной миссии при Российском правительстве адмирала А. В. Колчака, главнокомандующий чехословацкими войсками в России. 16 декабря 1918-го прибыл в Омск. С января 1919 г. — представитель Высшего межсоюзного командования и главнокомандующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. Занимал враждебную позицию по отношению к адмиралу А. В. Колчаку и Белому движению в целом. В декабре 1919-го поддержал восстание против колчаковского правительства в Иркутске. Санкционировал выдачу Колчака эсеровскому политическому центру, после чего Колчак был расстрелян. В 1920 г. вернулся во Францию.

Владимир Оскарович Каппель (1883—1920) — русский военачальник шведского происхождения, участник Первой мировой и Гражданской войн. Один из руководителей Белого движения на востоке России. Главнокомандующий армиями Восточного фронта Русской армии (1919). Кавалер орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степеней, ордена Святого Владимира 4-й степени, орденов Святой Анны 2-й, 3-й и 4-й степеней, орденов Святого Станислава 2-й и 3-й степеней. Командовал Симбирской группой Поволжского фронта Народной армии. В конце 1918 г., в ходе объединения антибольшевистских вооруженных сил востока России, возглавил 1-й Волжский ("Каппелевский") корпус армии Колчака. В декабре 1919 г., приняв командование гибнущим Восточным фронтом армии, смог спасти армию от окружения под Красноярском и вывести ее к Байкалу, хотя и ценой собственной жизни. Скончался от пневмонии в 1920 г. близ Нижнеудинска. Провалился под лед при переходе реки, пережил обморожение и ампутацию пальцев ног.

Александр Васильевич Колчак (1873—1920) — русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь (1900—1903), флотоводец (1915—1917), участник Русско-японской и Первой мировой войн. Георгиевский кавалер, адмирал (1918), руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920). В январе 1920 г. во время отступления белых войск и эвакуации иностранных интервентов из Сибири был выдан в Иркутске командованием Чехословацкого корпуса местным властям в обмен на свободное продвижение чехословацких эшелонов и союзных военных миссий во Владивосток. 7 февраля 1920 г. был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

Евгений Карлович Миллер (1867—1939) — русский военачальник, генерал-лейтенант (1915), руководитель движения на севере России в 1919—1920 гг., главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России, действовавшими против советской власти на Северном фронте. Был приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания и расстрелян во внутренней тюрьме НКВД 11 мая 1939 г.

Григорий Михайлович Семенов (1890—1946) — казачий атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант Белой армии. В сентябре 1921 г. эмигрировал в Китай, вскоре уехал в США и Канаду, затем обосновался в Японии. С образованием в 1932 г. государства Маньчжоу-Го японцы предоставили атаману дом в Дайрене, где он прожил до августа 1945 г., и назначили ежемесячную пенсию в 1000 иен. Возглавлял Дальневосточный союз казаков. С 1934 г. принимал участие в мероприятиях Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ). Автор мемуаров “О себе: Воспоминания, мысли и выводы” (Харбин, 1938). В сентябре 1945 г. после разгрома советскими войсками Японии Семенов был арестован в Манчьжурии и в 1946-м расстрелян в Москве.

Милан Стефник (Милан Растислав Штефаник, 1880—1919) — словацкий астроном, политик, генерал французской армии. В 1914—1918 гг. — видный деятель словацкого национального движения в эмиграции, в феврале 1916 г. участвовал в создании Чехословацкого национального совета и стал одним из его руководителей. Занимался созданием чехословацких легионов в Сербии, Румынии, России, Италии. В 1918 г. — один из руководителей интервенции в Сибири.

Унгерн-Штернберг (Барон **Роберт-Николай-Максимилиан (Роман Федорович) фон Унгерн-Штернберг)** (1886—1921) — русский генерал австрийского происхождения, деятель Белого движения на Дальнем Востоке. Георгиевский кавалер. Автор идеи реставрации Чингис-хана от Тихого океана до Каспия. В ходе Монгольской операции его отряд был разгромлен, а сам он был выдан монголами партизанскому отряду и по приговору Сибирского ревтрибунала расстрелян.

Михаил Васильевич Ханжин (1871—1961) — русский военный, генерал от артиллерии (1919). Один из руководителей Белого движения в Сибири.

Николай Николаевич Юденич (1862—1933) — русский военный деятель, генерал от инфантерии (1915). Один из самых успешных генералов Российской империи во время Первой мировой войны, во время Гражданской войны возглавлял силы, действовавшие против советской власти на Северо-Западе. Последний российский кавалер ордена Святого Георгия II класса. Умер в эмиграции во Франции.

Вирбаллен (*лит.* Virbalis; до 1917 г. русское название — Вержболóво, *польск.* Wierzbołów, *нем.* Wirballen) — город в Вилкавишском районе Марьямпольского уезда Литвы, центр Вирбалисского старостава. Расположен в 2 км от железнодорожной станции Кибартай на линии Каунас—Калининград.

Вениамин (Биньямин) — младший сын библейского патриарха Иакова и его любимой жены Рахили. Родился по дороге в Вифлеем. В юности попал в вавилонский плен и провел там несколько лет.

Эйдткунен, ныне Чернышевское (прежние названия — Эйдткунен, Эйдткау, *нем.* Eydtkuhnen, Eydtkau) — поселок в Нестеровском районе Калининградской области. Расположен на левом берегу реки Лепоны, по которой проходит граница.

Радола Гайда
Воспоминания

Фрагменты

Перевод с чешского Елены Тепляшиной

Глава первая. Краткая история появления Чехословацкого корпуса в России

ИЗВЕСТИЕ о начале страшной войны, с быстротой молнии облетевшее весь мир 26 июля 1914 года, всей тяжестью обрушилось на нашу маленькую, но прекрасную родину. Мысли наши полетели через горы на юг, к лазурным водам Адриатики, и на восток, к равнинам широкой белой Руси, где готовились к войне наши братья по крови и духу. С проклятиями в душе брали мы оружие, чтобы с этим оружием идти против тех, на кого мы всегда возлагали самые светлые надежды. Тогда никто и представить себе не мог, что придет час, когда могучая Россия — израненная, обескровленная — прильнет к груди младшего брата и станет искать у него помощи и сил для битвы. В то время мы были так малы и ничтожны; невыразимо тяжко было нам брать в руки оружие, чтобы защищать интересы наших поработителей.

Положение чехословацкого народа было столь трагично, что никто не смел произнести ни слова против. Австро-Венгерское правительство с самого дня объявления войны жесточайше преследовало тех, на кого падала хоть тень подозрения в симпатиях к союзникам, главным образом — к России и Сербии.

<...>

Однако чехословаки выбрали иную тактику. Те, кто остался в тылу, пользовались любой возможностью навредить австрийской армии: затягивали поставки продовольствия — а иногда и вовсе уничтожали припасы, подрывали финансовое положение, не подписывая военных кредитов, и прочее. Те же, кого отправили на фронт, на передовую, ждали только подходящего момента и при первой возможности сдавались в плен, по одному и целыми отрядами и полками.

<...>

© Елена Тепляшина. Перевод, 2017

Чехи и словаки, проживавшие в России и на ее далеких окраинах, в первые же дни российской мобилизации поняли: настал час, когда судьба предлагает им доказать, способны ли они быть независимыми. Чехословацкие организации в крупных российских городах — Петрограде, Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону и других — ударили в набат. Было решено изо всех сил помогать славянской России. После настойчивых просьб усилия чехословацких поселенцев увенчались в Петрограде первым успехом: удалось добиться разрешения сформировать так называемую Чехословацкую дружину, которая состояла бы только из представителей чехословацкого народа.

<...>

Глава вторая. Отступление чехословацких войск с Украины на французский фронт

В начале Февральской революции людей в России переполняло воодушевление, однако вскоре сбылись опасения тех, кто сознавал: столь великий переворот не может обойтись без потрясений и кровопролития. Февральская революция далась России легко. Русский народ сразу и почти без жертв получил множество свобод, а потому не сумел понять, сколь высока их цена, и в должной мере дорожить ими. В первые дни, когда энтузиазм был еще горяч, все понимали, что наибольшую угрозу для республики представляет внешний неприятель — немцы. Полки с воодушевлением клялись, что не сложат оружие, пока республика не будет избавлена от внешних врагов. И те же полки, дисциплина в которых расшаталась из-за плохо понятого приказа министра Гучкова и в которых начали свою деятельность большевистские агитаторы, потом бежали с фронта, чтобы не пропустить дележ земли и имущества.

После неудачной попытки генерала Корнилова навести порядок в Петрограде и Кронштадте большевики захватили власть в государстве и должны были, поскольку не в состоянии оказались противостоять немцам, завершить год русской революции Брестским миром на условиях столь позорных, что их невозможно было даже объявить народу.

Сразу после заключения мира немецкие полки обрушились на Россию, чтобы под предлогом помощи Украине грабить население и вывозить все, что хотя бы в первое время по возвращении домой могло улучшить условия их жизни. В это время Чехословацкий корпус находился на Украине. Первая диви-

зия стояла возле Житомира, вторая — восточнее Киева. Штаб корпуса и отделение Чехословацкого национального совета располагались в Киеве. Чехословацкие полки стали свидетелями жестоких боев, видели все несправедливости, грабежи и убийства, уничтожение имущества мирного населения, слышали лицемерные речи никому прежде не известных политических вождей, твердивших о лучшем будущем.

<...>

После заключения Брестского мира чехословаки не могли оставаться в России. Этот договор означал, что Россия изменила нашей революционной борьбе против Австро-Венгрии; перед нами открывался либо горький изгнанический путь через полмира, новые лишения и страдания, либо перспектива скорого заключения мирного договора с Германией, который в своей жестокости и несправедливости не уступил бы Брестскому... Остаться в России значило бы также предать революционные устремления чехословацкого народа, а кроме того, отдать себя на милость победителю.

Оставался только французский фронт. Но и здесь положение представлялось нелегким. В условиях всеобщей анархии и боев по всей стране, по разрушенным дорогам попасть туда было трудно. Наиболее вероятным казался путь на восток, через Сибирь. Вести переговоры с большевиками в первое время не представлялось возможным. Немцы, ведомые украинскими гайдуками, так быстро продвигались по Украине, а Муравьев так быстро вытеснял их прочь, что уже в начале марта 1918 года чехословацкие войска фактически оказались в тылу убегавших большевиков.

<...>

Национальный совет делал все, чтобы улаживать споры с большевиками, и шел на всевозможные уступки, включая те, что угрожали безопасности наших частей. Боясь нашей боеспособности и желая ослабить ее или намереваясь спровоцировать нас на явный, губительный для нас конфликт, большевики выдумали новое требование — сдать оружие. Отделение Национального совета согласилось на это требование и подписало в Москве договор, согласно которому на каждый поезд оставлялось незначительное количество вооружения: 168 ружей и один пулемет. Большинство солдат и офицеров придерживались той точки зрения, что в условиях всеобщей анархии, при самоуправстве Советов в каждом крупном городе, при усиливающемся влиянии немецких и венгерских военнопленных, наших главных врагов, оружие сдавать нельзя. Однако представителям Чехословацкого национального совета, высланным к поездам, удалось убедить легионеров, и в Пензе часть оружия была сдана.

Однако из-за развала государственного управления в России царил хаос. Разоружение, о котором Совет народных комиссаров договорился с представителями Национального совета во главе с профессором Максой, было со стороны большевиков всего лишь уловкой. Большевики сильно упирали на разоружение, но наша сторона оружие сдавала крайне неохотно; бóльшую часть солдаты попросту прятали. Раздражение солдат увеличивалось из-за все новых и новых приказов Совета народных комиссаров, вносящих изменения в первоначальные условия. В Самаре от нас снова потребовали разоружиться; далее из-за самóвольной грабительской политики отдельных железнодорожных советов (для которых оружие имело огромную важность) усилилась взаимная ненависть, возник ряд инцидентов и споров. Со стороны Советов не раз возникала и угроза насилия. Интересен приказ верховного главнокомандующего Вооруженными силами на юге России Антонова-Овсеенко, изданный под впечатлением от нашего сражения с немцами у Бахмача:

Штаб народного комиссара по борьбе с контрреволюцией

16 марта 1918 года, № 92

Всем революционным войскам Южно-русских республик! Наши союзники из Чехословацкого корпуса, которые честно и героически сражались у Житомира, Киева, Гребенки и Бахмача и охраняли дороги на Полтаву и Харьков, сейчас покидают Украину и передают нам часть своего оружия. Революционные войска не забудут братской помощи, оказанной чехословацким корпусом рабочему народу Украины в боях с империалистическими бандами. Оружие, сданное чехословаками, революционные войска приняли как братский дар.

Верховный главнокомандующий войсками Южно-русских республик

Антонов-Овсеенко.

Красивые слова; но я уже упоминал, как поступали потом товарищи в Самаре и Петропавловске. Было очевидно, к чему все идет. Немцы — приехавший в Москву граф Мирбах защищал там интересы Германии — стремились не пустить нас во Францию и подавить наше сопротивление, сделать нас безопасными и для себя, и для большевиков. У союзников тогда дела шли неважно, и немцы еще верили, что добьются победы с помощью России.

Мне вспоминаются слова, прочитанные позже (в Иркутске, после прихода капитана Гоблика) в социал-демократической газете “Наше знамя” номер 19, от 29 мая 1918 года:

За что была пролита кровь?.. В Иркутске возник новый чехословацко-русский фронт. Уже и там льется кровь. За что? Во имя чего?

В чьих интересах? Будь большевики, нынешние властители, социал-демократами, они ответили бы на этот вопрос так же, как и мы: "Не в интересах пролетариата!". Они вместе с нами полагали бы своей обязанностью сделать все возможное для того, чтобы прекратить умножение фронтов, не нужных рабочему классу и разделяющих трудовой народ на лагери, враждебные друг другу. Они бы поняли, что только империалистам, только врагам пролетариата выгодно разжигать международную вражду и распри. Но это не так. Они с легкой душой гнали русских против чехословаков и делали это не на благо рабочего класса. *Ибо на самом деле разоружение чехословацких дивизий выгодно только одному человеку. Кому же? Кайзеру Вильгельму.*

Между тем, как мы, без оружия и страшно медленно продвигались вперед, из Сибири на запад, поезд за поездом, уезжали военнопленные немцы и австрийцы, чтобы пополнить поредевшее немецкое войско...

Глава третья. Наступление

В начале мая 1918 года, когда первые чехословацкие поезда были уже далеко за Иркутском, возле Верхнеудинска, а последние еще в Ртищеве, западнее Пензы, в те дни, когда наш маленький корпус растянулся по огромному пространству почти в 7000 километров, советская власть внезапно прекратила перевозку наших войск и предложила отделению ЧСРС отправлять поезда с чехословаками на север, в Архангельск и Мурманск.

Вот что пишет "Ческословенски Деник" о том дне, 11 мая 1918 года:

Отделение ЧСНС в Омске получило из Москвы телеграмму такого содержания: "Так как пропускная способность порта во Владивостоке очень мала, необходимо задействовать также архангельский порт. Следует поэтому ускорить отправку поездов на Архангельск и в Омске обеспечить провиантом все поезда, которые поедут в Архангельск через Омск или другой дорогой.

Узнав об этом новом проекте советской власти, отделение ЧСНС 9 мая отправило делегатов в Москву для переговоров. Члены отделения надеялись получить разрешение советской власти на то, чтобы поезда, уже стоящие на путях восточнее Омска, могли уйти во Владивосток и чтобы на север пошли только те поезда, которые в начале мая находились западнее Омска.

Чехословацкие легионеры отнеслись к новому замыслу советской власти крайне враждебно. В некоторых сообщениях

говорилось о транспортировке через Мурманск, однако мы знали, что этой дороге угрожают немцы, вторгшиеся в Финляндию. Поэтому легионеры подозревали советскую власть в том, что она, содействуя немецким интригам, хочет выдать врагам часть наших войск. Военные не могли простить отделению ЧСНС, что оно согласилось с намерением Советов отправить нас на север.

В это тяжелое время в Челябинске проходил военный съезд, на котором я был делегатом от офицеров Седьмого полка. Съезд этот планировался, еще когда мы стояли на Украине, и должен был решить вопросы реорганизации армии. Но эти вопросы уступили место другим, более важным: следовало решить, как нам действовать в этой нелегкой ситуации.

Последней каплей в этих крайне напряженных отношениях стал случай с пленным венгром, произошедший в Челябинске незадолго до съезда. Через Челябинск, где тогда стоял весь наш Третий полк и часть Шестого, проходил эшелон с немецкими и венгерскими военнопленными, возвращавшимися домой. Какой-то чванливый венгр швырнул чем-то железным в наших добровольцев, проходивших мимо поезда; один из них был тяжело ранен в голову. Наши напали на эшелон, высадили виновного и в ярости линчевали его на месте.

Вскоре после этого Челябинский совет народных комиссаров, в состав которого входили и венгры, потребовал, чтобы мы выслали свидетелей для расследования инцидента. Свидетели, однако, назад не вернулись; их без суда и следствия бросили в тюрьму. Поэтому к Совету направили еще одну делегацию, с требованием до шести часов вечера выпустить несправедливо арестованных братьев, иначе их освободят с применением силы. Когда не вернулась и вторая депутация (Челябинский совет и ее хотел отправить в тюрьму), в шесть часов вечера по приказу подполковника Войцеховского легионеры пошли в атаку и заняли город, хотя большевики перед этим мобилизовали на случай сражения все свои силы. Арестованные были освобождены. Комиссары по большей части разбежались, прочих взяли в плен. В наши руки попало около 2800 винтовок и артиллерийская батарея. Мы потеряли всего двух человек убитыми.

Так как иначе мы не относились к большевикам враждебно, на другой день они явились на переговоры. Их оратор уже на съезде оправдывался, говоря, что случившееся — дело рук наших врагов, которые хотят при помощи провокации расколоть союзников. Задержку с нашей отправкой он объяснял только нехваткой транспорта и саботажем со стороны интеллигенции. Он утверждал, что Советы делают все возможное, чтобы как можно скорее отправить нас во Владивосток. Но едва пар-

ламентер со товарищи удалились, съезду была вручена перехваченная нами телеграмма челябинского Совета комиссаров с просьбой к товарищам из Екатеринбурга и Тюмени о помощи в подавлении восставших чехословаков; сил местных Советов на это якобы не хватало, поскольку чехословаки хорошо организованы, выполняют приказы своих командиров и необычайно бдительны. Эта телеграмма была отправлена военным комиссаром, когда мы уже заключили перемирие и отдали большевикам город и бóльшую часть захваченного оружия. А сразу после этого мы узнали еще об одной телеграмме, отправленной начальником оперативного отдела Московского военного комиссариата Араловым; телеграмма содержала приказ разоружать чехословацкие поезда, а тех, кто попытается оказать сопротивление, расстреливать на месте.

Теперь нам было ясно как день, как большевики намеревались поступить с нами на самом деле.

<...>

Взятие Новониколаевска. Русские антибольшевистские организации

После телеграммы Троцкого[1] надо было принять решение и выбрать меньшее из двух зол: ждать, когда на нас нападут, и обороняться или напасть самим.

В первый раз столь тяжкая ответственность легла на мои плечи. Правда, почти все мои люди были настроены так же,

1. "Из Москвы, 25 мая, 23 часа. Самара, ж.-д., всем Совдепам по ж.-д. линии от Пензы до Омска.
Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление будет равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно присылаются в тыл чехословаков надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступить как с братьями и оказать им всяческую поддержку. Всем железнодорожникам сообщить, что ни один вооруженный вагон чехословаков не должен продвинуться на восток. Кто уступит насилию и окажет содействие чехословакам с продвижением их на восток, будет сурово наказан.
Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эшелонам и сообщить всем железнодорожникам по месту нахождения чехсловаков. Каждый военный комиссар должен об исполнении донести. № 377.
Народный комиссар по военным делам Л. Троцкий". (Цит. по: http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vosstaniie-chiekhoslovatskogho-korpusa-nachalo-grazhdanskoi-voiny). (*Прим. автора.*)

как я, но все же ответственность за их жизнь лежала на мне. Я был убежден, что, если на нас нападут, мы не сдадимся и станем сражаться до последнего человека. Приказ Совета народных комиссаров надлежало исполнить в ближайшие же дни. Я принял решение.

Утром 25 мая на собрании за водокачкой я сообщил офицерам своего полка обо всех постановлениях и договоренностях Челябинского съезда, а потом изложил свое решение. Не скрыл я от офицеров и телеграммы, полученной утром от генерала Шокорова, подписанной также членом отделения ЧСНС д-ром Куделей и французским майором Гине, который, как мне кажется, приехал договариваться о нашем проезде через Архангельск. Упомянул, что телеграмма пришла поздно и я уже не могу переменить своего решения. Офицерское собрание полностью согласилось со мной, и, насколько я помню, лишь двое обратили внимание на то, что к акции следовало бы подготовиться более основательно. Выступление было намечено на вечер того же дня. Каждому предстояло выполнить определенную ему задачу.

Нужно подчеркнуть, что с капитаном Кадлецем, помощником командующего Седьмым полком, мы еще до этого проработали разные вопросы о том, как нам держать связь в случае нарушения нейтралитета. У нас были свои шифры, условные знаки и прочее. Так, например, фраза “Передайте письмо комиссару” означала “Займите город”; самый строгий большевистский цензор не увидит ничего опасного в такой телеграмме и пометкой “передачу разрешаю” решит судьбу своего города. По окончании офицерского собрания первой моей обязанностью было отправить условную телеграмму капитану Кадлецу. В два часа я получил лаконичный ответ “Письмо передано”, что означало: Мариинск — наш.

Настала наша очередь действовать. Во второй половине дня я объявил решение русской антибольшевистской организации в Новониколаевске, которая была связана с крупной организацией в Томске. Все пребывали в тревоге, особенно когда пришло известие от капитана Кадлеца о взятии Мариинска, причем Кадлецу удалось захватить две пушки. Солдаты проявляли нетерпение, хотя внешне были спокойны. Вечером у водокачки, как всегда, играла полковая музыка, на этот концерт сошлось население всего города и много красногвардейцев. Когда стемнело, наши солдаты, в соответствии с ранее полученными приказами, рассеялись по городу. В одиннадцать часов музыканты разошлись. Настала мертвая тишина. Около часу ночи над вокзалом взлетела красная ракета. Это был сигнал начинать сражение. Почти в одно время раздались взрывы ручных гранат в красногвардейских казармах и у станции, а из города донеслись

пулеметные очереди и ружейные выстрелы. Это был бой у дома революции и у "военного городка". Бой у военного городка оказался самым долгим, поскольку территория городка представляла собой естественное укрепление и была хорошо защищена. Сам городок занимали венгры и немцы, боеспособный батальон им. Карла Маркса. За сорок минут город был взят. Мы потеряли двух человек убитыми и троих ранеными.

Победу можно было назвать значительной: мы захватили столько оружия, что его хватило не только вооружить всех моих людей, но и часть захваченного передать русским добровольцам.

Постоянные споры чехословацких войск с советской властью не остались незамеченными русскими людьми, в которых тлела ненависть к большевикам, поправшим их права, к тому же местные жители не могли простить большевикам роспуск Сибирской областной думы. Сибирь населяли, в основном, крестьяне и казаки, землевладельцы-собственники; неудивительно, что коммунистические идеи нашли среди них не слишком живой отклик. Рабочих было мало. Поэтому, когда большевики явились со своим грабительским режимом, реквизициями и прочим, против них тут же вспыхнула тайная злоба. Члены бывшей областной думы, как и офицеры бывшей русской армии, создали во всех крупных городах антибольшевистские организации. Офицеры особенно хорошо чувствовали, сколь напряженные отношения существуют между чехословаками и Советами. Тайная офицерская организация в Новониколаевске, связанная с организацией в Томске и других западносибирских городах, 10 мая выслала ко мне делегацию, чтобы сообщить мне о своей деятельности. Так я познакомился с полковником Гришиным-Алмазовым, после переворота ставшим военным министром. Усиление антибольшевистских настроений в русских кругах мы, разумеется, приветствовали, на случай, если нам придется прокладывать себе путь до Владивостока с оружием в руках. Но на первой встрече с представителями русских организаций мы не слишком обнадеживали их. Лишь приняв решение о наступлении, я известил об этом организацию, несшую караульную службу в непосредственной близости от станции.

26 мая в половине пятого утра в Новониколаевске уже шла обычная жизнь, на улицах города появились дежурные из сибирской народной дружины с бело-зелеными повязками на рукавах. Эта дружина впоследствии послужила основой для образования сибирской армии, а именно — Первого Новониколаевского полка.

Управление городом перешло в руки вновь созванной городской думы, во главе которой встали Ландберг, Сидоров и Марков. В то же время вокруг Гришина-Алмазова образова-

лось временное сибирское правительство, которому суждено было послужить первой организационной и административной точкой, а также встать во главе новой, свободной, Сибирской республики.

Полагаться на вновь формирующиеся отделы добровольцев сибирской народной дружины поначалу, конечно, было нельзя. Лучшие сотни, составленные из офицеров, а также студентов, которые временно служили рядовыми, занимались потом главным образом организацией местных служб, охраной и формированием новых военных групп. Более крупным русским частям предстояло вступить в дело позже, в основном в Иркутске и на Байкале.

Защита Новониколаевска. Соединение с капитаном Кадлецем

<...>

На станции Тайга нас ждала другая радостная весть[1] от социал-демократов и офицерской организации: Томск взят. Вскоре оттуда приехали освобожденные незадолго до этого из заключения руководители антибольшевистских организаций, и ликование достигло предела. В то же время из Томска одна за другой шли телеграммы: хотя бы некоторых чехословацких военных просили приехать вместе со мной в Томск, потому что люди хотят приветствовать освободителей. (Томск расположен в стороне от главного пути. Это средоточие культуры Западной Сибири, университетский город. Положение советской власти здесь всегда было шатким.)

Сразу после известия о перевороте в Новониколаевске томская офицерская организация тоже попыталась произвести переворот; попытка оказалась безуспешной. Однако страх томских большевиков перед чехословаками был так велик, а надежда на собственные силы так мала, что, когда пришло сообщение о том, что мы уже почти на станции Тайга (недалеко от Томска), члены Совета в три часа утра 31 мая уплыли на пароходе "Ермак" по Томи на север, взяв все казенные деньги и золото и передав власть меньшевикам. Красные, узнав о бегстве Совета, сложили оружие.

Нашу радость омрачала только телеграмма от профессора Максы из Москвы. Из этой телеграммы явствовало, что, пока

1. После известия о том, что станция Тайга уже взята и навстречу чехословацким войскам высланы поезда. (*Прим. перев.*)

мы овладевали сибирскими городами и платили за свою доверчивость кровью братьев, павших в Иркутске и у Марьяновки, единства между нашим политическим и военным руководством все еще не было. Профессор Макса телеграфировал, чтобы мы немедленно прекратили сопротивление, и рекомендовал выдать зачинщиков большевикам. Мне он сообщал, что я предстану перед полевым судом. Учитывая тогдашнюю ситуацию, я не мог изменить принятого решения. К тому же было неизвестно, не оказывают ли большевики давление на профессора Максу. Поскольку его телеграмма касалась меня, я ответил ему так: "Я не узнаю вас. Вы не являетесь членом военной коллегии, которая дала мне полномочия на съезде. Моя обязанность — принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность нашего войска. Я приказал частям, которые были отданы съездом под мое командование, не выполнять ваш приказ, а слушаться только приказов военного командования". В Томск я прибыл со своим штабом и с первой сотней Седьмого полка. Нас приветствовали восторженно. Мы получили ценную помощь для дальнейших сражений: две тяжелые гаубицы с двадцатью четырьмя зарядами и две легкие пушки с пятьюдесятью двумя зарядами. До этого артиллерии у нас не было.

Приказ пойти на соединение с капитаном Кадлецем получил поручик Гусарек. Неприятель, продвигавшийся от Тайги к Мариинску, пытался сдержать наше наступление и выиграть время до того момента, когда большевики, с обеих сторон атакующие наши части в Мариинске, уничтожат нас, открывая себе дорогу на Красноярск. От нападения на анжерские и судженские шахты большевики обезопасили себя тем, что в нескольких местах ощутимо повредили дорогу, надеясь таким образом задержать нас на несколько дней. Однако поручику Гусареку удалось хорошо организовать работы и исправить дорогу за несколько часов, так что уже в ночь на 1 июня мы заняли анжерскую станцию. Там мы воспользовались богатыми складами военной обуви и одежды. Подобно томским, бежали большевики и со следующей большой станции, Судженки — только им не удалось забрать с собой деньги.

1 июня после полудня пришло известие, что капитан Кадлец с утра ведет неравный бой на два фронта. Наши части спешно двинулись туда, чтобы протянуть ему руку помощи. Капитан Кадлец взял Мариинск еще 25 мая, в два часа пополудни, выступив по моему приказу. Он разоружил стоящий на вокзале поезд красных, которые ехали на Семеновский фронт, и захватил при этом две пушки. В первый день после нашего выступления Советы снова прибегли (как это уже было у нас и у капитана Чеховского) к переговорам, причем энергичнее всего

действовал Красноярский совет, который требовал от нас безоговорочного разоружения. Переговоры провалились так же, как провалились они с анжерскими и томскими большевиками.

Первая атака на капитана Кадлеца была предпринята с запада, со стороны анжерских и судженских шахт. Наши части, однако, быстро отразили эту атаку, отбросив рабочих далеко на запад. Гораздо бóльшая опасность грозила в этот момент с востока, где большевики в пяти километрах от города, на возвышенности за рекой, сосредоточили почти 3000 человек и вырыли окопы, а также развернули артиллерию. Однако и капитан Кадлец не терял времени даром и подготовил основательные укрепления, для строительства которых привлек австрийских и немецких пленных. Позже ему пришлось пройти проверку на прочность. 31 мая неприятельские части начали с востока обстреливать город из четырех пушек, а с запада наш батальон был обстрелян с большевистского бронепоезда. Вероятно, обе части красных приняли решение о совместной акции.

Наступление красных началось 1 июня в первой половине дня. Самые жестокие атаки они предприняли с запада, где сражались анжерские и судженские большевики. Произошло яростное сражение. Во время второй атаки чешский предатель, сражавшийся в рядах анжерских большевиков, крикнул: “Братья, не стреляйте, мы идем вам на помощь!” — размахивая при этом красно-белым знаменем; это сбило с толку наших солдат, и они подпустили большевиков к позиции, что позволило неприятелю прорвать нашу линию обороны на западе. После короткого боя наши отступили к городу, оставив на поле битвы пятерых раненых братьев, которых добили красные. Опасность была устранена только благодаря самообладанию капитана Воронова (русского в рядах чешских войск), который по приказу капитана Кадлеца, несмотря на ранение, собрал горстку больных и легко раненных солдат, всех поваров и офицерских денщиков и с этим немногочисленным войском напал с фланга на наступавших красных. Большевики потерпели жестокое поражение, их командир — чех — был ранен и попал к нам в руки. Предатель не ушел от возмездия: по приказу капитана Кадлеца его расстреляли сразу после боя, чтобы солдаты не учинили над ним самосуд. <...>

Александр Мелихов
[р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006], имени А. М. Зверева [2015].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Полин Кросли
Pauline Crossley
Жена атташе американского посольства в Петрограде в годы революции.

Перевод главы *Революция большевиков* [*The Bolshevik Revolution*] из книги *Письма из Петрограда* выполнен по изданию [*Letters from Petrograd*. E. P. Dutton & Company, 1920].

Елена Павловна Даль
Переводчик со шведского и английского языков, а также с русского на шведский. Член Восточного центра переводчиков [Стокгольм]. Кандидат филологических наук.

Автор сборника стихов *Летнее время и зимние часы* [*Sommartid och vinterklockor*, 1999] и романа *К тебе возвращаюсь. Костюмированный роман без одежды* [*Till dig jag vänder åter. En naken kostymroman*, 2009; совместно с В. Оравски и К. П. Ларсеном], вышедших на шведском, а также работ по стиховедению на русском, шведском и английском языках. Составитель и переводчик двуязычной антологии *7 русских поэтов Стокгольма* [1996]. В ее переводе звучали стихи Э. Тегнéра, Э. Ю. Стагнелиуса и Г. Экелефа для передач *Радио Швеции*. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы стихи шведских поэтов [2015, № 8].

Нильс Линд
Nils Lindh
[1878–1959]. Шведский журналист, советник по русским вопросам МИДа Швеции [1918–1919 и 1920 – эпизодически], пресс-аташе посольства Швеции в СССР [1924]. Сотрудничал с газетой *Social-Demokraten*, журналом *Tiden* и др. изданиями.

Автор книги *Встречи Востока и Запада: о современной политике России* [*Möten mellan öst och väst: studier i samtida rysk utrikespolitik*, 1949].
Публикуемый фрагмент взят из книги *Большевизм в советском государстве: наблюдения и размышления свидетеля* [*Bolsjevismen i Sovjetriket: ett ögonvittnes iakttagelser och reflektioner*. Tidens förlag, 1918], которую автор напечатал под псевдонимом Н. Странников.

Тура Гарм-Фекс
Tora Garm-Fex
[1890—1973]. Шведская писательница и журналистка. Сотрудничала с изданиями *Dagens Nyheter, Vecko-Journalen, Stockholms Dagblad* и др. [1914—1924]. В феврале 1918 г. в Петрограде встречалась с Лениным, Зиновьевым, Луначарским, Коллонтай и др.

Публикуемый репортаж взят из книги *В большевистском Петрограде* [*I bolsjevismens Petrograd.* Aktiebolaget Ljus förlag, 1918].

Пер Эмиль Брусевич
Per Emil Brusewitz
[1887—1974]. Шведский журналист, писатель, дипломат и путешественник. По образованию юрист. Работал в шведском консульстве в Петрограде и Москве в 1917—1918 гг. Встречался с Керенским, Троцким, Лениным.

Автор книг *Государство красных царей. По впечатлениям поездки в Россию в 1920 году* [*Det röda zarriket. Intryck och erfarenheter från en resa till Ryssland*, 1920, 1920]; *За железным занавесом России. На мотоцикле по маршруту Петроград-Тифлис* [*Bakom Rysslands järnridå. På motorcykel Petrograd-Tiflis.* 1923].
Публикуемое интервью взято из книги *Государство красных царей* [*Det röda zarriket.* Stockholm, 1920].

Камиль Дюдан
Camille Dudan
[1889—1963]. Швейцарский филолог, преподаватель, лауреат премии Французской академии [1939], кавалер Ордена Академических пальм [1959].

Автор книг *Французский язык и воспитание нашей молодежи* [*Le français et la formation de notre jeunesse*, 1939], *Соломинка и бревно, или Сюрпризы речи* [*La paille et la poutre: ou les surprises du language*, 1948] и др.
Публикуемые очерки взяты из книги *Красная Россия* [*La Russie rouge.* Lausanne: Imprimerie centrale et populaire, 1918].

Андрес Трапиельо
Andrés Trapiello
[р. 1953]. Испанский поэт, прозаик, эссеист, живет в Мадриде. Лауреат премии Надаля [2003].

Автор стихотворных книг *Вместе с водой* [*Junto al agua*, 1980], *Может, и правда* [*Acaso una verdad*, 1993], *Сон во сне* [*Un sueño en otro*, 2004], романа *Клуб идеальных убийств* [*Los amigos del crimen perfecto*, 2003; рус. перев. 2006]. Ему принадлежат также монографии о Сервантесе, об образе Гражданской войны в испанской литературе и др. В *ИЛ* опубликованы его стихи [2011, № 12].

Мануэль Чавес Ногалес
Manuel Chaves Nogales
[1897—1944]. Испанский журналист и писатель. С 1936 г. жил в эмиграции.

Автор одной из лучших книг о корриде — *Хуан Бельмонте, матадор: его жизнь и его героизм* [*Juan Belmonte, matador de toros; su vida y sus hazañas*, 1930], а также книг о русской революции *Через Европу на самолёте. Мелкий буржуа в красной России* [*La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja*, 1929] и *Влюблённая большевичка. Любовь в красной России* [*La bolchevique enamorada. El amor en la Rusia roja*, 1930], книги очерков о белой эмиграции во

Франции *Что осталось от империи царей* [*Lo que ha quedado del imperio de los zares*, 1931] и др.
Перевод выполнен по изданию *Маэстро Хуан Мартинес, который там побывал* [*El maestro Juan Martínez que estaba allí. Estampa*, 1934].

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008]. Обладатель Почетного диплома критики *зоИЛ* [2016].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, Е. Анджеевского, М. Хласко, Х. Кралль, С. Хвина, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле, Е Анджеевского, Ю. Стрыйского, Э. Ментцеля, Т. Ружевича, А. Барта, З. Хаупта, П. Черского и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Кароль Вендзягольский
Karol Wędziagolski
[1886–1974]. Польский революционер, политический деятель, кавалер Ордена Возрождения Польши [1929].

Автор воспоминаний *Савинков* [*Новый журнал*, Нью-Йорк, 1963], книги *Борис Савинков. Портрет террориста* [*Boris Savinkov: Portrait of a Terrorist*, 1988].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Воспоминания* [*Pamiętniki*. Warszawa: Iskry, 2007].

Анна Кукес
Переводчик с немецкого языка, филолог-германист, кандидат филологических наук, журналист, член Союза профессиональных литераторов, член Гильдии мастеров литературного перевода.

Переводила произведения Т. Манна, И. Нолль, Д. Дёррье, Х. Хольцман, Д. Глаттауэра, М. Зутера, С. Ренье, К. Рёрихта, Г. Бёлля и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы *Нелицеприятные сказки* К. Х. Рёриха [2006, № 1].

Эдвин Эрих Двингер
Edwin Erich Dwinger
[1898–1981]. Немецкий писатель, публицист, эссеист, общественный деятель. Участник Первой и Второй мировых войн, Белого движения и Гражданской войны в России в 1918 – 1920 гг.

Автор документальных автобиографических романов *Великая могила* [*Das große Grab. Sibirischer Roman*, 1920], *Корсаков* [*Korsakoff. Die Geschichte eines Heimatlosen*, 1926], *Последняя жертва* [*Das letzte Opfer*, 1928], *12 разбойников* [*12 Räuber*, 1931], *На полпути* [*Auf halbem Wege*, 1939], трилогии повестей *Армия за колючей проволокой* [*Die Armee hinter Stacheldraht. Das Sibirische Tagebuch*, 1929], *Мы зовем Германию* [*Wir rufen Deutschland. Heimkehr und Vermächtnis. 1921–1924*, 1932], очерков и эссе. Его произведения были переведены на более чем двенадцать языков, общий тираж достиг двух миллионов экземпляров.
Перевод выполнен по изданию Между белым и красным [*Zwischen Weiss und Rot*. Austria, Graz: Leopold Stocker Verlag, 2001].

Радола Гайда
Radola Gajda
[Рудольф Гейдль]
[Rudolf Geidl]
[1892–1948]. Чехословацкий военачальник и политический деятель. В 1916–1920 гг. воевал в России, дослужился до звания командующего Сибирской армией адмирала Колчака, после увольнения возглавил мятеж против колчаковской власти. В период оккупации Чехословакии Германией сотрудничал с нацистами.

Перевод фрагментов книги *Воспоминания* [*Moje pameti.* Praha: Vesmir, 1924].

Переводчики

Александр Александрович Авербух
Переводчик с английского, преподаватель. По образованию биолог.

В его переводе вышли книги Э. Маккинти *Деньги на ветер* [2012] и Д. Лихэйна *Прощай, детка, прощай* [2013]. Переводил также фильмы для студий SDI-Медиа и СВ-Дубль. В *ИЛ* в его переводе опубликованы рассказы Э. Энрайт [2016, № 3], повесть Р. Форда *Прочие умершие* [2016, № 10], рассказы и афоризмы Д. Паркер [2016, № 12, 2017, № 7], статья Р. Престона *Война с вирусом Эбола* [2017, № 4], повести А. Джонсона [2017, № 7].

Ксения Анатольевна Жолудева
Переводчик с итальянского и французского языков.

В ее переводе печатались рассказы Джорджо Фалько и Лучаны Литтиццетто.
В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рецензии А. Дебенедетти, Д. Больоло, К. Горлье на романы В. Набокова [2017, № 6].

Ольга Кулагина
Переводчик с английского и испанского языков, по образованию математик. Лауреат премии *Инолит* [2016].

Переводила тексты в области финансов и информационных технологий. В ее переводе опубликованы три рассказа Д. Безмозгиса *Наташа, Хоински, Новое надгробие на старую могилу*. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы Н. Олгрена [2016, № 1], романы Х. Ибаргуэнгойтиа *Мертвые девушки* [2016, № 1], А. Неумана *Барилоче* [2016, № 4], Э. Росеро *Благотворительные обеды* [2016, № 10] и *Война* [2017, № 4].

Елена Александровна Тепляшина
Филолог, переводчик с английского, шведского, чешского и польского языков.

Переводила произведения С. Сем-Сандберга, Э. Аксла Сунда, Л. Кеплера, А. Рослунда, Д. Паркера и Анны-Лены Лаурен. В *ИЛ* публикуется впервые.

**Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).**

В оформлении обложки использован фрагмент картины русского, польского и белорусского художника Владислава Максимилиановича Стржеминского [1893–1952]
Архитектурная композиция 1ос.

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Секретарь-референт
Ксения Жолудева.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

Менеджер по правам
Мильда Соколова.

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 28, второй двор, звонить в домофон);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),
в интернет-магазине "Лабиринт" (http://www.labirint.ru)

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
20.10.2017
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 6919.
Тираж 2600 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

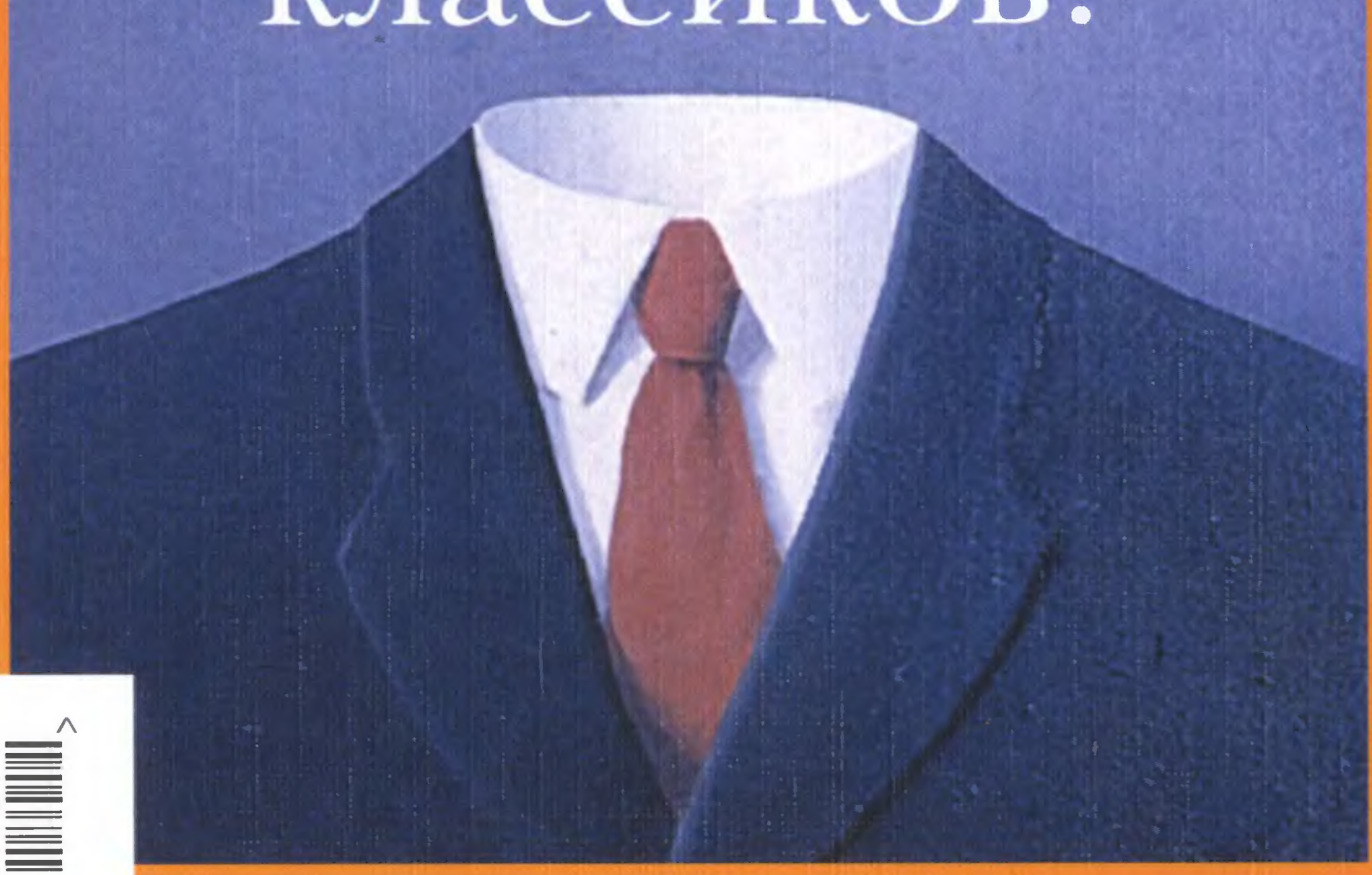
Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

[12] 2017

РОМАН ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕРА “СВИДЕТЕЛИ НЕВЕСТЫ” / СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ ПОЭТОВ / ПЬЕСА ЛИДИИ АМЕЙКО “ФАРРАГО” / ГЕНРИХ БЁЛЛЬ И ГЮНТЕР ГРАСС В РУБРИКЕ “ДВА ЮБИЛЕЯ” / СТАТЬЯ АЛЕКСАНДРА ПУМПЯНСКОГО “АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА” / ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ЛИВЕРГАНТОМ / ЯНОШ АРАНЬ В РУБРИКЕ “ПЕРЕПЕРЕВОД” / И ДР.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!



Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ISSN 0130-6545 17011 >
9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2017, №11, 1–288